

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

2013

46

ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ

## В НОМЕРЕ:

ЭСТЕР АЛЬПЕРИНА-СВЕРДЛОВА  
РИТА БАЛЬМИНА  
МАРЬЯН БЕЛЕНЬКИЙ  
АНРИ БЕРГСОН ДЖУНИОР  
МАРИНА БОРОДИЦКАЯ  
ЮЛИЯ ВИНЕР  
ИГОРЬ ГУБЕРМАН  
ЛОРИНА ДЫМОВА  
ЕЛЕНА ИГНАТОВА  
ЮЛИЙ КИМ  
МИХАИЛ КНИЖНИК  
МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ  
ЕЛЕНА КОРКИНА  
СЕМЁН КРАЙТМАН  
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ  
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ  
АЛЕКСАНДР ЛЮБАРСКИЙ.  
ЕЛЕНА МАКАРОВА  
ДАВИД МАРКИШ  
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ  
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА  
ГРИГОРИЙ ПЕВЗНЕР  
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР  
ЕВГЕНИЙ РУДЕНЧИК  
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ  
ЛЕОНИД СЛОВИН  
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ  
ГРИГОРИЙ СУХМАН  
ВЛАДИМИР ФРОМЕР  
АЛЛА ШИРОНИНА  
ВЛАДИМИР ЭЙДЛИН  
И ДРУГИЕ

№46



JERUSALEM LITERARY REVIEW

ירושלים ספרותית

2013' 46

Творческое объединение  
«Иерусалимская Антология»  
сердечно благодарит  
Бориса Юрьевича АЛЕКСАНДРОВА  
и Юрия Исааковича КАННЕРА  
за поддержку «Иерусалимского Журнала»

От всей души поздравляем со славными датами  
наших замечательных авторов –

**Давида Маркиша,**

**Дину Рубину,**

**Юлию Сегаль!**

**Многая лета! Многая книги!**

Редколлегия «Иерусалимского журнала»

---

מחלקת לקליטת עליה ברוך  
חדש ל פרץ 20 חיפה 33041  
ספריה  
10023

# ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЖУРНАЛ



И Е Р У С А Л И М

46 2013

# Иерусалимский журнал, № 46, 2013

Журнал современной израильской литературы на русском языке

В Интернете: [magazines.russ.ru/ier/](http://magazines.russ.ru/ier/) и [antho.net/jr/](http://antho.net/jr/)

Союз израильских русскоязычных писателей

Творческое объединение «Иерусалимская антология»

Редколлегия: **Игорь Бяльский** (главный редактор), **Зезв Гейзель**,  
**Елена Игнатова**, **Юлий Ким**, **Зинаида Палванова**, **Виктория Райхер**,  
**Дина Рубина**, **Роман Тименчик**, **Велвл Чернин**, **Светлана Шенбрунн**

Ответственный секретарь: **Евгений Минин**

Художник: **Сусанна Черноброва**; Веб-дизайн: **Карина Пастернак**

Корректурa: **Бина Смехова**, **Галина Культясова**, **Люба Лейбзон**

Организационное и техническое обеспечение номера: **Михаил Басин**,  
**Елена Берлянд**, **Борис Бронштейн**, **Даниил Бурштейн**, **Виктор Гопман**,  
**Григорий Гордин**, **Владимир Попов**, **Илан Рисс**

Типография «ЦУР-ОТ»

При поддержке



Фонд  
«Русский мир»



Российский Еврейский Конгресс



Министерство культуры и спорта



Иерусалимский муниципалитет  
משרד התרבות והספורט  
ירושלים  
10023



Дом наследия Ури Цви Гринберга

Copyright © «Иерусалимский журнал» 2013. All rights reserved

Авторские права на публикуемые произведения принадлежат их авторам

ISSN 1565-1347

Адрес редакции: **Jerusalem Review, P. 0. Box 32297 Jerusalem 91322**

E-mail: [jerusalemreview@gmail.com](mailto:jerusalemreview@gmail.com) Тел.: (972) 2-9960302; (972) 54-4745322

OCR Давид Титиевский, июнь 2019 г., Хайфа

*Мы стараемся отвечать на письма, присылаемые по электронной почте,  
но, к сожалению, не можем взять на себя обязательства  
по рецензированию и возвращению рукописей*

# ЯФФСКИЕ ВОРОТА

---

*Сеиён Крайтман*

## *ВРУЧАЯ ТРИФЕЛЮ СВОБОДУ*

\* \* \*

нет, я не вырос в тех краях,  
где горький пух на тополях,  
и жёлтый блеск солдатских блях,  
и медный звон.  
гудели «Числа».  
и я читал их, и считал,  
и удивлённо снег топтал,  
и потому не вырос там,  
родился, рос, но не случился.  
изъян не в почве, а в зерне.  
чудно найти себя в земле  
сидящих на ветвях русалок,  
убогих леших,  
в тех краях,  
где вечный царствует сквозняк  
в размытых осенью полях,  
в пустых ветвях лесопосадок.  
пальтишко, кепка и туман...  
и унижительный роман  
с алёнушкой.  
туман и сырость.  
родился, рос, и жил, и ждал.  
но был библиотечный зал,  
я заходил, кашне снимал  
и книги выбирал на вырост.

\* \* \*

жена его не сразу умерла,  
надеялась.  
но поседел он сразу.  
стал мягок, суетлив,  
любую фразу,  
о чём бы эта фраза ни была,  
(футбол, погода) стал произносить  
заискивая,  
старчески качая

худым лицом, плечами.  
может быть,  
от частого общения с врачами,  
а может... нет, не знаю... кто поймёт?  
он утром делал дочке бутерброд,  
варил на молоке с вареньем манку,  
сиделку нанял, вытащил комод  
из спальни,  
чтобы воздух, кислород...  
купил на рынке соковыжималку.  
по вечерам, садясь у компа, он,  
как жестяной паук в пределах Марса,  
бродил в сети,  
выискивал лекарства...  
спустя два года после похорон  
сошёлся с женщиной.  
не то чтобы плечо,  
тепло, уют  
иль что-нибудь ещё  
(ну, знаете – мужик – простые вещи...),  
а только чтобы не сойти с ума,  
услышав ночью, в середине сна,  
как зло и безнадежно море плещет.  
дочь выросла  
и вышла...  
и ушла.  
три месяца уже, как родила.  
близняшки, слюни, хнычущая живность.  
он давит сок, пробежки по утрам.  
жизнь удалась, сложилась, что уж там.  
– сложилась, – поправляет он, – сложилась

\* \* \*

...зима же здесь свободна и легка.  
без воевод, без богатырской чуши,  
без этой лютой лихости Хлопуши...  
колодезное небо, облака,  
трава...  
на рынке яблоки и груши,  
и апельсины по краям лотка.  
поэт поёт:  
«пускай моя рука  
отсохнет, если...» –  
и сплетает руки.

поёт: «Москва,  
как много в этом звуке»,  
поёт, не узнавая далека,  
в котором он,  
и бритвенным порезом  
назвав усековенье головы,  
он всё ещё на улицах Москвы,  
с «Агдамом» бродит по гнилым подъездам.  
...зима же здесь легка.  
вот кипарис  
с холма глядит на шёлковые волны,  
подставив изумруд под бадминтонный,  
под перьевой, воланчиковый бриз.  
и в небе самолётиков пунктир,  
и облаков растрёпанные горстки...  
цветёт миндаль, солдаты ждут подвозки.  
на рынке груши, яблоки, инжир.

\* \* \*

хлеба мякиш катая пальцем костлявым по столу,  
апостол Пётр говорит другому апостолу,  
говорит:  
– проходи, дверь за собой прикрой.  
как там было в гостях, как прощались с тобой, как встретили?  
сколько, апостол, удалось распродать бессмертия?  
– на́ три сикля, апостол, –  
говорит апостол другой.  
– а вот этот вот номер...  
когда по воде аки посуху? –  
говорит апостол Пётр другому апостолу, –  
когда по озёрной волне, когда по волне морской  
судака-леща топча сапогами-ботами...  
– это трудно пока, мы над этим пока работаем,  
мы стараемся, Сёма, –  
говорит апостол другой.  
так говорит.  
за оконцем рулады птичии,  
Млечный путь дымит,  
блеет облако над Бердичевом,  
в васильках и клёверах писк полевых мышей.  
я сию на кухне  
и, не чувствуя время позднее,  
слушаю разговор  
двух мёртвых худых апостолов.  
на плите, в кастрюльке, булькает вермишель.

**ЛЬВОВ. 1941. СТАРЫЕ ФОТО**

раздетую догола учительницу немецкого языка  
мальчишки гоняют по летним улицам городка,  
свистят, улюлюкают.  
ночную её сорочку,  
на палку подняв, несут, как победный флаг.  
глядят, как училка смешно подпрыгивает и как  
груди её болтаются.  
все хохочут.  
потом она падает на колени  
и так же смешно ползёт.  
на тротуаре толпится честной народ.  
герр комендант на балконе. сидит на стуле.  
рваная тряпка закручена на древкё.  
камень влетает в глаз.  
и глаз течёт по щеке,  
словно борщ, выкипая, по горячей течёт кастрюле,  
пузырясь и шипя.  
мальчишки кричат ей: «жри!»  
один из них разгонятся и по счёту «три»  
до натужного стога стараясь, её пинает.  
на четвереньках она проползает метров примерно сто  
и потом, булыжник схватив почерневшим ртом,  
умирает.  
человек в картузе сплёвывает и идёт домой.  
дома дочь держит кувшин с водой,  
чистое полотенце, ковалок мыла.  
жена собирает на стол.  
он садится, ест.  
после шумно встаёт.  
вынимает нательный крест  
и целует его взасос, сколько хватает силы.

\* \* \*

задёрнешь зеркала, и станешь вечен,  
и станешь жить, собою не замечен  
и удивлён далёким голосам,  
негромким, доносящимся снаружи  
словам о сыне, об отце и муже,  
которых ты придумал, записал  
в блокнот, в дневник, зарисовал, закрался...  
назвав тенистый дворик свой «пространством»,  
ты обречён был перейти во «вне»,  
за этим «ан» последовав, за этим

мерцанием прохладной мокрой меди  
поплыв,  
поплыв за звуком, на струне  
качающимся...  
будешь вечен, будешь  
смотреть, как те, кого так тихо любишь,  
живут, смеясь, не чувствуя, что ты  
присутствуешь.  
но иногда, под вечер,  
им будет мниться, слышаться, как ветер  
им шепчет что-то о любви и смерти  
и окликает их из темноты.

\* \* \*

вручая грифелю свободу,  
звук новый, новую природу  
вещей вокруг меня, меня  
пишу без видимой причины,  
от видимой сбежав личины  
на берег моря, в середину  
январского сырого дня.  
за мокрым ветром отмечая  
на тёмном небе тёмных чаек  
движение –  
не взмах, но всхлип  
крыла,  
как будто в бездорожье,  
в распутицу,  
в «...ну мать Божья»,  
сапог по голенище влип  
и пробует от вязкой жижи  
избавиться.  
и ветер брызжет,  
и носится среди ветвей,  
блажит,  
сигает под колёса...  
визгливый, как великороссы  
в сиротской гордости своей.  
волна взрывается на камне,  
в солёном водяном напалме  
мгновенно исчезает свет,  
и море в пене мнёт и вертит  
убогую идею смерти,  
и я кричу, что смерти нет.

## РОЖДЕСТВЕНСКИЕ РАССКАЗЫ

а знаете, я видел эти ясли.  
сопровождая новые машины,  
мы ехали, осоловев от тряски,  
по мокрой и разбитой грунтовой.  
темнело небо.  
начинался праздник.  
мы продвигались к булочной эфратской.  
был дождь.  
у церкви мятые мужчины  
шептались и кивали головой.  
и я тогда подумал, что любое  
рождение... любого человека...  
и есть победа над холодным страхом  
небытия. и с этой точки зло  
действительно побеждено любовью.  
Бог не объект, но действие.  
монахом  
подмена воина,  
шутихи, смех, потеха –  
по сути – громкий выдох: «пронесло».  
так вот, о яслях –  
ясли были те же.  
казалось, что они пустили корни,  
валяясь на земле все эти годы.  
звезда, как и назначено звезде,  
взошла, и дождь  
теплее стал и реже.  
заметив улучшение погоды,  
два звонаря прошли на колокольню,  
где снайпер приготовился к стрельбе.

\* \* \*

вот появляется,  
вот подходит к столу заклинатель слов.  
берёт карандаш,  
молчаливо глядит на новый  
чистый лист.  
и потом за окно, где закат багровый  
уходит в песок, в холод пустыни.  
слово  
возникает, поверхность бумажную расколов  
и, качаясь,  
звук

поднимается над столом,  
покидает свою  
тетрадную, тесную клетку.  
звук, похожий на пропасть,  
на тёмный земной разлом,  
на широкую  
текущую в небо реку.  
заклинатель слов пишет букву и говорит: плыви.  
так мальчишки пускают кораблик по талым водам,  
по границе мира назначенной мне любви,  
с миром любви,  
обнаруженной мимоходом  
в обстоятельствах жизни.  
за окном вереница птиц.  
вернее, десяток растянутых верениц –  
по багровому лбу пунктир боевой раскраски.  
ветер сбивает их.  
ряд заплетает в ряд.  
качает, уводит, льёт,  
и они летят,  
словно лента,  
подброшенная художественной гимнасткой.

### МИФОЛОГИЯ КАКАЯ-ТО :)))

думаю, это женщина.  
а иначе как  
в небе весь этот крахмал,  
кружева, оборки  
(смятая ткань, снятая впопыхах,  
лёгкая лента, сброшенная вдогонку  
задохнувшимся ртам, рукам...  
за минуту до  
судорог, слёз, царапин, начала мира),  
весь этот ломкий, закрывший глаза «динь-дон»,  
опрокинутый на  
поверхность синего ковролина.  
за минуту до мира...  
где  
через сто веков,  
как похмельный матрос  
в копоты кабаков,  
в незнакомом порту,  
я очнусь и увижу снова  
это же небо.

и  
«сюда, удалой, мы тут», –  
засвистят мне шалавы.  
Клио придвинет стул,  
мол, садись,  
а Эвтерпа сладкую наркоту  
предложит в долг,  
не сказав о цене ни слова.

\* \* \*

октябрьский дождь.  
колючий, злой, пинцетный.  
пластинка, где актёрствует Рецептер,  
шипит, и оставляет под иглой  
комочки пыли,  
и играет в лицах  
забавную историю про принца.  
и прыскает в молочном продавщица:  
«подумаешь, какой герой-с-дырой».  
герой-с-дырой...  
как волк промокшим лесом,  
я двигаюсь из центра на Пересыпь  
к знакомому, по пиву, скрипачу  
(всегда гастроли).  
и кручу средь ночи  
дверной звонок,  
и женщина хохочет  
от глаз отдельно:  
«значит, сиську хочешь?»  
я кашляю и говорю: «хочу».  
стенной ковёр, сервант, торшер и столик  
дождь за окном бубнит, как алкоголик,  
угрюмой мутью, поднятой со дна  
души, соединяя сердце с речью.  
октябрь, дождь...  
как голова предтечи,  
лежит на небе мёртвая луна.  
потом под утро, по пути обратно  
я вижу  
выходящих из театра  
актёров, персонажей... всё одно.  
и холодею, и сжимаюсь в точку.  
Лазрт смеётся, достаёт заточку,  
Марцелл молчит,  
Гертруда пьёт вино...

\* \* \*

три всадника спускаются с холма.  
за ними лес, внизу, пред ними, пашня  
и человек.  
и вот их имена:  
«вчерашний год», «вчерашний день», «вчерашний  
всего-лишь-час».  
за полем дом, и башня,  
и колокол.  
венчальное «пора»  
звонит прохладным сероглазым звоном.  
вдова в платке выходит со двора,  
земля сыреет, и в стекле оконном  
плывёт тень облака.  
прощай, мой друг, теперь  
кто убедит меня, что я достоин  
любви и жизни.  
каменную дверь  
передо мной закрыл последний воин.  
и всадники, коней пустив в карьер,  
становятся похожими на точки  
в конце строки,  
и, солнцем оторочен,  
раздутый ливнем, движется ползком  
валун над полем,  
и идёт на запад  
свет,  
оставляя мне  
слезу и запах  
польни  
и клубники с молоком.

\* \* \*

Исайя спит.  
и сны его легки.  
в ночь, за окно,  
глядит Иезекиль.  
одолевает Даниила дрёма.  
у тёмных замурованных ворот,  
по-детски кулаком недетским трёт  
глаза свои солёные Ерёма.  
всем сладких снов,  
всем тёплых, лёгких снов.  
лежит на небе бледное пятно

луны нелепой, как большая клякса  
от высохших серебряных чернил,  
которые нечаянно пролил  
на чёрный фартук королевы класса  
в неё влюблённый тайно середняк.  
на улицах пустынно.  
ни собак,  
ни кошек нет, ни жителей.  
народы  
молчат, молчат...  
и только светофор  
ведёт с пустой дорогой разговор –  
бессонный мастер сурдоперевода.  
Исайя спит... Иезекиль глядит...  
Ерёма плачет, возится с глазами...  
бледнеет мир.  
ещё не виден свет,  
но кто-то чуть заметно силуэт  
крыш городских  
из ночи вырезает.  
и вот в себя творящем падеже  
восходит город.  
за холмом уже  
расплавленное движется железо,  
слепающий свет жарптичьего пера.  
секунда – и доживших до утра  
приветствует  
златоволосый цезарь.

\* \* \*

я смотрел, как, чувствуя близкую осень, листья  
становятся лёгкой памятью, покидают ветви,  
отпускают себя, словно в воду с моста.  
при мысли  
о грядущем дожде, о северном сером ветре  
осыпаются, исчезают, не дожидаясь срока.  
в кладбищенском парке – колокол...  
прихожане  
входят в окаменевший остов нездешнего диплодока  
обросший фиалами, бестиями, витражами,  
как корабль ракушками и морской травой.  
в городе барабаны, веселье, разбой, потеха.  
высокий костёр на площади, выполняя волю  
Господа,  
преображает какого-то грешного человека...

\* \* \*

свет начинался мокрым щебетом птичьим.  
 птица кричала и прыгала вдоль стены.  
 в центре Вильно.  
 на месте бывшей тюрьмы.  
 на месте, как говорил старлей, бывшей женской кичи –  
 нынешней гарнизонной «губы», где сырые сны  
 ломали кости,  
 и был октябрь.  
 описание октября такое:  
 хочешь всё время курить и смотреть наверх,  
 пытаешься зарыться бритой головой  
 в мокрый, тяжёлый, включенный волчий мех,  
 плюс люди, идущие сквозь пустые деревья...  
 и смех  
 весёлого выводного, разряжавшего АКМ свой  
 резким, хрустким, с отрывом, ударом в грудь.  
 его лицо, походящее на обломок пемзы  
 (мелкие оспины),  
 мне не давало уснуть,  
 но всё же я засыпал.  
 несмотря на сырость,  
 мне снились голые женщины,  
 и я был наг...  
 потом становилось холодно,  
 в камеру вваливался Гедиминас,  
 пьяно смеялся  
 и спускал на меня собак...

## ЭРА АРИСТОФАНА

Вильям Шекспир.  
 который футболист.  
 который сеть закусочных.  
 который  
 часы, автомобильные моторы.  
 который был на клавишах в Bee Gees.  
 свирепый Пирр, напоминавший ночь,  
 Приама ищет.  
 он его находит  
 на яндексе.  
 казарма,  
 чья-то дочь  
 лежит, как слизь, на кирпичках  
 и ходит

кровавой жижей под себя.  
летит  
дорога, за колёса задевая.  
«Помпилиус»... хиты «яблокитая».  
«яблокитай»... «арбузоатлантид».  
сырая жизнь осеннего стиха,  
слепой закат,  
рентгеновские луны,  
тень птицы над землёй и облака,  
среди струнных звёзд плывущие,  
среди струнных...

\* \* \*

я взял тебя за руку.  
минуло десять лет.  
и ещё сто лет.  
и потом десять раз по сто.  
Красивый Филипп,  
Безземельный Плантагенет,  
Четвёртый Иван  
и все остальные, кто  
перемещал народы  
по скисшей своей земле,  
по крысиным  
измазаным салом и сажаю городам,  
стали мифом.  
абсолютным, каменным прошлым, где  
только такие же мифы  
по их следам  
и могут пройти.  
а потом опять  
исчезали века.  
мы стали сухим песком,  
шевелиющимся на ветру, как пустая куколка,  
и уже менять  
начал песок свой цвет.  
стал темнеть, остывать,  
потом  
пришла тишина.  
точка в конце строки.  
ледяная ночь.  
осколки стеклянных звёзд.  
но, как и прежде, я касался твоей руки,  
я смотрел на тебя  
я говорил: «сбылось».

\* \* \*

в краях, где ты  
 писала мне: «привет»,  
 писала мне...  
 писала мне: «я тоже»,  
 писала перламутровых горошин  
 падение в ладонь,  
 писала: «свет».  
 в краях, где соль,  
 и дымчатый топаз,  
 и луч сухой в сплетениях кристалла,  
 где ты писала мне.  
 где ты писала:  
 «так много солнц, что не хватает глаз  
 зажмуриться»,  
 «привет» писала,  
 там  
 по соляным равнинам, словно рыбы,  
 другие люди бродят молчаливо  
 и шепчут нам слова.  
 и пишут нам.

### «ПЕРЕПИСЬ В ВИФЛЕЕМЕ»

«кровь регул девственных  
 с меркурием собрать.  
 добавить яшму, мандрагор протёртый,  
 щепоть золы...»,  
 записывать в тетрадь  
 стеклянный гул нагревшейся реторты  
 и ждать прикосновения.  
 окно  
 затянута морозной белой мутью.  
 в притоптанном снегу  
 клюёт пшено  
 петух. спешат  
 рассыпанные люди,  
 замёрзший пруд, кирпичные дома,  
 подводы, сани, короба, котомки...  
 как будто перевёрнутые бронхи,  
 стоят деревья.  
 в городе зима.  
 снег пахнет выпечкою,  
 яблочным суфле.  
 тетрадь пуста.

на улице, у входа  
в соседний дом  
скопление народа...  
замёрзший пруд, деревья, снег, ворона,  
беременная баба на осле.

### ПРО СКУЛЬПТОРА :)

по вечерам, в июне, у окна  
белела капитанская жена,  
и разговор любой на полуфразе  
немел, уткнувшись в «ох ты ж, блядь» разрез  
халата,  
доходившего до мест,  
где исчезает место для фантазий.  
лес зелен, туг, как юный офицер.  
к селу, откуда можно в райский центр, –  
час по грунтовке.  
дальше переправа –  
паром  
два раза в день.  
санчасть, чипок,  
казарма, клуб, столовая  
и блок  
(спаси меня...)  
командного состава.  
и, вдохновлённый зрелищем бедра,  
кабацким, сдобным, жарким,  
я с утра,  
взяв глины шмат,  
за крашеным сараем  
лепил фигурки –  
самозванный Эрнст,  
в забытой форме женских их чудес,  
детали ни одной не опускаю.  
потом я разжигал в котельной печь  
для обжига.  
я пробовал сбересть  
как можно дольше  
губы их и плечи.  
но, видимо, температура печи...  
колосники...  
я делал всё не так.  
фигурки, остывая, изменялись,  
крошились, виновато улыбались  
и рассыпались у меня в руках.

\* \* \*

ну вот теперь ты сам, наедине  
с промозглой, зимней, с неподвижной мыслью.  
фонарный свет качается в окне,  
качаются, как висельники, листья  
на тонких ветках дерева.

рука

костьшками бубнит о подоконник,  
глуша железный скрип больничных коек.

«перемешай три части мышьяка  
с двумя частями серы.

воск и ртуть.

полчасти воска, четверть части ртути».

перемешай неважно что, не суть.

перемешай, чтоб только не уснуть и

не доползти...

«две части белены...»

не дотянуть...

нас только пуля может...

я буду каждый вечер у Стены –

стучать в неё,

срывать с ладоней кожу,

обветренные камни обнимать,

замки искать, туннели, лазы, двери.

и злые комплименты рассыпать.

и всхлипывать.

и продолжать не верить.

\* \* \*

день встречи родственников.

уличные пробки.

на мостовой

по поводу парковки,

нет, не буза, а южная возня.

и тут же:

– что поделать, так случилось...

– вы снились мне

– ты снился мне

– ты снилась...

– дождись меня.

– дождись.

– дождись меня.

ну, в общем, всё по-прежнему:

работа,

короткий отпуск в середине года,  
жара, неразбериха, кавардак...  
пылятся пальмы,  
в море солнце плещет,  
мужчины, как и прежде, любят женщин,  
а женщины жалеют их.  
и так  
проходит время.  
мимо проезжая,  
я замечаю, как немолодая...  
с тяжёлой ниткой жемчуга,  
(на вид  
вполне ещё...),  
с заглохшими губами,  
сухими, словно пыль в шкафу, в чулане  
раскладывает по порядку камни,  
как шоколадки доктор Айболит.

### ПРО ПАУЧКА

– к червонному вальту червонный туз!

там дачники играют в подкидного...  
выходит в переулок дядя Лёва –  
хозяин дачи.  
раздаётся хруст,  
сырой, мясистый хруст арбузной корки.  
они смеются...

– врежь-ка козырным...

хозяин дачи сглатывает дым  
и морщится,  
как принявший касторки  
больной.  
сосед мой, мой негласный друг,  
седой такой, слезящийся, небритый.  
– запомни, ингеле, – он говорит мне, –  
триппер –  
болезнь, – он говорит мне, –  
грязных рук.  
мы смотрим с ним на море.  
по волне  
бегут, искрятся солнечные тени.  
и где-то вдалеке проходит время  
любви моей,  
не зная обо мне.

хозяин дачи дёргает плечом,  
глядит на женщин, уходящих с пляжа...  
а по забору бродит паучок.  
и вяжет паутину.  
вяжет, вяжет...

\* \* \*

глаза стариков слезятся,  
жара, жара...  
– любовь, –  
говорит санитар,  
мотню поправляя.  
– ...оплакивайте повсюду вину свою, –  
говорит Исаяя.  
– тяжелый сегодня был день, –  
говорит сестра.

я говорю санитару:  
– ты прав,  
из слепого сна  
ничего другого, видимо, не всплывает.  
вот они и лежат,  
и тряпочными губами  
своих любимых шамкают имена.

за окном темно.  
– ещё один трудовой  
подвиг свершён, –  
говорит сестра.  
запахивает гардину.  
и, застыв на мгновение,  
смотрит на муравьиный  
мерцающий ряд машин,  
семенящих по кольцевой.

\* \* \*

глупые люди...  
думают, всё пройдёт.  
плачь, мой хороший-маленький,  
мой чужой.  
в тысяче странных лет твоих  
каждый год,  
словно псина приبلудшая,

тащится за тобой.  
и не крикнешь ей, обернувшись:  
– уйди, уйди!  
юркнешь в подъезд,  
на пару пустых веков  
спрячешься там,  
а выйдешь – она сидит.  
смотрит, голову наклоняя.  
и вот таков  
взгляд её,  
что ты озираешься,  
новые города  
узнавая, как будто  
ты с ними расстался лишь  
минуту назад.  
всегда добавляй «всегда»  
когда говоришь «люблю»,  
когда говоришь  
«люблю тебя».  
заплаканную ладонь  
от лица отведи, мой хороший-маленький  
и затем  
слушай, как босоногого  
шлёпает море вдоль  
сырого берега,  
неразличимого в темноте.

\* \* \*

той жизни нет.  
другие времена  
не наступают,  
но проходят мимо.  
обочиной.  
а жизнь стоит одна.  
удивлена, проста  
и неделима,  
как бильярдный шар.  
последний шар  
на вытертом сукне  
под лампой низкой.  
я уезжаю.  
свет промокших фар  
летающие перебирает брызги  
дождя вечернего.  
среди поредевших крон,

набрякшие, темнеют птичьи гнёзда.  
как ночью в море – тишина и звёзды, –  
со всех сторон судьба.  
со всех сторон.

\* \* \*

вокзальный буфет,  
где щербатый пол  
тоскливо и тяжело пропах  
варёной капустой,  
сырой крупой,  
тамбурной случкою впопыхах,  
закрывают в полночь.  
гремит замок.  
скуластая женщина  
из ведра  
тянет серую мешковину:  
– куда, милоч?  
и я говорю:  
– туда... –  
и киваю на окна,  
где ночь, и муть,  
и Урал, и Евус,  
где по камням  
да по тропам хвойным  
держать мне путь,  
вернее, ему – меня.  
и курлычет голубь,  
и бьёт в стекло,  
и женщина мажет воду  
и говорит:  
– слышь, нерусский,  
прими своё барахло.  
и вообще замри.

\* \* \*

дождь по реке.  
глоссолалия, мутные словеса.  
...камень, бумага, ножницы...  
побеждает камень.  
побеждают сумерки,  
заплутавший бессонный Каин.  
небо с тяжёлым взглядом цепного пса

шевелится над городом.  
растянутые дома  
занавешены мятым, нестиранным  
плотным тюлем.  
в стену сырую крепости  
Шимона и Шауля,  
от дождя убегая,  
холодная бьёт волна.

\* \* \*

хлопай крыльями, вечный мой пеликан.  
глаз коси,  
взбивай камышовый пух.  
золочёную воду по высохшим тростникам  
рассыпай.  
кричи.  
царапанный долгий звук  
пеликаньего голоса,  
как камень пустую кость,  
крошит воздух  
ударом дрожащих гортанных нот.  
из всего, что я обещал себе,  
не сбылось  
ничего,  
кроме стыда,  
и тот  
всё суше, всё мимолётней,  
всё не с руки.  
птица кричит.  
за криком её следя,  
в душных горах  
молчаливые пастухи  
поднимают головы,  
удивляются,  
ждут дождя.

\* \* \*

письма к тебе,  
написанные в эти четыре года,  
не нашли адресата.  
исчезли.  
были напрасны.  
нам с тобою не встретиться никогда.

погода  
здесь, как обычно, убийственна.  
зной Мадраса  
похож на клейкий,  
в зубах увязший кусок грильяжа.  
тяжёлая зелень в цветочных открытых ранах  
стонет, скулит.  
на улицах горячо и влажно.  
(так пишут о женщинах  
в провинциальных дурных романах.)  
шевели песок  
голубою своей смолою,  
словно листая увесистые страницы  
старого фолианта,  
вздыхает море,  
волна лоснится.  
неподалёку от рынка нищие дети  
копшатся возле порушенной  
пыльной клумбы.  
и надпись – «Ladies» –  
на гнилом общественном туалете,  
как улыбка насильника,  
поцеловавшего жертву в губы.

\* \* \*

они идут.  
одна вослед другой.  
как плакальщицы за чужой судьбой.  
угрюмой бесконечной вереницей.  
накатывают.  
стонут на камнях.  
у берега вуали приподняв,  
целуют камни  
в каменные лица.  
похолодало,  
но песок сырой  
ещё хранит следы поры иной.  
следы зонтов, воланчиков...  
на нечет  
Господь меняет чёт.  
темнеет даль.  
ты ёжишься,  
ты расправляешь шаль.  
ты в «никогда» укутываешь плечи.  
и говоришь:

– как осень холодна.  
пустует пляж.  
усталая волна  
в последней женской проклятой надежде  
прижмётся к камню,  
но не оживит  
его.  
он мёртв.  
и птица закричит.  
и сумерки  
постигнут  
побережье.

\* \* \*

и вот с тех пор  
не проходило дня,  
чтоб утром,  
глядя из окна,  
меня  
не забывала ты.  
и получаться  
с годами это  
стало лучше.  
труд,  
терпение  
всегда своё возьмут.  
и вот с тех пор  
не проходило часа,  
чтоб я, ключом царапая замок  
почтовой дверцы,  
не искал листок,  
записку, букву, чёрточку,  
и лишний  
раз убеждаясь: «почтальон в беде»,  
не уходил придумывать себе  
тебя и всё  
описанное выше.  
садясь за стол у жёлтого окна,  
я ждал, когда слепая пелена  
задрапирует стены  
и всего лишь  
на несколько минут позволит мне  
увидеть утро, женщину в окне  
и обратиться к зеркалу:  
– а помнишь?

минуты прожиты.  
в лицо плеснув водой,  
я выхожу во двор.  
наперебой  
чудные птицы, выражая радость,  
чирикают насмешливый мотив,  
увидев, как валюсь я,  
зацепив  
лежащий у порога  
пыльный август.

\* \* \*

прошло сто лет.  
полковнику никто...  
так что же скажешь о простом майоре?  
похожее на старое пальто,  
забытое гостями в коридоре,  
висит недвижно небо за окном  
в размытых складках, траченах, прорехах.  
и тянет прелой горечью ореха,  
и сам майор  
не помнит ни о ком.

приходит вечер.  
женщина права.  
всё исчезает вдруг,  
как скорый поезд  
на переезде:  
прошлые слова,  
потом тоска по ним,  
потом способность  
почувствовать тоску.  
беги, лови  
рассеянные по ветру фигурки.  
майор ведёт.  
майор играет в жмурки.  
хватает воздух в поисках любви.

и лета ждёт.  
и узкою рукой,  
такой обратной званию «военный»,  
он по окну катает мякиш хлебный,  
солонватый, слипшийся, ржаной.

## *Давид Маркин*

### *ОДИН*

Эта яма, наполненная коричневатой прозрачной водой, зияла посреди пустыни; две или три пальмы с финиковыми серёжками под зелёными шляпами лепились к влажному обводу ямы и отбрасывали скупую тень на кражистый камень под ними, а больше ничего здесь не было: ни животных, ни людей.

Края и нутро ямы были прилежно обмазаны глиной, так что вода не уходила в песок и не пропадала втуне. Водоём, надо думать, подпитывался каким-то источником – донным ключом, что ли, или чем-то иным. Но, глядя с берега вглубь, угадать, как держится вода в яме здесь, в синайских песках, под расплавленным солнцем, было невозможно.

Стоя в ажурной тени пальмы, я лениво раздумывал над этим вопросом, когда мимо меня проскользнул возникший как бы из ничего, из жары и марева, молодой бедуин и, не замедлив лёгкого, почти летучего шага, прыгнул в воду. Он нырнул в чём был – в белой просторной рубахе до земли, из шейной прорези которой выглядывала голова, покрытая жёсткими волосами, свёрнутыми в колечки. Лицо бедуина имело приятный оливковый оттенок. Возможно, предком этому пареньку приходился чернокожий, завезённый сюда из Африки арабами, промышлявшими работоторговлей три-четыре века тому назад. Такое случается в этих местах.

Бедуин плавал и плескался в яме, поглядывая на меня вполне дружелюбно. «Хамма-Муса!» – прокричал он, опуская палец в воду, а потом несколько раз зазывно встряхивая мокрой ладонью: иди, мол, купаться! Чего стоишь на берегу!

Что такое «Хамма-Муса», я знал и без него: пророк Моисей, проходя здесь в своё время, умылся в вечно горячей воде источника, наполнявшей яму. Меня так и подмывало последовать примеру Моисея, но оставлять без присмотра солдатскую форму, автомат «М-16» и военный джип, на котором я сюда приехал из расположения воинской части, было бы чистым безумием: бедуины, возникавшие из ничего, не признавали частной собственности, и воровство было для них расхожим делом.

Жара была разостлана над водяной ямой и слежавшимся пыльным песком, рассыпанным до самого горизонта. Ни плескавшийся бедуин, ни назойливый рой крупных чёрных мух, внезапно прилетевших, не могли расстроить великой тишины пустыни. Её и война, только что здесь прокатившаяся, с танковым рёвом, взрывами и стрельбой, не смогла ни разрушить, ни даже поколебать.

За две с половиной тысячи лет, со времён Моисея, здесь ничего не изменилось: жара, торжественная тишина высокого театрального зала, докучливые мухи, от которых хочешь не хочешь приходится отмахиваться и отбиваться.

Моисей и отбивался, и отмахивался: стаи мух с отвратительным жужжанием вились вокруг его головы, они и мертвеца вывели

бы из себя. Моисей не знал, откуда они здесь взялись, ни с того ни с сего. Ведь только что, когда он сюда пришёл и сел на камень под пальмой, не было ни видно, ни слышно ни одной мухи – и вдруг они возникли и появились, как будто кто-то высыпал их из мешка прямо на голову пришельца. Синайские мухи – явление чудесное, нам не дано в нём разобраться.

Моисей и не пытался. Сидя у воды, он вспоминал пёсших мух, как он наслал их на египтян и как люди фараона мучились от них, прямо с ума сходили. Сначала гнусных мушек наслал, но это не помогло, и тогда уже дело дошло до пёсших мух.

А теперь он почему-то не может избавиться от этого жалкого клубящегося роя, который не даёт ему спокойно посидеть у воды.

Он почувствовал, как кто-то потянул его за рукав и повернул голову. У камня стоял подросток Зихри. Моисей помнил его имя, но не знал, приходился ему мальчик двоюродным внуком или троюродным правнуком. И это обстоятельство не играло в его жизни никакой роли и не имело для него ни малейшего значения, как не имеет и для нас, отделённых от той картины прозрачной кладкой времени.

– Дедушка, прогони мух! – попросил Зихри. – Ну что тебе стоит!

Сказать мальчику, что справиться с такой плёвой задачей он не в силах, что он уже пробовал, но ничего не выходит, – этого Моисей не мог себе позволить. Всемогущий выбрал его и направил, чтобы он вывел народ из рабства и привёл в Землю обетованную, Господь дал ему силу и навык истреблять египетское семя и разверзть море – и вот, к смущению сердца, жалкие мухи на берегу водяной ямы неподвластны ему. Открыть это мальчику Зихри – и завтра весь стан жестоковыйного народа восстанет против Моисея, утратившего дар творить чудеса от имени Бога. Молча опустив голову на грудь, Моисей испытывал неловкость души.

А Зихри, удовлетворённо что-то выкрикнув, вроде «йа!» или «йо!», прыгнул с берега в воду, и только его длинная, до земли, белая рубаха мелькнула в воздухе, как оперенье птицы.

Моисей поднял тяжёлую голову и обнаружил с облегчением, что нет никаких мух ни вокруг него, ни в стороне, как будто порывом сильного здорового ветра вымело их отсюда прочь. Хотя и не было вроде никакого ветра.

Глядя на Зихри, плескавшегося в коричневатой воде ямы, Моисей мучительно думал и размышлял над тем, почему – его? Почему Господь выбрал именно его из многих и поставил над народом? Да, он убил надсмотрщика палкой, как вонючего шакала, и он не сожалеет об этом: египтянин безнаказанно издевался над евреем и бил его. Но разве, чтоб встать над людьми и повести их, обязательно нужно кого-то убить палкой? Обязательно и достаточно?

Однозначно ответить на этот нелёгкий вопрос Моисей не умел, но и такая расплывчатая неопределённость, как видно, входила в замысел Творца. Благоговейно исходя из этого предположения, Моисей принимал сущее как проявление непостижимой Божьей власти и тем самым немного подслащал свою надсаду. В ажурной тени пальмы он вспоминал ту давнюю историю с надсмотрщиком и как, таясь, присыпал тело убитого камнями и песком. Сидя здесь,

на берегу синайской ямы, Моисей тяжело думал над этим уходящим в глубь времён несложным действием – убийством человека человеком. А Господь с охваченной пламенем горы здесь, по соседству, призывал и повелевал: «Не убивай!»

На прошлой неделе, шепчутся люди, у подножья этой горы Моисей убил три тысячи человек. Правда, он буйствовал и кричал страшно и неразборчиво, разбил каменные плиты с наставлениями Всевышнего и обратил свой гнев против соплеменников – буйных, как он сам, и жестоковых. Какие три тысячи?! Хорошо если тридцать человек, заводил и бунтовщиков, легли под мечами верных левитов, которых он послал для расправы. Верно: Моисей разрушил золотого тельца, бросил идола в огонь, размешал прах и пепел в воде и заставил пить эту бурду тех, кто святотатственно и предательски поклонился кумиру. Много чего ещё случилось в тот длинный день... Но не от руки Моисея свалились те тридцать на камни и дыханье жизни их покинуло. А теперь разве придёт кому-нибудь в голову кивнуть на левитов? Куда проще вопить: «Моисей убил три тысячи человек, взял и убил из-за тельца, и вот плачут вдовы и сироты над изрубленными трупами!» Моисей, значит, убил! Как, каким образом Моисей «взял и убил»? Ну как... Если он наслал мор на египетских первенцев и истребил множество, то и эти три тысячи смог преспокойно уложить... Вот ведь как.

Праздно сидеть у воды, в тиши полдня. Дремать с открытыми глазами, словно бы паря над землёй, в тёплой синеве неба. В таком отстранённом паренье вопросы к Богу не всегда остаются безответными. Его слова приходят то ли из высших сфер, то ли из недр земли. Приходят и достигают слуха того, кто вслушивается... В тот длинный день Моисей, сходя с горы к мятежному народу, вслушивался всею душой, и вот Бог повелел ему послать левитов, чтоб они мечом истребили бунтовщиков и заводил, – не сам же он это придумал и решил! Бог сокрушил каменные доски с заповедями – и уже после этого, как бы временно отменив письменные указания, включая и «Не убивай!», внушил Моисею послать левитов на их кровавую работу.

Аарон, собственноручно изготовивший золотого рогатого идола, выглядел виноватей всех других – но Бог не настаивал на истреблении его с лица земли; во всяком случае Моисей не расслышал ничего подобного. А если б Всевышний и указал на Аарона истребляющим перстом, Моисей вступился бы за брата. Собрался с силами и вступил бы в спор с Всевышним. Бог допускал спор с людьми; Он, с запасом терпения, выслушивал их претензии, зачастую довольно-таки дерзкие. Может быть, благодаря отменному упрямству сберегли евреи, всему вопреки, свою приверженность и преданность Невидимому. Бог был Главным Устроителем; на него можно было ворчать, но против него нельзя было роптать.

Потом, после разрушения идола и наказания заводил, когда народ под горой немного одумался и пришёл в себя, Моисей снова поднялся на гору Синай. Указания Всевышнего, рукописно изложенные на каменных скрижалях и в приступе гнева и ярости разбитые Моисеем, должны быть восстановлены. Заповедь «Не убивай!» никто не отменял, и теперь она вернётся в еврейский стан после короткого перерыва.

Мальчик Зихри продолжал плескаться в обмазанном глиной водоёме. Моисей глядел на него рассеянно, его мысли клубились на каменистом склоне горы, объятай пламенем и опоясанной тучей, недалёко отсюда. Опустив морщинистый лоб с мощными надбровными дугами на руку, в расставленные пальцы ладони, Моисей видел перед собой эту пылающую гору и себя на ней – точкой на дымной тропе. Подъём был крут, Моисей тяжело дышал, почти задышался. Его вели наверх и тянули к вершине накопленные мучительные вопросы, он проборматывал их или даже не высказывал, а лишь представлял себе. И в ответ слышал голос, и то был голос Бога.

Вопросы эти, по большей части горестные, требовали, по разумению Моисея, неукоснительного и немедленного запрета. Только запретом, необратимым «нет» можно удержать народ от разброда и гибели. Запрет на смертоубийство, на воровство. Запрет на создание идола и поклонение ему. Запрет на соращение жены ближнего или дальнего – это равноценно воровству чужого имущества. Запрет на пренебрежение старыми родителями, уже не способными оберечь и накормить себя усилиями своих рук.

Тот ответный голос не был насыщен звуком и поделён на слова. То был скорее гул, а то и гула не было никакого, а только осмысленная сверкающая тишина, обволокая Моисея на каменистом склоне горы и беспрекословно подтвердившая верность его разумений: да, не убивать, не создавать кумиров. Не красть. Не желать и не соблазнять. Не бросать стариков на произвол судьбы.

Моисей не видел подтвердившего – ни лица его, ни спины, хотя и знал, кем был Тот, Кто подтвердил, и не сомневался в своём знании – как и в том, что, увидь он Бога своими глазами, от него в тот же миг не осталось бы ни пепла, ни праха. Ничего.

Это не пугало Моисея: за особые отношения с Богом следовало платить, и высшей мерой платы служила сама жизнь; он в этом не сомневался. Был он уверен и в том, что Невидимый и Всемогущий своей волей выбрал его из многих и назначил своим уполномоченным, и вот он, Моисей, стал тем, кем является. И, так и не свыкшись с новым положением, Моисей старательно исполнял возложенное на него.

Спасти евреев от фараонова рабства, вернуть им свободу и привести в Землю обетованную; вот, собственно, и всё. На этом задача Моисея исчерпывалась. «Рабами были мы в земле египетской...» – это воспоминание останется в памяти народа как тавро, как горький сон.

Останется... Откинув назад, так, что они пластами легли на плечи, густые седые волосы, Моисей думал и размышлял над тем, что свобода может искалечить или убить, она убивает человека не хуже и не лучше, чем рабство его убивает. Это не вполне понятное ему самому открытие Моисей привычно адресовал Богу и, напрягая слух, ждал разъяснительного ответа, но ответом служила непроницаемая глухая тишина, висевшая над водяной ямой. В обитаемом мире – на иллистых землях Египта, в чёрной Нубии, горном Моаве и совсем уже таинственных краях на восход от реки Иордан – все жители разделяются на два сорта: вольные и рабы. Рабов куда больше, чем вольных, но общий счёт невольникам никто не ведёт – даже египтяне, которые, несмотря на кажущееся легкомыслие и ветре-

ность нрава, по праву служат примером пунктуальности и организованности для окружающих народов. Что уж тут говорить о чёрных нубийцах и горных дикарях! А ведь не надо забывать и о кочевниках пустыни – этих головорезах, которые и чужое, и своё привыкли считать сквозь пальцы. Откуда же им знать, сколько у них рабов? Вчера двоих продал, третьего дня одного убил – и забыл, уже не помнит об этом ничего за текущими делами. Какой же тут может быть поголовный подсчёт взамен расплывчатого «один, два, три, много»? Сами рабы тоже ничего не считают, им это ни к чему, хотя могли бы и озаботиться, и прикинуть хотя бы в общих чертах, для будущих поколений. Хотя и тут не всё просто: разница между рабом и хозяином иногда носит условный, чисто формальный характер.

Ну да, ну да, раб трудится на хозяина, и это его подневольное предназначение. Но и хозяин, вместо того чтобы отдыхать и бить баклуши, трудится не покладая рук и не смыкая глаз: глядит за рабами и скотиной, рачительно управляет хозяйством, наблюдает за порядком в доме – а без этого каждый из домочадцев делал бы то, что ему в голову взбредёт, и расшатывал бы заведённый порядок вещей. Рабы живут при доме, а иные приближённые невольники и в самом доме какого-нибудь чиновника или начальника средней руки, на правах как бы членов семьи. А то, что хозяин вправе прибить раба и тот побаивается, иногда от всей души, – так что ж? Есть управа и на хозяина, и он тоже боится, что чиновник повыше рангом его пришибёт – за дело или ни за что ни про что. Но и чиновник повыше рангом боится своего начальника, который ещё повыше, и чем он выше, тем сильнее боится его те, кто пониже, просто дрожат перед ним. А самый высокий придворный чиновник как огня боится фараона, который по своему усмотрению может всякому подчинённому отрубить голову или даже, как последнего раба, живьём скормить крокодилам. Но и фараон боится – отравы, змеи, ядовитого паука.

И все боятся Бога – и раб в хижине, и хозяин в поместье, и чиновник в доме, и фараон во дворце. И Моисей, сидящий у воды.

Получалось так, что каждого человека преследует горе или страх перед горем, и только объятые высокой идеей закрывают глаза перед горькими обстоятельствами жизни и пребывают в счастливом ослепленьи. У раба есть всё необходимое для существования, кроме свободы – но можно ли попробовать свободу на вкус, как мясо в похлёбке? Раб получает пропитание от хозяина, а свободный земледелец протягивает ноги от бескормицы в голодный год. Зачем тогда свобода, если она таит в себе смерть? Свобода, которую нельзя положить в карман или в котёл? Моисей поднял народ, пообещав освобождение от привычного рабства, посулил прекрасную свободу, о которой никто толком ничего не знал. Одержимые мечтой о незнакомой свободе, евреи готовы были сражаться за неё и рисковать ради неё жизнью. Где-то в отдаленье, за пустыней, их ждёт собственная земля, на которой они заживут счастливо, расплодятся и размножатся, заведут скот и рабов. И эта земля, заповеданная им Невидимым и сочащаяся млеком и мёдом в своём далеке, была для них куда более представима и предметна, чем свобода тащиться по бесплодным пескам и камням Синая.

Моисей знал об этом. Он один и знал – из всего своего поколения. Соплеменники видели в нём светящегося хранителя идеи,

вожака и возглавителя, и готовы были подчиниться его воле – из страха перед ним и от преклонения перед идеей. Он, грозно предостерегший народ от создания кумиров, сам сделался непререкаемым кумиром, своего рода золотым рогачом, высеченным из одухотворённого камня символом освобождения и Исхода, которому не дано закончиться никогда, потому что рабство духа приходит к человеку с первым вдохом, а уходит с последним выдохом. И Бог этому не препятствует.

Моисей знал и это. Всемогущий не появлялся над водоёмом, не подтверждал знание Моисея, но и не опровергал его. А Моисей ждал подтверждения – знака или звука, ждал, и надеялся, и не показывал вида, потому что надежда – это слабость, а проявление слабости несовместимо с поведением вождя. Человеческие чувства не пристали символу, их подавление приносит боль душе – но и это входит в миссию Моисея: испытывать боль, но не выказывать её.

За спиной Моисея послышались шаги. Он оглянулся, ожидая увидеть Аарона, для которого брат был доступен во всякое время дня и ночи, в то время как другие люди остерегались нарушать спокойствие вождя и приближаться без веской причины. Но то был не Аарон, а Ципора – жена, дочь Иофора из Мадиама.

– Я за мальчиком, – объяснила свой приход Ципора. – Заберу его, чтоб он тебе не мешал... Зихри! А ну, вылезай!

Зихри выбрался из воды и, двумя руками выкручивая мокрый подол длинной, до земли, белой рубахи, остался стоять на глиняном обводе ямы. Он хотел побыть здесь, а не тащиться обратно в стан по солнцепёку. Да и Моисею хотелось того же – мальчик своим беспокойным присутствием оживлял унылый вид этого пустынного угла обитаемого мира. Да и Ципора здесь, как ни странно, была к месту. Это немного удивило Моисея: год за годом жена как бы вовсе не существовала для него, а когда она изредка появлялась в поле зрения, ничего кроме глухого раздражения и неловкости он не испытывал. И вот сейчас, здесь, у тихой воды, на него вдруг, нежданно-негаданно повеяло надёжной крепостью семьи – давно забытым чувством, пережитым им на холмах Мадиама, где он, по обыкновению и по правилам жизни, пас скот своего тестя, священника Иофора, отца Ципоры. Тривиальное начало истории – дочери священника подогнали овец к колодцу, молодые люди им препятствовали и задирали, случившийся здесь Моисей вступился за девушек и прогнал задир, завязалось знакомство с благодарными пастушками, потом с их отцом Иофором. А потом сватовство и свадьба. Мужчина и женщина. Муж и жена. Брачный шатёр. Семейный очаг, освещающий наклонные полсти жилища, а за ними простёрт недружелюбный бескрайний мир, до которого нет дела двоим у послушного костра. Медовые узы, подверженные распаду, как и всё в нашем мире.

Но вот рядом со старухой Ципорой и мальчиком, то ли внуком, то ли правнуком, – потеплело на душе! Только что палило и пылало – а тут пришло благотворное тепло, целебное, и душный вихрь избранничества отступил. У воды сидел состарившийся пастух Моисей, а не грозный Посланец Божий. Ципора увидела это своими старыми глазами, и золотые блики того давнего костерка в тёмном шатре она разглядела.

– Хочешь, принесу твою свирель? – спросила Ципора. – Я быстро...

– Откуда она у тебя? – повернув голову к жене, спросил Моисей. – Неужели сохранилась?

– Я её берегу... – сказала Ципора.

Моисей улыбнулся, опустив голову и пряча лицо. Он не смог бы вспомнить, когда улыбался в последний раз, а люди – те и вовсе этого не знали. Сберегла пастушью дудку, на которой он играл, когда гонял скот Иофора, своего тестя! Сидел в теньке, под деревом, как сейчас, и наигрывал на дудочке, что на сердце взбредёт. Тростниковая свирель с дырочками на спине. Моисей пробежал по ним пальцами, и дул тихонько, и пел несмело – сам себе не мог поверить, что слова вольно, как у всех людей, вытекают изо рта. Это было чудо! Такое же чудо, как его разглаженная речь при обращении к Богу: слова не спотыкаются, вольно текут, не оскорбляя слуха Всемогущего.

Как это у него получается? Когда он говорит к Богу или поёт, речь его гладка, как обточенный водою кругляк, а когда он, по мере надобности, разговаривает с людьми, дефект речи даёт о себе знать, слова сбиваются с пути и вызывают у слушателей ухмылку, а то и обидный смех в рукав.

Может, поэтому много лет назад он так любил играть на свирели и петь в одиночестве, если не считать овец, прядавших ушами на холмах Мадиама. Никто не знал об этом его пристрастии к пению, один Бог знал.

– Бережёшь... – вслед за Ципорой повторил Моисей. – Скажи кому-нибудь, пусть принесут свирель в мой шатёр.

Да, пусть принесут – но не сама Ципора пускай несёт, а кто-нибудь другой. Ципоре нечего делать в его шатре: вождь, выведший евреев из египетского рабства, не может быть скручен семейными узами. Его удел – наставлять народ, а не внуков с правнуками нянчить.

Придерживая влажный подол, Зихри нашёл травянистое местечко недалеко от Моисея и сел. Солнце пекло, распяленная на коленях длинная рубаха быстро сохла. Мальчик откинулся назад, опёрся вытянутыми за спиной прямыми руками о землю и застыл; он теперь был похож на крупную диковинную птицу, изготовившуюся к взлёту.

Моисей, Ципора, Зихри. Полдень у воды.

– А помнишь, – нарушая горячую тишину, сказала Ципора, – как Хагай пришёл?

Моисей помнил Хагая хорошо, но не вспоминал о нём никогда. Этот Хагай был овечий человек, он пас овец неподалёку от шатров Иофора, в соседней долине. Общее занятие время от времени сводило Моисея с Хагаем на меже их пастбищ или у водопоя. Они не были близкими друзьями, а так – приятелями, и это неудивительно: немногословный Моисей предпочитал одиночество, а говорун Хагай, которого неодолимо тянуло к общению, рта не закрывал, как только предоставлялась возможность его открыть при встрече с пастухами или даже вовсе незнакомыми путниками, шагавшими пешком с посошком по своим делам. Может, мнимая таинственность Моисея, происходившая от его замкнутости и вынужденного молчания, влекла к себе рубаху-парня Хагая, как влечёт мотылька или комара золотой лепесток огня над масляным светильником.

Хагай шестым звериным чувством, в нём отменно развитым, чуял в своём соседе сдерживаемую силу, которая, вырвись она наружу, сполна себя проявит неведомо каким образом и кому на пользу.

На свадьбу Моисея с Ципорой, объявленную загодя, приглашений никому не передавали: все желающие, а других и не нашлось в окрестностях, могли прийти и праздновать вместе с молодыми. Явился и Хагай.

Хагай явился вскоре после полудня, с первыми гостями. Он отозвал Моисея в сторонку, приобнял его за плечи и, приблизив лицо к его лицу, сказал:

– Жениху почтенье и благословенье! Тебе скоро понадобится много дополнительных сил и твёрдости, Бог тебе в помощь, Моисей! И он поможет, вот увидишь. Я в этом не сомневаюсь ни капельки, потому что знаю тебя; Бог тебя любит. И вот, по такому случаю я принёс тебе в узелке того, кто распалит твою жениховскую страсть и укрепит твои чресла. Вот, держи! Дарю от всего сердца, хотя, честно говоря, от сердца и отрываю. Нет-нет, не благодари!

И он передал Моисею завёрнутую в промасленную тряпицу небольшую, с кулак, фигурку рогатого тельца, вырезанную из дерева и покрытую облупившейся здесь и там позолотой.

– Я получил это от моего отца, – пояснил Хагай, с удовлетворением глядя, как Моисей, оцепенев, уставился на рогача в своей ладони, – а мой отец – от своего отца. Но ты не беспокойся, у меня ещё есть козёл, осёл, кормящая женщина.

– Это же идол! – запинаясь, вымолвил Моисей. – А я единобожец.

– Ну и что ж! – ничуть не озаботился Хагай. – Одно другому не помеха. У нас тут много живёт единобожцев, они утром молятся главному богу, а после обеда второстепенным, но тоже очень полезным. От этого никому хуже не бывает, а только лучше.

Бросив золочёного тельца на землю, себе под ноги, Моисей, сдерживая ярость, принялся с силою сжимать и разжимать кулаки. Что сделать ему с этим безмозглым болтуном, осмелившимся принести на его, Моисееву, свадьбу рогатого идола и в придачу призывавшим молиться рогачу, чтоб тот наделил жениха дополнительной мужеской силой! Убить Хагая? Это было бы проще всего, это было бы, наверно, угодно Единственному, но Моисей не хотел проливать кровь и портить праздник, ещё толком не начавшийся. После того египтянина, пришибленного палкой, Моисей никого не убивал; этот, строго говоря, необходимый труд был ему отвратителен. И вот он стоял над рогатым идолом, сжимая и разжимая кулаки, и раздумывал, что теперь сделать и как выйти с честью из ужасного положения. А Хагай стоял против него, чуя своим шестым звериным чувством, что дело принимает нехороший оборот и пора, не мешкая, бежать отсюда без оглядки.

Ципора подошла неслышно и, выглядывая из-за его плеча, встала позади Моисея.

– Он это принёс, – сказал Моисей и указал ногой на идола, лежавшего на земле, на боку.

– Он принёс, пускай сам и уносит, – сказала Ципора.

То было разумное предложение, оно избавляло Моисея от тяжких хлопот. Пускай уносит, и подальше. Так он и сказал Хагаю.

– А потом возвращайся, – добавила Ципора. – Как раз мясо поспеет.

– Только руки почище вымой! – предостерег Моисей, повернулся и зашагал к шатрам. Ципора поспевала за ним.

А Хагай наклонился, подобрал тельца с земли и поспешил в противоположенном направлении. Опасность миновала, от души у него отлегло.

Он припрятал непринятый подарок среди камней, в неприметном месте, в узком горле долины, а когда вернулся, пиршество было в разгаре, и Хагай незаметно присоединился к гостям. Едоки обмакивали душистый хлеб в оливковое масло, нахваливали потроха – печень, почки и мозг, предшествовавшие нежному телячьему мясу, и пили вино, сладкое, как смоква, и хмельное, как сон. И это было только начало. Ждали своей кухонной участи овечки и козы из стад Иофора, и вино отдыхало в бурдюках, прежде чем наполнить собою объёмистые высокие кувшины, и хлеб, хлеб, этот не сравнимый ни с чем на свете небесный дар, вызревал и розовел на раскалённых стенках круглых каменных печей – празднество было рассчитано на три дня и три ночи, и только жених с невестой обладали правом время от времени покидать пиршество и удаляться для кратковременного отдыха в брачный шатёр. Благодарно расположенные гости – те из них, которые проявили незаурядную крепость, выдержали нагрузки и перегрузки и, не напившись досьяна, сохранили трезвость взгляда – насчитали двенадцать таких походов Моисея с Ципорой в новобрачный шатёр.

И никто не ругал Хагая за его деревянного тельца, не пришедшего здесь ко двору, и самого себя ему не за что было корить: не по злему умыслу он принес его сюда, а по наивности сердца.

Только три Божьих души знали об этом случае: Моисей, Ципора и сам Хагай. Но Хагай был уже не в счёт: на другое лето после свадьбы, когда он с треском пробирался сквозь сухие тростниковые заросли у Горького моря, пастухи Моава приняли его за дикого вепря, натравили собак, и те кинулись на него и порвали.

– Помнишь? – с робкой настойчивостью повторила Ципора.

– Помню, – откликнулся Моисей.

– Мне уйти? – спросила Ципора.

– Побудь ещё, – сказал Моисей. – И мальчик пусть посидит.

В свой шатёр Моисей вернулся к вечеру.

Шатёр, стоявший немного в стороне от стана, был похож на гору: подошва, торс, вершина. Закатное солнце, падая на склон шатра, окрашивало суровую ткань в цвет червонного золота.

Свирель лежала на ложе Моисея – узком топчане на квадратных ножках, застланном шерстяным плотным покрывалом. Войдя, Моисей с порога различил тонкую белую дудочку на коричневой шерсти покрывала. Мигал огонёк масляного светильника, вечерний ветер пел и гудел над шатром.

Хорошо, что Ципора появилась там, у воды. Хорошо, что ушла вовремя и послала кого-то принести свирель в шатёр. Моисей взял дудочку, приблизил её к губам. Она почти ничего не весила, как будто была вырезана из звуков, а не из дерева. Да и время, протянувшееся от пастушьей долины, где Моисей играл когда-то на этой

свирели и вольно пел в совершенном одиночестве, вплоть до нынешнего дня, нельзя было взвесить, потому что оно не весило ничего. Время, состоящее из ушедших в туман прошлого дней, нагруженных по самый край, как гружённые доверху сыпучим зерном нильские барки, тяжким трудом, и ночей, полных зыбучими снами. Да и дальше той долины уходило прошедшее время – к Нилу, к его тростникам, в которых покачивалась просмоленная плетёная корзинка с трёхмесячным младенцем-подкидышем. Вяло пошлёпывали по берегу смуглые ладошки волн, младенец Моисей глядел из своей корзинки на наш мир, умещавшийся в бездонном небе над рекой. Там, высоко, на распяленных пальцах Творца, сверкали нити наших судеб, которые никто из нас – ни младенец, ни старец – не умеет разгадать.

Пробежав пальцами правой руки по трём круглым оконцам в белом теле свирели, вдоль её прохладной спины, Моисей заиграл. Он не забыл, как обращаться с ней, чтобы её голос звучал по-старому – чисто и уверенно, как правда. Он играл и, недалеко отводя дудочку от лица, пел, и слова без помех лились из его рта. Моисей пел о том, что ноша, возложенная на него Богом, непомерно тяжела, он жаловался Всевышнему на него самого, жаловался и ворчал – но не роптал. Каменная ответственность, неподчинение которой означало верную смерть, стала его жизнью. Освободи его Создатель от этой ответственности, он испытал бы губительное опустошение души и умер бы в тот же миг. Ему, скрытно говоря, нравилось быть ответственным, и непомерная тяжесть, происходящая от этой ответственности, тоже нравилась. Таким образом, он искренне жаловался и ворчал – но и того, что может утратить своё ответственное назначение, страшился тоже совершенно искренне. Этот страх его не отпускал, и сама мысль, что он может стать прежним Моисеем, пасущим овец тестя, ему и в голову не приходила. Не приходила, но без спроса витала вблизи от его сердца – соблазнительная и желанная. Такая двойственность – желание и вместе с тем его отвержение – была непонятна, и Моисей не хотел в ней разбираться: её тёмный исток, по его разумению, уходил в область Божьего промысла, недоступного смертному человеку.

Деревянная дудка, этот наделённый голосом обструганный обрубок прошлого, побудил Моисея оглянуться назад, и то, что он увидел там, тронуло его душу теплом. Но и будущее, начинавшееся сейчас, в тёмном шатре, наполненном звучаньем свирели, внятно обозначилось перед Моисеем. Дорога дней уходила вперёд и вела его к горе над рекой, скользившей в зелёных берегах. Вершину горы венчала ровная площадка, с неё можно было разглядеть всю землю заречья вплоть до самого моря. И нагорная эта площадка была видна отовсюду в мире.

– Я выполню возложенное, – пел Моисей, –  
 приведу народ мой к Иордану,  
 и здесь определён для меня конец пути:  
 взойду на гору Нево  
 и, сытый днями,  
 продолжу своё восхождение к Богу.

*Марина Бородинская*

## *ТИХИЕ ИТРЫ*

\* \* \*

Аполлонушка, Аполлоша!  
Знаю, есть у тебя помоложе,  
Порумяней да побелее,  
Только я-то тебе милее.

Аполлонушка, Аполлоша,  
Знаю, есть у тебя не плоше.  
И способней есть, и бойчее,  
И поют-то они звончее.

Аполлонушка, мил дружок,  
Облети со мной хоть кружок!  
Видишь, меркну я, тяжелею.  
Я за то тебя пожалею.

\* \* \*

Часы над Киевским вокзалом  
сегодня вылитый Биг-Бен.  
Циклон над нами одеялом –  
Атлантики воздушный плен.

Народ бульварствует и бродит,  
в дворнягах – аглицкая спесь,  
и нету резкости в природе,  
одна серебряная взвесь.

Замедленны деревьев жесты,  
а на площадке смотровой  
вуалехвостые невесты  
парят, колеблясь, над Москвой.

Воришка, схваченный за ворот,  
кортеж известного лица –  
всё в мире зыблемо. И город,  
струясь, бежит из-под венца.

\* \* \*

Мелкий мусор дня,  
снегопад электронной трухи  
заметает жизнь,  
под собой погребает стихи.

Лечь лицом к стене,  
чтобы рос потихоньку сугроб,  
чтоб его к весне  
добрый дворник пришёл и разгрёб?

Или выйти вон,  
в сизый воздух, в живые снега,  
где лизнёт в лицо  
молодая тигрица Пурга?

\* \* \*

Мы спросили у Анны Болейн:  
каково ей лежать с нелюбимым?  
Шёл апрель, и стволы тополей  
изумрудным окутались дымом.

Ну а стоят ли, Анна Болейн,  
эти игры в нарядах зелёных  
свеч, которые в гуще аллей  
разгорелись в каштановых кронах?

Так ли круто – дразнить королей?  
И дают ли награду за смелость?  
Ничего не сказала Болейн:  
у неё голова разболелась.

\* \* \*

Ну давай  
приходи, ночь, –  
одиночь меня,  
одиночь.

А потом головой  
в день  
ниткою дождевой  
вдень.

Будет день расшит  
серебром,  
только рыба-стыд  
под ребром.

\* \* \*

Шла гульба, орали в голос,  
с кухни травкою тянуло,  
а принцесса укололась,  
укололась и уснула.

Мир вокруг застыл в покое,  
длился сон подобьем комы,  
а проснулась – что такое?  
Флэт как будто незнакомый.

Ни шприца, ни веретёнца,  
ни чинарика, ни дозы –  
только зелень прёт в оконце,  
только выющиеся розы...

Чем бедняжке уколоться?  
Не шипом же, в самом деле.  
Смотрит – лошадь у колодца,  
а на ней чувак с похмелья.

Он сидит себе кемарит,  
чмок да чмок во сне губами,  
а её уже кумарит –  
тут, похоже, сбой в программе.

Как-то всё пошло иначе:  
мимо сказки, мимо сада...  
Вот и мы – проснулись, плачем,  
не поймём, чего нам надо.

\* \* \*

Отдам в хорошие руки  
виниловые пластинки:  
их больше не на чем слушать  
и не с кем больше крутить.

Отдам в хорошие руки  
кассеты с «Гусарской балладой»  
с Фанни и Александром,  
с доверчивой Одри Хэпберн,  
похожей на оленёнка, –  
бесплатно, за самовывоз,  
да-да, подгоните «газель».

Отдам в хорошие руки  
картинки, запахи, звуки,  
собрания сочинений,  
альбомы чудных мгновений...

Простите?

Нет, это не прялка такая стильная,

это лира –

битая, гнутая, семижильная.

Она остаётся.

Не отдаётся.

Пускай пока постоит.

\* \* \*

В восемьдесят четвёртом

в очереди за водкой

меня пропустили вперёд.

– Мужики, – попросила я, –

мне одну, хотя бы надбитую, для компресса,

у ребёнка уши болят.

Мужики расступились, и кто-то гаркнул:

– Дайте девушке, ей для ребёнка!

Я ушла, прижимая бутылку к груди.

Дети выросли, я проколола уши,

но разбилась любовь, и стихи зачахли,

и опять я проталкиваюсь к прилавку

за прозрачным, горьким любовным хмелем.

– Мне чуть-чуть, – шепчу, от стыда сгорая, –

хоть на донце... Мне для стихов.

\* \* \*

Нет, мальчик, нет! Неназванная роза

не пахнет. Безымянная душа

для жаркой здешней жизни не очнётся.

Младенцу давши имя, наши предки

его скрывали долго, чтобы духи

недобрые – на имя, как на запах,

не потянулись и нутро цветка

не повредили. То, что мы зовём

глаголом, – только имя для поступка,

и в этом мудрость писаря штабного:

не названное – не совершено.

А мы с тобой какие части речи?

Голодных два, оборванных союза,

два малоубедительных предлога,

одно двуличное местоименье?

Молчи, кружись, не бойся, дай мне руку,

ведь мы же знаем: это соловей.

**АВГУСТ**

*Бабы дуры, бабы дуры,  
бабы бешеный народ...*

Частушка

Звёзды – камешки в наш огород:  
знай успевай желать.  
Бабы и так-то дурной народ,  
летом – попробуй сладь.

Ворот колодезный скрип да скрип,  
стонет Земля на оси,  
млечный подсолнух ко рту прилип –  
Господи, пронеси!

Сочным стручкам протрубили сбор,  
и возжигает жрец  
в небе – огненный помидор  
и кривой огурец.

**КОЛЫБЕЛЬНАЯ БЕЗ КОНЦА**

Баю-баю-баиньки,  
Прискакали зайньки.  
Прискакали зайки,  
Открутили гайки.

Ой беда, беда, беда,  
Съедут с рельсов поезда!

А-а-а...

Баю-баю-баиньки,  
Ускакали зайньки.  
К нам пришли бабайки,  
Закрутили гайки.

Ой беда, беда, беда,  
Куда спрячемся, куда?

А-а-а...

Баю-баю-баиньки,  
Воротились зайньки.  
Воротились зайки,  
Открутили гайки.

Ой беда, беда, беда...

\* \* \*

Три англичанки, потому что класс делился на три ради углубленья в чужой язык, – три грации: Елена Кирилловна, затем Ирина Львовна, ещё Руфина... Дмитриевна, верно? – придумали отличную игру. Они крепили кнопками к доске большие фотографии: Парламент, Биг-Бен и Темза, площадь Трафальгар с колонной Нельсона и голубями... Мы были экскурсанты. Наш автобус, составленный из стульев, объезжал красоты Лондона. Один из нас преобразался в гида, брал указку и излагал как мог, в тетрадь не глядя, пространный *topic*. Тексты диктовались заранее – или брались из книжки с гвардейцем на обложке: «This is London». Но это было весело, клянусь! Конечно, наши добрые училки не думали, что мы когда-нибудь увидеть сможем площадь Пикадилли. И кто, скажите, видел эту площадь? Артисты, музыканты, циркачи да их конвой, искусствоведы в штатском.

Теперь мы знаем, Лондон вправду есть. Париж на свете тоже существует, мы были там: всё на своих местах. Всё есть на этом свете, кроме нас – тех, настоящих, для кого Вестминстер звучал как «мутабор». И лишь автобус, невидимый, бесшумный, сквозь туман плывёт, как хлеб, отпущенный по водам.

\* \* \*

– Эй, как бы этот меч вам чашки не раскокал!  
– Нет, меч нам подарил наш старый друг Дамокл. И даже как-то неуютно мне, когда его не вижу на стене.

\* \* \*

Дымчатый, газовый, мутный, хмельной –  
воздух весенний,  
много чего понаделал со мной  
воздух весенний.  
Звал он из комнаты в город ночной,  
в гул законный,  
треснувшей льдинкой, лохматой луной  
посеребрённый.

Ясный, холодный, просторный, пустой  
воздух осенний,  
позднюю птицу прими на постой,  
воздух осенний.  
Всех загулявшихся кликнешь домой,  
Всмотришься в лица...  
Дай отдышаться, разреженный мой,  
дай протрезвиться.

### ТРИ ЭПИТАФИИ

\* \* \*

Все думали, что он кавалерист,  
А он тончайший был акварелист.  
И, помянув его, на акварели  
Со странным чувством конники смотрели

\* \* \*

Сними бейсболку, житель городской, –  
Здесь баба Люба обрела покой.  
Теперь в её неношеном халате  
Сидит перед подъездом баба Катя.

\* \* \*

Здесь вор лежит – наглейший из воров:  
Обложен мрамором обширный ров,  
И ангел самый крупный и унылый  
Охранником поставлен над могилой.

\* \* \*

От заключения простого,  
что Пушкин не читал Толстого,  
какой-то холод в животе:  
и мир не тот, и мы не те.

## ПРУД

В нём карп когда-то плавал и карась,  
Но рыба вся давно перевелась.

В нём тучи колыхались – нынче он  
И малым облачком не забелён.

И всё же с неба капнула звезда  
В пустые щели заглохшего пруда.

\* \* \*

А ещё был кофе со сгущёнкой:  
жестяной цилиндрик с двух сторон  
вспарывался – и тягучей, тонкой  
струйкой запускался в кружку он.

Сверху наливался кипяточек,  
размешал и пей, чего ж ещё?  
Пролетарской радости источник:  
приторно, душисто, горячо!

Если б это видел итальянец,  
швед, француз или другой зоил,  
он бы возопил: «Какой засранец  
это непотребство сотворил?!»

Но, не зная про двойной эспрессо,  
запасали бабушки к зиме  
тюрю, что у нас для политеса  
звали *кофэ* – с обратным «э».

Отхлебнуть и выпить без остатка...  
Консерванты – это не беда,  
лишь бы стало горячо и сладко,  
горячо и сладко, как тогда.

\* \* \*

Почему-то считалось, что сумасшедший просто вдруг забывает, кто он такой, и твердит: «Я чайник!» – или: «Я ваза!» Даже был анекдот: Робертино Лоретти своротил с ума и кричит: «Я майка!» Нет, потом-то мы поняли, в этой бездне всё устроено много сложнее и тоньше, и который тут проводок от лампы, а какой от бомбы, поди пойми.

Если б только Всевышний, как Станиславский раздавал нам задания для этюдов: вы, мол, юноша, будете медный чайник, вы, мадмуазель, – стеклянная ваза, – о, с каким послушным самозабвеньем мы играли бы этот кастрюльный джаз!

Но трясёмся мы в тишине кромешной: вот войдёт подвыпивший гинеколог и проколет тонкий пузырь безумья, и такие хлынут оттуда воды, и такое выскочит робертино – поскорей бы уж закипело утро и «не верю!» трижды пропел петух.

\* \* \*

Кто валялся в моей постели,  
всё мне скомкал и скособочил?  
Кто рассиживался на стуле  
и поставил его не так?  
Кто прикончил мою овсянку,  
накалякал в моей тетрадке,  
и удрал навсегда в окошко,  
и медведей моих унёс?

\* \* \*

Когда Ахилл убил Пентесилею,  
он взгляд её поймал всего на миг  
и понял, что влюбился. Амазонка  
взаимностью ответила ему.  
В любви, в согласье прожили они  
минуту или две – до самой смерти,

и вечность, будто свадебная ночь,  
немыслимая, жаркая, цветная,  
явилась им на острие меча.

Не это ль, други, идеальный брак –  
двуострый миг, что проглядели боги?

\* \* \*

Ангел был мужского пола,  
голубого цвета.  
Ехал он совсем раздетый,  
валяный из фетра.

Ехал он в руках у тёти,  
что его валяла –  
длинной тонкою железкой  
плечи выправляла.

Взад-вперёд штырёк проворный  
ездил без усилья,  
прорастали над плечами  
войлочные крылья...

Пассажиры, что напротив  
и с боков сидели,  
на чудное рукоделье  
искоса глядели.

И шепнул мне странный кто-то  
за спиною где-то:  
– Встретить ангела в подземке –  
добрая примета.

## **ЗАГОВОР**

Отойди, беда,  
От мово гнезда  
Во траве густой –  
Отойди, не стой.

Я ль тебя, беду,  
В зелен-бор сведу:  
По глухим местам –  
Что малины там!

Я ль тебя, беду,  
На реку сведу –  
Там жирует язь,  
Что удельный князь.

Ты ли, бѣдушка,  
Свет лебѣдушка,  
Ты иди со мной,  
Не оглядывайся.

За моей спиной –  
Лишь трава стеной,  
Никакого там гнезда  
Сроду не было.

### ХОЗЯЙКА

И вот я говорю: пора,  
тянусь ладонью к своду –  
раздайся, Медная гора,  
дай мастеру свободу!

Зелёный камень малахит  
всегда к лицу и к месту.  
Возьми шкатулку – без обид,  
утешь свою невесту.

Стоцветный сад сравни с тюрьмой,  
соври, что заманила...  
Про то, как жжётся холод мой, –  
молчи, молчи, Данила!

\* \* \*

Зачем-то вдруг замечаю:

какая удобная ветка –  
подпрыгнуть, схватиться, закинуть ногу

Какая отличная горка  
с волнистою ледяной дорожкой!

Какая музыка на катке!

Нет-нет, я помню,  
у нас сейчас  
по расписанию –  
тихие игры.

*Алла Широкина*

## *ПРИ ЧЁМ ЗДЕСЬ БАЛЬМОНТ?\**

*Помнишь, дорогой, как в начале нашего СМС-романа ты ответил на мою сдержанную угрозу спросить о чём-то, что было очень важно для меня? Ты отбил следующий текст: «Тогда и у меня вопрос. Почему ты делаешь то, чем занимаешься?» Откуда ты мог знать, чем я занимаюсь? Ты нашёл меня спустя огромное количество лет. Под другой фамилией. Живущую в географическом центре Европы. И ты знал все мои телефоны. Знал адрес – вплоть до номера квартиры. Эти сведения не были указаны в социальных сетях, которыми я пользуюсь крайне мало. Позже я случайно наткнулась на своё давнее объявление о продаже французского гобелена и на резюме, размещённое на соответствующем сайте в поисках работы. Я о них и думать забыла. Но! Откуда ты мог знать, чем я занимаюсь. Нетрудно сообразить, о каких возможностях специальных служб я тогда подумала. Кто тебя знает, чем на самом деле ты загружен в этой Москве. И кто у тебя в друзьях значится. Но мысль о том, что ты мог читать мою почту (а что, разве такое не случается во времена борьбы с терроризмом?), повергла меня в шок. Чувство было такое, как будто изнасиловали. Я опустилась в ротанговое кресло, стоящее на кухне возле холодильника, и сидела минут двадцать. Жить расхотелось сразу и навсегда.*

*А теперь я приподниму для тебя завесу над содержанием того, «чем я занимаюсь». Это забавная сторона моего «занятия».*

\* \* \*

Каждый день к двенадцати часам я подхожу к знакомому дому, открываю своим ключом квартиру на втором этаже и вхожу с радостным возгласом: «Кто, кто в теремочке живёт?» В теремочке живёт моя подопечная. Ей восемьдесят два года. Она сохранила здоровыми все свои зубы и никогда не знала, что артериальное давление может повышаться или понижаться, а сердце – болеть. Суставы её тоже не беспокоят. Год назад она шла с рынка, споткнулась, упала, очнулась. Повязка была не на руке, а на голове. С тех пор живёт в плену собственных фантазий и воспринимает окружающую действительность через призму весьма своеобразных представлений о ней. Впрочем, то же самое можно сказать о любом из нас. Лишать её этих представлений нельзя, потому что её личности будет уж вовсе не на что опереться. Что в полной мере относится и к нам. Но! Она святая, потому что ни память, ни страсти её не волнуют. И этим она резко отличается от большинства жителей Земли, и от меня в частности. Моя задача – гулять с ней в любую погоду, чтобы поддерживать мышечный тонус. Но я делаю больше. Я поддерживаю с ней беседу. Почему поддерживаю? Потому что первой начинает

\* Глава из повести «Сталинградская битва Фрау». Журнальный вариант.

всегда она, а я только реагирую на сказанное. Правда, время от времени позволяю себе разразиться длинным вербальным периодом или развернуть комментарий. По какому поводу? А что, мы используем третью сигнальную систему только по поводу?

Итак, её зовут Луноход. То есть в паспорте она записана под тем именем, которое получила от родителей. Однако она, во-первых, не знает, кто были её родители. Во-вторых, она не знает, где и когда родилась, а в-третьих, её никто по имени уже давно не называет. Для детей она – мама, для внуков – бабушка. Правнуки с ней не разговаривают, «не признают», как она сама говорит. Ну а снохи, тем по статусу положено «не признавать». Остаюсь только я, и почему именно мне следует называть её, используя подсказку в паспорте, которого я не видела?..

Что роднит её с космическим аппаратом? Она обладает фантастической проходимостью. Невзирая на состояние почвы, покрытой пылью, льдом, снегом, расплывшейся в жижу глиной, перекопанной экскаватором или закатанной в асфальт, неутомимо движется по самовольно избираемой при выходе на улицу траектории, начало и конец которой – дорожка, ведущая к двери её дома.

Она рада, что есть я и мне можно рассказать о сыночке, живущем в Алма-Ате, откуда она приехала сюда вместе с умной и ответственной дочерью. О том, как они продали домик с земелькой и все бумаги подписали, а соседи дали только половину суммы и сказали, что больше дать не могут. О другой земельке, той, под которую она уйдёт после того, как последний раз повидается с сыночком. И о том, как она шла с рынка, несла сумки, и упала, и «больше года лежала в больнице. Потом приходили домой. Лечили. Лечили. Ничего не помогло. Память моя уходит».

Так вот. Я разуваюсь и прохожу в ванную, чтобы вымыть руки после маршрутки. Луноход уже около часа сидит и ждёт меня, полностью одета и обута. Ей кажется, что я не приду. Но она всё равно надеется. Когда выхожу из ванной, непременно спрашивает: «Вы пописали и покакали?» В первый раз я ответила подробно: «Я же не мышь, чтобы писать и какать там, куда забежала в поисках пропитания». Со временем развёрнутый ответ начал утомлять, и я стала отвечать по-еврейски. Вопросом на вопрос: «Вы думаете, я мышь?» Это её полностью удовлетворяет.

Мы выходим на улицу. Она выбирает маршрут. Налево – по совсем разбитой дороге, в сторону бездомных псов, равнодушно бегущих мимо или нагло разлётшихся прямо на тротуаре. И дальше – в ту сторону, где по периметру огороженной автостоянки несутся нечёсанные волкодавы и, подпрыгивая на задних, цепляются за невысокую ограду передними лапами, пугая редких прохожих бешеными глазами и диким лаем. Туда, где город сходит на нет, заканчиваясь бесконечной чередой двухэтажных немецких домиков с палисадниками и небольшими участками «земельки». Дойдешь до конца «деревни», поворачивай и двигайся обратно по прямой. Пройдешь поворот к дому Лунохода – не сворачивай, иди прямо. Мимо двух православных церквей. Та, что справа, – армянская православная. Слева – тоже православная, для остальных россиян. Ибо, как сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси: «Родился в России, значит – православный по вере». Дальше –

госпиталь имени Саулькина. Ещё дальше, через проезжую часть двустороннего дорожного полотна, – широкая и ровная пешеходная дорожка. Если идти по ней до конца, и повернуть налево, и продвигаться вперёд, не сворачивая, – вернёшься к семиэтажке Лунохода. В общем, куда ни пойдешь, к своему началу придёшь.

Хочешь знать, что вмещают в себя полтора-два часа нашей прогулки? Для меня это – время Сурка. Время никто не считает. Оно само по себе накапливается и спрессовывается в недели, месяцы и годы. Похожие друг на друга, как сиамские близнецы. Всё остальное время я живу своей настоящей жизнью. У меня может болеть голова, меня может мучить бессонница, я могу вспоминать прошлое или думать о будущем. Я могу испытывать сожаления по поводу того или другого. И гладить старую верную псину. И ощущать свой возраст. И всё равно мучиться страстями. А потом на несколько часов наступает второе февраля, пространство безвременья, в котором Святая гуляет со своим Игемоном по известной траектории. Время Игемона, гуляющего со своим Сном.

Итак, начало прогулки:

- Хоть бы сыночек прилетел. Ох-хосподи-и!
- Прилетит.
- Да, прилетит! А самолёты падают.
- Ну, не обязательно в этот раз.
- Вот дождусь его и уйду под земельку.
- Никто не знает своего срока.
- В этом или в следующем году должен прилететь.
- В этом. Уже скоро.
- Да, скоро, а самолёты падают. Жалко, что мой сыночек не заберёт меня. Так хотелось лежать со своими братьями и сёстрами. Он бы ухаживал за мной. А потом, когда он под земельку уйдёт, его сыночек. Ох-хосподи-и!
- А здесь что, некому ухаживать будет? А Оля?
- Оля скоро умрёт. А её сыночек не будет ухаживать... Так хорошо в Казахстане жили. В Алма-Ате. А потом у Оли с работой не получилось. Бегала, бегала. Не получилось. Сказала, поедем, будем в Ростове жить.
- Нет. Вы родились в Ростове. А это Калининград.
- А здесь кладбище далеко?
- Какое кладбище?
- Ну, такое. Где люди. Люди под земелькой лежат.
- Здесь везде – кладбище. Мы с вами идём по кладбищу.
- Ох-хосподи-и! Так хочется сыночка увидеть. Он фильмы сочиняет. На русский язычок переводит. И в Москву посылает. А я смотрю.
- Да.
- Когда была у него, всё лето ребятишек набирал. Русских девчат и парнишек набрал, а казахи не согласились.
- Да?
- Да. Всё лето набирал. Ни один не согласился.
- А зачем казахов?
- Так Москва сказала. Набирай казахов... Ни один не согласился.
- Смотрите, солнышко вышло.

– Разве это солнышко? Вышло и сразу зайдёт. Вот в Алма-Ате – солнышко. Я там по берегу бегала. Не дышала.

– Разве можно не дышать, когда бегаешь?

– Бегала. И не дышала. Такой воздух... Собачка!

– Не бойтесь. Она хорошая.

– Да, хорошая! А укусит.

– Вас кусали?

– Не помню.

– Ну и не бойтесь.

– Ой, посмотрите! Машина!

– Нас пропускают. И здесь переход. Не бегите, не бегите! Никто не хочет из-за нас в тюрьму сесть.

– Да, не хочет... А сколько задавили.

– Ну, это не с нашим счастьем.

– Что?

– Я говорю, не обязательно сегодня это произойдёт.

– Посмотрите! Какая малышечка!

– Вы тоже малышечка.

Она улыбается.

– Да, малышечка. Такая малышечка! – машет ребёнку рукой и говорит: – Давайте остановимся. Я посморкаюсь.

– Что, из краника течёт?

– Да, из краника! – снова улыбается она.

– Посморкайтесь... Ручка не устала за меня держаться? Хотите, я с другой стороны пойду?

– Нет, не надо... Вот старуха! Старше меня. Куда-то сама идёт. В магазин. Или на рынок.

– Вы тоже сама идёте.

– Она старше меня?

– Нет, моложе лет на двадцать.

– А мне кажется, старше. Такая старуха! Вам не надо в магазин?

– Нет, спасибо.

– Вы в деревне живёте?

– Нет. В центре.

– Да? А мне казалось, в деревне. У нас кто-то в деревне живёт.

– Это родители Насти, вашей снохи.

– Я у них жила... Воздух! И не дышала! А у сыночка, в Алма-Ате, какой воздух! Бегала там по берегу. И не дышала. Мне тогда за пятьдесят было.

– Вы сюда приехали восемь лет назад. А к сыночку летали три года назад. Вам было семьдесят девять.

– Нет. Мне за пятьдесят было. Хоть бы сыночек прилетел! Ох-хосподи-и!

– Прилетит.

– Да, прилетит... а самолёты падают.

– Ничего, раз вы его ждёте, он прилетит.

– Да ждать-то – жду. А самолёты падают.

– Надо надеяться.

– Посмотрите! Машина!

– Пойдёмте, что у вас за привычка руку отнимать! Кто здесь за безопасность отвечает? Вы? Или я? И почему вас всё время на эту сторону тянет? Здесь машины прямо по моим ногам едут.

- Здесь солнышко.
- А если меня задавит? Как вы одна домой дойдёте?
- Здесь близко, – задумчиво отвечает она.
- Точно дойдёте?
- Дойду.
- Ну, тогда ладно. Пусть задавит. А вам меня не жалко?
- Нет, – отвечает она после паузы.
- Ну и славненько. Теперь направо пойдём.
- Вам в магазин не надо?
- Нет, спасибо.
- У вас в деревне, там тоже продукты есть?
- Да, у нас есть.
- А кто у вас?
- Что?
- Ну... кто у вас? Дети?
- Дети. Мальчик и девочка.
- Малышечки.
- Нет, они не малышечки. Они уже большие крокодилы.
- Крокодилы!.. – смеётся она. – Ну, сколько? Сколько им?
- Сыну девятнадцать. Дочери двадцать четыре.
- Взрослые.
- Да, взрослые.
- Это кто идёт? Старик или старуха?
- Не знаю. Не хочу смотреть на некрасивое.
- Старость красивой не бывает.
- Не скажите. Зависит от того, как жизнь прожить.
- Сколько мы гуляем? Больше часа?
- Да. Но можно ещё погулять. Время не вышло. Давайте повернём налево, потом перейдём через нашу перекопанную дорожку и пойдём к дому.
- Хоть бы сыночек прилетел. Ох-хосподи-и!
- Прилетит, куда он денется?
- Да... куда денется? А самолёты падают.
- Пойдёмте. Перейдём здесь.
- Нет.
- Не нет, а да. Здесь машин меньше.
- Нет. Ну пойдёмте. Пойдёмте той дорожкой.
- Там собаки сторожевые без цепи бегают. Перепрыгнут через забор. Я-то вас прикрою, а меня сожрут. Мне муж не велит по этой дороге ходить.
- Да?
- Да. Я вам ещё могу пригодиться.
- Сколько мы гуляем? – спрашивает она, отсмеявшись.
- Час пятнадцать.
- Ну, пока дойдём, как раз будет... Хоть бы сыночек прилетел. Он хороший. На меня похож. Ох-хосподи-и!
- А если не похож, значит, плохой? Оля на вас не похожа. Она вас любит.
- Не любит она меня.
- Как вы знаете? Чувствуете?
- Чувствую.
- Ничего. Если один человек любит – уже счастье. Не всем везёт.

- А вам Оля не говорила?  
– Что?  
– Ну, про сыночка. Она думает, что он фильмы не сочиняет.  
– Оля не понимает.  
– Да. Не понимает. Вот сыночек прилетит. Он ей скажет. Он хороший. На меня похож.  
– Да. Он скажет.  
– Он фильмы сочиняет. На русский язычок переводит. И в Москву посылает. Москва попросила. Я вам рассказывала?  
– Да. Но не много.  
– Он сочиняет. А я смотрю. Он мне ручкой помахал. На пятом канале. Проходил мимо домика своего, где он живёт, и ручкой мне так помахал... Хочется к нему улететь. Лежать там с братьями и сёстрами. Кажется, были сёстры. Я их не помню. И родителей не знала. Я последняя родилась. Увезли в Казахстан.  
– Да.  
– Сыночек фильмы свои сочиняет. На русский язычок переводит. Сюда отправляет. А я смотрю. И Москва попросила. В Москву отправляет.  
– Ну, вот сейчас придёте, пообедаете и будете смотреть. Там по пятому каналу «Менты» идут. Может, увидите сыночка.  
– Я кушать не хочу. Я в десятом часу позавтракала.  
– Вы мне это каждый раз говорите. Надо силы поддерживать. А то гулять не сможете.  
– Нет. Я кушать не буду.  
– Ну хорошо. Тогда я Оле позвоню.  
– А у вас её телефон есть?  
– А как вы думаете?  
– Не знаю.  
– Есть.  
– Как ваша старуха? За которой вы смотрите? Встаёт? Прогуливается?  
– Нет. Она парализована. Парализованные не прогуливаются. Но мы с ней ходим... от кровати до окна, потом до дивана. И обратно. До кровати.  
– Надо же! На десять лет меня моложе! Ох-хосподи-и! Так хочется сыночка увидеть. Смотрю его фильмы. Проходил. Помахал мне ручкой. Увидеть его и под земельку уйти... Хорошо, что луж нет. Такая красота! А вы что же?  
– Что?  
– Вы без платочка сегодня? А волосы?  
– Что с моими волосами?  
– Так пыль! Ветер в эту сторону дует. И пыль. Вам же придётся головку мыть, когда домой придёте.  
– А разве Бог нас не из пыли и грязи сделал? Слепил, а потом коленкой под зад!  
– Сколько мы гуляем?  
– Полтора часа.  
– Ну, давайте зайдём.  
Конец прогулке.  
Однажды я спросила её, была ли Казнь? Она задумалась. И ответила, что не было.

Она забыла. Как всегда забывал Иешуа в навязчиво однообразных Снах Игемона. Святые! На что им память! И страсти их не волнуют! Даже если они сами стали жертвами страстей.

А теперь представь, что несчастье случилось со мной. Разве я не заслужила бы любви? И сочувствия? Теперь ты знаешь, почему я делаю то, чем занимаюсь.

*Помнишь, ты меня спросил:*

*– Ты уверена, что именно меня хочешь?*

*Ах эта сучья женская натура! Она не знает ответа. Но отвечает, как предписывают правила:*

*– Конечно, милый, только тебя!*

*На этот вопрос всегда следует отвечать положительно. Иначе зачем было затеваться?*

*Я буду знать ответ, когда увижу тебя. Ещё точнее – когда узнаю тебя. А сейчас займусь делом и буду ждать. Ты вернёшься из клуба и позвонишь. Я буду слушать. И никому не смогу рассказать, что ты будешь нашёптывать мне. Ты спросишь, почему я всегда молчу. Неправда, я говорю, да ты не слышишь. В твоей Москве так шумят! Ты научил меня, и теперь я постоянно занята разговором с тобой. Но сегодня особенный вечер. И я, и Автор во мне, мы замолчим, исчезнем, уступив место Пажу или маркизе Евлалии. Как тебе будет угодно, дорогой.*

Фрау, наконец, определилась со своим призванием. Она будет служить людям не только словом, но и делом. После Доминтерната она четко поняла, что страну захлёстывает старость. В обычной жизни это особенно заметно, если приходится часто пользоваться трамваем. Фрау любила трамвай. Он напоминал ей Тенесси Уильямса. Раньше, когда Фрау ещё была Медхен, она читала запоем. До того, что один глаз начинал косить в сторону, и её подвергали самому страшному наказанию – запрещали прикасаться к книгам в течение нескольких дней. Большая литература, с которой Фрау взаимодействовала в те ставшие легендарными времена, оказала решающее влияние на формирование её личности, и совершенно неважно, что к настоящему времени Фрау почти всё забыла. Дело было сделано. Классика творит культуру. Теперь говорят: «Ты – то, что ты ешь». Прежде говорили: «Ты – то, что ты читаешь». Почувствуйте разницу!

Фрау не фантазёрка. Она «пошла в народ», потому что видит реальность и понимает, что государство не справляется. Ему надо помочь. И Фрау создала собственный Союз Суверенных государств. Это её старики, немощные телом, но ещё более – духом. Прожившие жизнь, но не умеющие отличить добро от зла, свободу от насилия, правду от лжи, любовь от похоти. Фрау искренне считает, что слабые могут быть счастливы только в том случае, когда они полагаются на трезвый ум и мышцу сильного. И она пришла к ним, чтобы очистить и приготовить к самому главному в жизни человека – к достойному уходу. Теперь, когда они больше никому не нужны, она стала им и Родной, и матерью, и подругой. Для них она создала Конституцию, ведь порядок необходимо ограждать от Хаоса. По временам, когда меняются обстоятельства, она вносит поправки в Основной закон. Ей нет нужды в пустой символике, в гимнах и стягах. Она от природы сильна

и умело правит своим народом. От неё зависит, каким духом наполнены их дома. Иногда, чтобы они лучше поняли её, она рассказывает им свою любимую прочитанную много лет назад притчу.

Один из ранних последователей Христа положил жизнь на то, чтобы нести истину необращённым. Он много путешествовал, и однажды его корабль, парус которого был отмечен изображением римского креста, символизирующего распятие, причалил к весьма отдалённому острову. Кучка туземцев встретила миссионера на берегу. Он принёс им свою Весть, научил молитве, задержался на несколько дней, позволив усталой душе вкусить земной рай, и отплыл. Спустя долгие годы, будучи старым и больным человеком, он решил повторить давнее путешествие. Чтобы уйти в мир иной с чувством хорошо выполненного дела всей жизни. Путь был неблизкий, и, наконец, показался тот остров. Но ветер дул навстречу кораблю и мешал подойти ближе к берегу. Туземцы издали заметили корабль и узнали его по кресту на парусе. Некоторые из них двинулись навстречу. Смеясь и радостно восклицая, они приближались к кораблю. И махали руками, приветствуя Учителя. Они шли по воде. Всё ближе и ближе. Миссионер не верил своим глазам. Он помог им взобраться на борт. Они обнимали его и тормозили, простые, как дети. Потом успокоились, и Старейшина взял слово. Он был взволнован тем, в чём хотел признаться. «Прости нас, – сказал Старейшина, – и все остальные согласно закивали головами, а в их глазах появилось искреннее сожаление. – Прости нас, ради Христа, – повторил Старейшина, – мы забыли слова молитвы, которой ты учил нас. Пожалуйста, подари нам снова своё время, научи нас, глупых и нерадивых!» Но чему он мог научить детей Божьих? Он, который не мог ходить по воде.

В их бедной событиями жизни не было храмов, священных книг и дарованной молитвы. Миссионер принёс им Весть и, сам того не желая, дал толчок их мысли. Что ж! Не всё ли равно, каков путь, ведущий к вере, если он делает человека свободным от страха и удерживает его на поверхности тёмных вод.

Этому простому, в сущности, делу Фрау старалась научить свой народ. И с удовольствием наблюдала, как эти разбитые вековым параличом люди пытаются делать и делают первые шаги. Ну, если даже они могут, значит не всё потеряно.

Фрау нередко думала о людях, у которых прежде работала в услужении. Они были такие разные. Но и те, и другие, и третьи завтракали, обедали и ужинали шопингом. Плотский голод невозможно утолить! Окно должно присутствовать не только в жилище, но и в душе человека. Овальному окну в сердце новорожденного необходимо своевременно затянуться, чтобы младенец рос здоровым. Но духовное окно следует держать распахнутым настежь. И в штормовую, и в тихую погоду. Что может заставить человека думать и заботиться об этом окне так, чтобы оно всегда было чистым? Конечно, классика во всех её ипостасях. Но есть ещё кое-что, о чем учили Фрау в институте и о чём говорил серебряный Бальмонт, ныне почти позабытый. Стараться надо. Самому надо что-то делать. Влиять на среду непосредственно из её смердящего нутра.

Сколько помнила себя Фрау, с самого детства жили в ней слова Великого гражданина:

*Страна, которая молчит, вся в белом-белом,  
Как новобрачная, одетая в покров,  
Что будет тронут им, любующимся, смелым,  
Несущим солнечность горячих лепестков.*

*Страна, которая всех дольше знает зиму  
И гулкую тюрьму сцепляющего льда,  
Где нет конца огням и тающему дыму,  
Где долгий разговор ведёт с звездой звезда.*

*Страна, которая за празднествами мая,  
Чуть лето глянет ей, спешит сказать: «Я сплю», –  
Страна великая, несчастная, родная,  
Которую, как мать, жалею и люблю.*

Постепенно Фрау стала осознавать, что внутри неё зарождается новая, сильная сущность, куда более конкретная, чем её собственная. Это совершалось незаметно для посторонних глаз. Не вдруг случилось, но однажды Фрау почувствовала, что слова Бальмонта каким-то образом относятся к ней. Она и есть – страна в белом. В её жизни было всё. И предательство родителей, за бесконечными распрями забывшими о своём единственном ребёнке, чтобы оставить его без напутствия, без благословения и уйти в прошлое непримирёнными. И жестокая любовь матери, годами опаивавшей уже взрослую дочь препаратами брома, чтобы Фрау не вздумала зажечь своей собственной полноценной жизнью. И групповое насилие. И жадность любовников, домогавшихся её, желающих только одного: схватить, удержать, войти в детородные недра. И бессильное эго мужа, лишившего её любви на долгие годы, превратившего в подёнщицу, снующую от дома к дому в поисках хлеба насущного. И Церковь, говорящая устами слабого человека. Только одного не было в её жизни – предательства детей. И она чувствовала себя несокрушимой, потому что у неё были хорошие дети. Из своего унижения она вычёрпывала силу пудовыми ковшами железной воли. В этом было её сходство с Избранным народом Божьим. И в ней, и в нём в глубинных тайниках жил дух противостояния и неистребимой веры в исключительность предназначения. И столь же неистребимое недружелюбие к тем, кто не подчиняется.

У Фрау, как и у её Родины, была короткая память, но это не представлялось ей недостатком. Жизнь совершается здесь и сейчас и требует быстрой реакции. Истинная подоплёка событий известна только её участникам, но даже им неведом Промысел Божий. Летописцам и толмачам, погрязшим в деталях, он тем более недоступен. Тщетой их усилий создаётся искажённый мир ложных представлений. Так они кормят свою ненасытную гордыню и плотскую страсть к равнодушной Вечности.

Фрау не зря изучала психологию. В результате она систематизировала свои представления о человеческой натуре и стала применять к людям более высокие требования. Гены генами, но ведь и сами что-то можем. Научение – великая вещь. Главное слово Фрау – глагол повелительного наклонения «старайся». Не надо ничего сверх меры. Делай то, что в твоих силах. Этого достаточно. «Живи истинно и напряженно» и помогай другим. Живи и веруй. Поскольку вера отвечает за наполненность периода ожидания.

Фрау верила и продолжала жить ожиданием любви к ней самой. Любви безусловной, верной. Где он? Когда придёт? Узнает ли, откинув твёрдой и нежной рукой белоснежный покров с её измученного лица?

Шаг за шагом Фрау превращалась в собственную Россию, какой она представляла её в будущем.

И – если присутствие на Земле Сатаны является доказательством существования Бога, то самовластное решение сокрушённой женщины стать человеком-опорой, человеком-государством свидетельствует о переменах в сознании, ожидающих нас в наступившей эре Водолея. Вплоть до воплощения в жизнь мечты Фрау – увидеть Россию в лучах Света.

\* \* \*

*Самое бы время нам сейчас отойти в лучший мир. Пока чувство ничем не осквернено. Пока не осыпалась пыльца с крыльев бабочки.*

*Ты можешь полюбить сильнее? Вот видишь. И я не могу. Если б жили в героические века, могли бы легко остаться в истории Любящими. Стоило только выпить по глотку отравленного вина из рубинового кубка.*

*Здесь шёл спектакль на эту тему. Забыла название. Герои современные, а сердца всё те же. Ничего нового не придумать. Но мы никогда этого не сделаем. И тот, кто останется один, тоже этого не сделает. Будет умирать от тоски. Медленно и долго.*

*Для чего вообще существует Человек? И я, в частности? Я знаю только один ответ – чтобы любить. Количество материала, отлюбленного душой, становится невидимым белым Светом. Да, да, тем самым, из которого появляются новые люди для новой жизни. Невидимый белый укрывает Землю, спасая её от невидимого черного.*

*Поздней ночью отослала текст первой части повести с посвящением от лица Фрау: «Тебе – тому, кто любит меня ради меня самой, посвящаю этот текст вместе со всей моей прошлой, настоящей и будущей жизнью».*

*Ты позвонил утром и сказал своим вкрадчивым голосом:*

*– Очень умно! Позиция автора заслуживает уважения. Молодец. Но! Где же здесь я?*

*Сердце подсказало ответ, и я произнесла, согласно подсказке:*

*– Ты в моём сердце. И всё для тебя, вместе с моей жизнью.*

*– Картина маслом, – ответил вкрадчивый голос, – но хочешь знать, как ты понимаешь меня, мой хороший.*

*И с обстоятельностью, свойственной психологу-педагогу, я разжевала для тебя своё видение ситуации. Я сказала:*

*– Когда, наконец, встретимся, мы много увидим друг в друге из того, что ещё не проявлено. Сейчас я едва-едва различаю в твоих ангельских повадках приметы живого человека. Вот в будущем и напишу твой настоящий портрет.*

*– Ты ничего не поняла, – ответил голос, – настоящий портрет ты видишь сейчас.*

– Мне жаль, – ответила я, – текст изначально не задумывался с целью дать представление о моём понимании тебя. Если не права, могу больше не беспокоить.

Я подсела к буку и, отбивая пальцы, настрочила тебе гневное «Прощание с Матерой»:

– Теперь я понимаю, почему прошла мимо тебя много лет назад. Ты тогда ещё не вырос. Хотя умел отлично трахаться. И за прошедшие годы не очень заметно ты подрос. Тебе предлагают сердце и жизнь, а ты хочешь своего отражения в зеркале. Вечный ребёнок! Подумай об этом. Может быть, когда-нибудь я даже захочу переспать с тобой. Почему бы нет? Но не больше.

Я не испытывала сожаления от сказанного. Так всегда бывает в минуту гнева. Но была надежда, что сожаления не будет и после. Отключила телефон и легла спать, укрывшись тёплым пледом. Не помню, что мне снилось. Пришёл сын с подружкой. Они звенели посудой на кухне, гонялись друг за другом, хлопали дверьми. Потом затихли. Заперлись в его комнате. Я спала. В последнюю минуту сна увидела высокое каменное изваяние. Прямо в него летел снап огня. Удар! Взрыв! У каменной фигуры оторвало голову. «Это поэт и философ», – важно сказала я кому-то во сне. И проснулась.

Включила моб. Конечно, там была твоя СМС.

– Угадала! Сто лет как в зеркале не отражался. А тут подумал – вдруг отражусь. Я всё понял и оценил. Я так хотел, чтоб ты верно увидела адресата.

– Разве тебя нет? – спросила я.

Сердце похолодело. Кого ждёт бедная Фрау? Несчастливая Родина! Кто нас отыщет? Кто спасёт?

«Жизнь – это сказка, рассказанная идиотом, наполненная шумом и яростью и не значащая ничего», – отбил ты очередную цитату.

Ну, конечно, неизменная привычка говорить чужими словами. Я поняла, что силы на исходе. Бороться не имело смысла.

– Тогда мне стоит с понедельника начать подыскивать себе место уборщицы. Какая разница, кем быть в сказке, – ответила я. – Ты, невидимка, дописал конец романа. Теперь он весь принадлежит тебе. А Фрау? Она умерла...

У меня дрожали руки, как в тот день, когда ты впервые сказал, что позвонишь.

– Хватит нам общаться только буквами, – убеждал безголоый Месседж.

Мы в тот раз не отважились услышать голоса друг друга. Прошла вечность, расколовшая судьбу на две неравные половинки, – так страшно было их соединять!

– Что ж, цитировать так цитировать, – мрачно подумала я, припомнила слова Тёмного Гераклита и отразила удар цитатой из него: «Многознание уму не научает».

Надеюсь, голова поэта и философа не пострадала. Питаться отчаянием невозможно. Сейчас сделаю себе яичницу из четырёх яиц, съем и отражусь в зеркале. «Смерть! Ты существуешь. Но я тебя не боюсь...»

### ПРОСТО ВИДЕТЬ\*

**М. П.:** В вашей семье были художники?

Ю. С.: Нет, мой отец был юристом, мать – химиком. Остальная родня – «технари».

**М. П.:** А в детстве рисовали? Какой-то кружок, студия?

Ю. С.: Не было студии. Был строительный техникум – в Алма-Ате. В Казахстан семья эвакуировалась из Харькова в сорок первом году.

**М. П.:** Но вы учились в Москве, в Суриковском?

Ю. С.: Да. Но до того были еще два года в художественном училище в Харькове, работа в школе, кукольном театре, на телевидении. Так что поступила я поздно, в 27 лет.

**М. П.:** Кто ваши учителя?

Ю. С.: Во-первых – Исаак Яковлевич Иткинд. Он попал в Казахстан в результате репрессий тридцать седьмого года. Работал в очень своеобразной манере, так что напрямую учиться у него скульптуре было невозможно. Но из общения с ним я вынесла что-то более важное.

Знаете, есть в еврейской традиции выражение «поливать на руки праведнику», причем слово «праведник» означает примерно то же, что слово «святой» в русском языке. Если человек не просто слушал беседы или проповеди святого старца, а жил возле него, наблюдал его ежедневный быт, все то, что обычно не видят другие, это редкое счастье. И мне вот так повезло: три года с двадцати двух до двадцати пяти лет я часто бывала в его мастерской – небольшом сарайчике, слепленном из кусков жести, фанеры и прочего хлама. Уже не помню, что я там делала, но на руки ему поливала, это точно. Тогда и усвоила какие-то, может быть, самые основные вещи – как относиться к инструменту, материалу, натуре, коллегам, похвалам, критике, к пище, к тому, сохранятся твои работы или пропадут совсем, к своему материальному положению... словом, что важно, что не очень, а что совсем не важно в жизни.

**М. П.:** Можете привести пример?

Ю. С.: Если законченную в дереве работу у него не покупали и он не мог ее кому-то подарить, он на завтра же просто выбрасывал ее в снег под окном, освобождая место для следующей. И валялись там пять-шесть скульптур, они чернели, трескались, а он спокойно делал новую, а когда через пару лет пришли представители художественного фонда (или музея?) и всё купили, он только плечами пожал: «Сумасшедшие». Полное безденежье переносил как плохую погоду – ну, дождь, снег, нельзя из дому выйти – что поделать? Ел какую-то

---

\* Из готовящегося к изданию альбома Юлии Сегаль. Со скульптором беседует Михаил Польский. Публикуется в сокращении.

бурду из разбавленных водою рыбных консервов и был счастлив. Никогда я не видела его раздраженным. Если были у него стамеска, молоток и кусок дерева, работал, напевая, и тихо светился радостью.

**М. П.:** *И что, вы научились так жить?*

Ю. С.: *Что вы, это недоступно простому человеку. Но ориентир остался, идеал, это тоже немало.*

**М. П.:** *А у кого вы учились в Суриковском?*

Ю. С.: *В институте преподавали мэтры советской скульптуры: Лев Кербель – на первых курсах и Михаил Бабурин – на последних. Но мне кажется, что студенты в основном учились друг у друга, бегали в мастерские старшекурсников, там были свои кумиры.*

**М. П.:** *У вас был свой кумир?*

Ю. С.: *Да, можно и так сказать. Меня тогда очень интересовали работы Анатолия Машарова, ныне известного московского скульптора. Особенно завораживало доведённое до ощущения физической плотности время. По сравнению с его скульптурами все другие казались мне однодневками. Кстати, именно он, может, сам того не заметив, подсказал мне путь, по которому я шла всю оставшуюся жизнь. Однажды в мастерской он, указав на противоположную стену, где было только небольшое окно, батарея центрального отопления и моток проволоки, висящий на гвозде, сказал: «Вот – готовый рельеф». И у меня будто пелена с глаз упала, я стала просто видеть. Вот стена дома, к ней приставлен велосипед – ведь это рельеф! Вот улица, реклама, фонарь, водосточная труба, скамейка в парке, интерьер с диваном и телевизором, всё – скульптура. Что я и делала с переменным успехом всю жизнь. У моего любимого поэта Беллы Ахмадулиной есть строки: «Уверенный, что мной уже любим, / бубнит и клянчит голосок предмета, / его душа желает быть воспета, / и непременно голосом моим...»*

*А в чисто профессиональном плане мне много дала дружба с московским скульптором Маратом Бабиным. Он был скорее не учитель, а критик. У него был не глаз, а какой-то рентгеновский аппарат. Когда Марат разглядывает то, что у тебя получилось, он как будто читает все мысли, которые полусознанно мелькали в твоей голове во время работы. Высказывался всегда очень кратко, бескомпромиссно и очень образно. Его мнение было для меня важнее любого художества.*

**М. П.:** *Вы никогда не хотели найти группу единомышленников, присоединиться к ней?*

Ю. С.: *Знаете, никто не звал. Да и к лучшему – любая группа считает себя элитой, и зачастую ею и является, как «воры в законе» на фоне остальных воров, и чужаков к себе не подпускает. Помните, в «Евгении Онегине»? «И молча обмененный взор ему был общий приговор».*

*Мне кажется, группа хороша в коммерческих целях. «Лианозовцы», допустим, или «Митьки» – это реклама, бренд, как сейчас говорят. А ведь художник в группе всегда или почти всегда – жертва: надо ходить строем.*

**М. П.: Но вы встречали художников, близких вам по духу?**

Ю. С.: Работы, близкие мне по духу, делал отец моей дочери, Кирилл Рождественский. Марат Бабин даже настаивал, чтобы мы устроили совместную выставку. Говорил: «У вас не поймешь, где рельеф, где фотография». Но Кирилл наотрез отказывался выставляться в Москве и вообще в России. Его работы слишком не соответствовали принятым тогда стандартам. А когда они оказались на Западе, в Америке, то разошлись по серьезным коллекциям, есть они и в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Еще близкие мне по духу работы делает молодой израильский художник, который живет сейчас в Москве, Хаим Сокол. Я очень рада его успехам и очень в него верю.

Неожиданным подарком для меня была встреча с искусством прекрасного венгерского скульптора Эльжбет Шаар. Между нами действительно есть переключка. Но мои работы больше погружены в детали реального быта, а её – отрываются от быта и (в лучших вариантах) становятся чистой поэзией. Жаль, что я узнала о ней слишком поздно, быть может, работала бы смелее.

Есть еще удивительное совпадение. Мне несколько раз говорили, что мои работы напоминают скульптуры американца Джорджа Сигала. И когда я, наконец, добралась до книжек о нем, то убедилась, что действительно есть много похожих сюжетов. Мы, конечно, совершенно разные художники, и по стилю, и по масштабу, но когда я увидела фотографии его «Человека в будке телефона-автомата», то не знала, плакать или смеяться: это была моя многолетняя неосуществлённая мечта. Я ведь тоже люблю именно гипс и переводила работы в бронзу только по требованию галерейщиков. Мне страшно хотелось сделать именно гипсовую хрупкую фигуру натурального размера в железной грубой кабине телефона-автомата. В Москве это было совершенно невозможно, а жаль.

**М. П.: А какие у вас предпочтения в мировом искусстве?**

Ю. С.: О, я очень многое люблю. Портреты Эль Греко, Фаум, рисунки Джакомо Тинтоレッто, Ван Гог (весь!), есть любимые вещи и в китайской старой скульптуре, и в африканской, и в мексиканской, и в древнеегипетской. Вот недавно просто влюбилась в японского художника XVI века по имени Тохакү. Роскошный мастер традиционной техники, он в конце жизни «впал, как в ересь, в неслыханную простоту», и последние его ширмы не написаны, а прямо «надышаны» на холст с такой нежностью, какую я видела только в сценах Вечности из фильма Норштейна «Сказка Сказок».

**М. П.: Как вы чувствуете себя в Израиле, как на вас сказалась такая резкая перемена окружающей среды?**

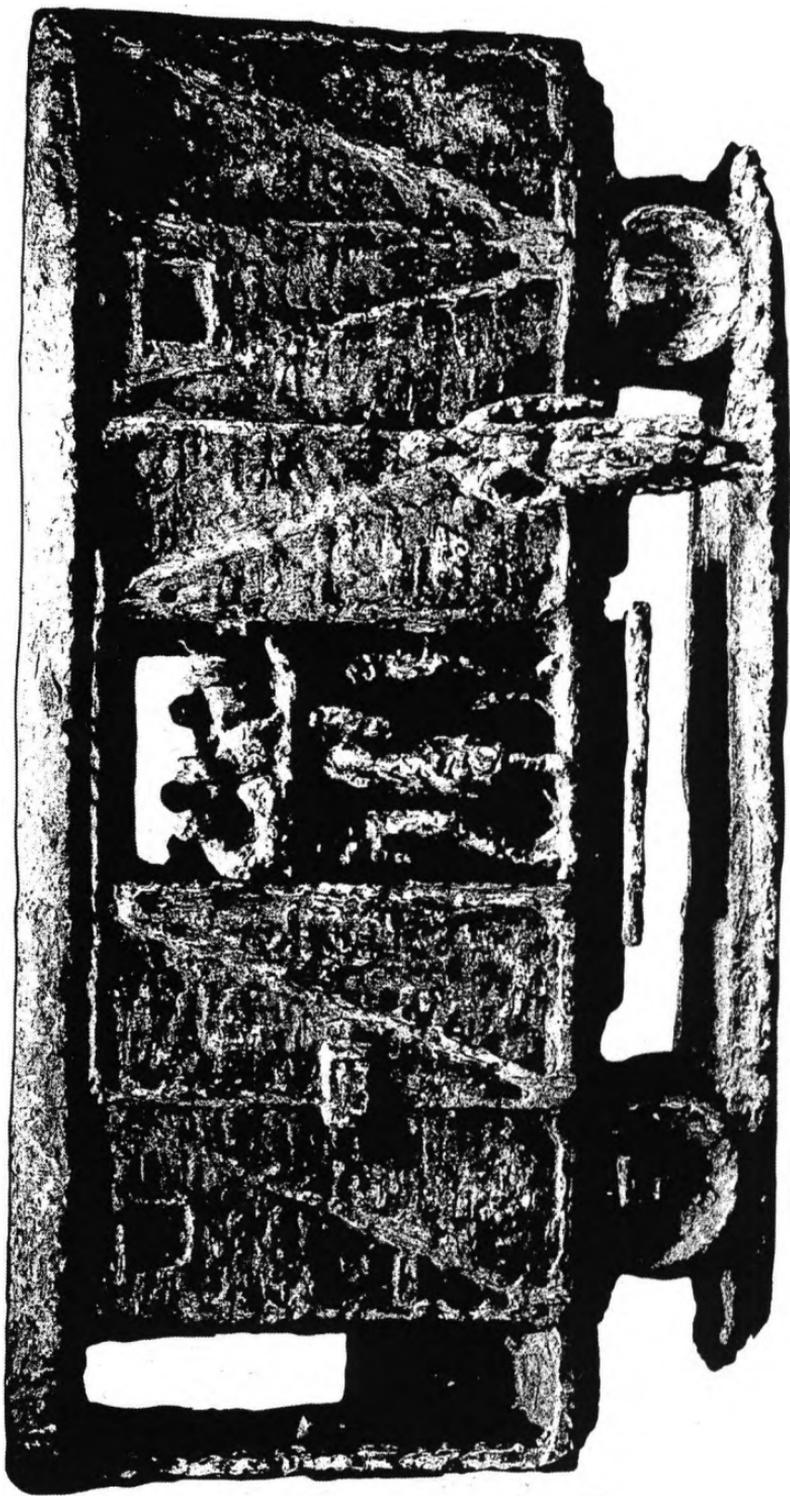
Ю. С.: Ну, в России, в Москве в частности, сейчас тоже не та среда, что была в 70–80-е годы, когда я там жила и работала.

А здесь? Что сказать? Знаете, в Библии есть эпизод, когда пророк спрашивает у женщины, желая отблагодарить ее за помощь: «Что сделать для тебя, я ведь вхож к царю?», и она отвечает, так просто: «Среди своего народа живу я».

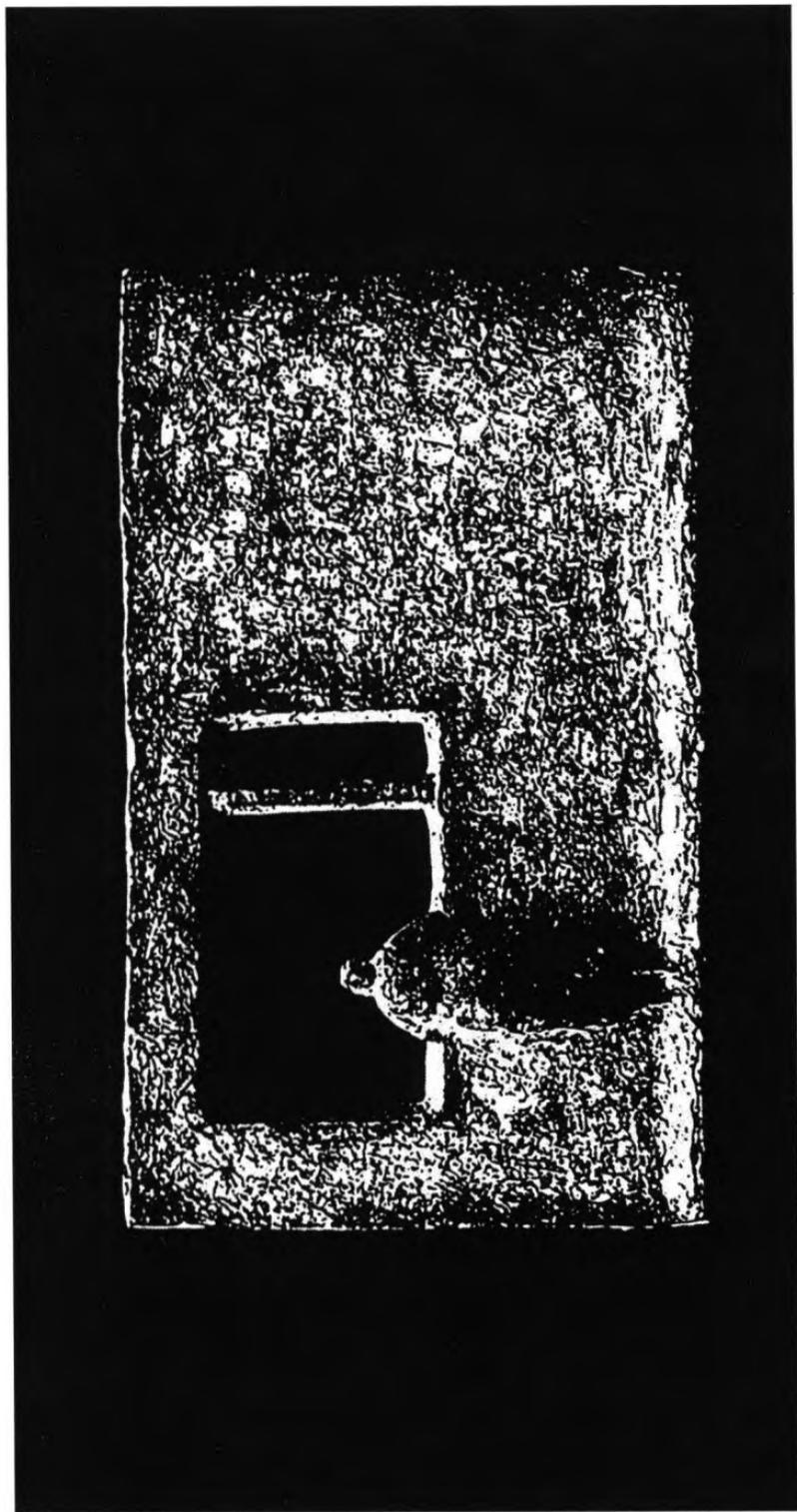
*Юлия Сегаль*  
*СКУЛЬПТУРЫ РАЗНЫХ ЛЕТ*



Моя молодая мама (гипс), Русский музей



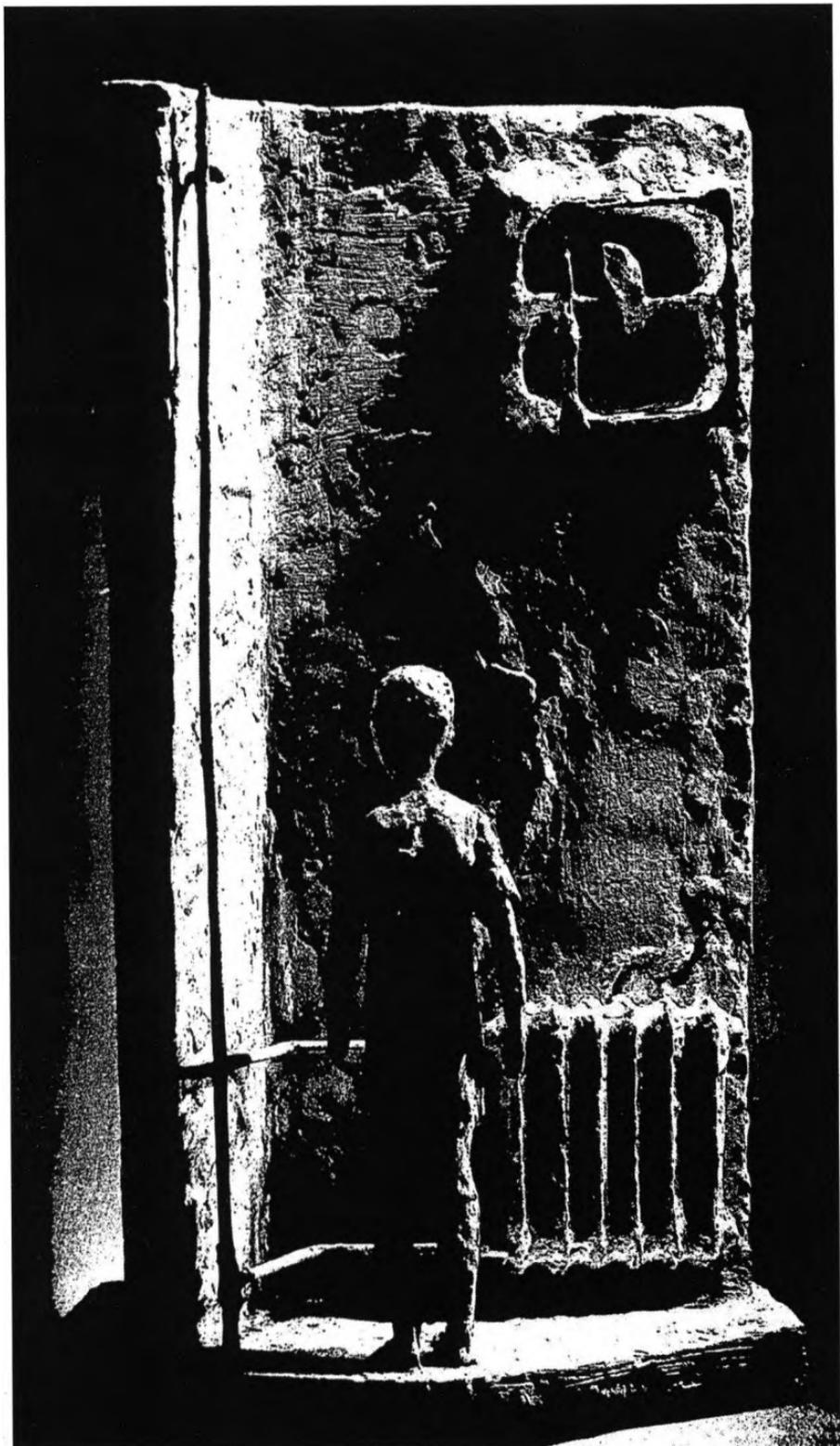
Фронтальная теплушка (бронза), Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации



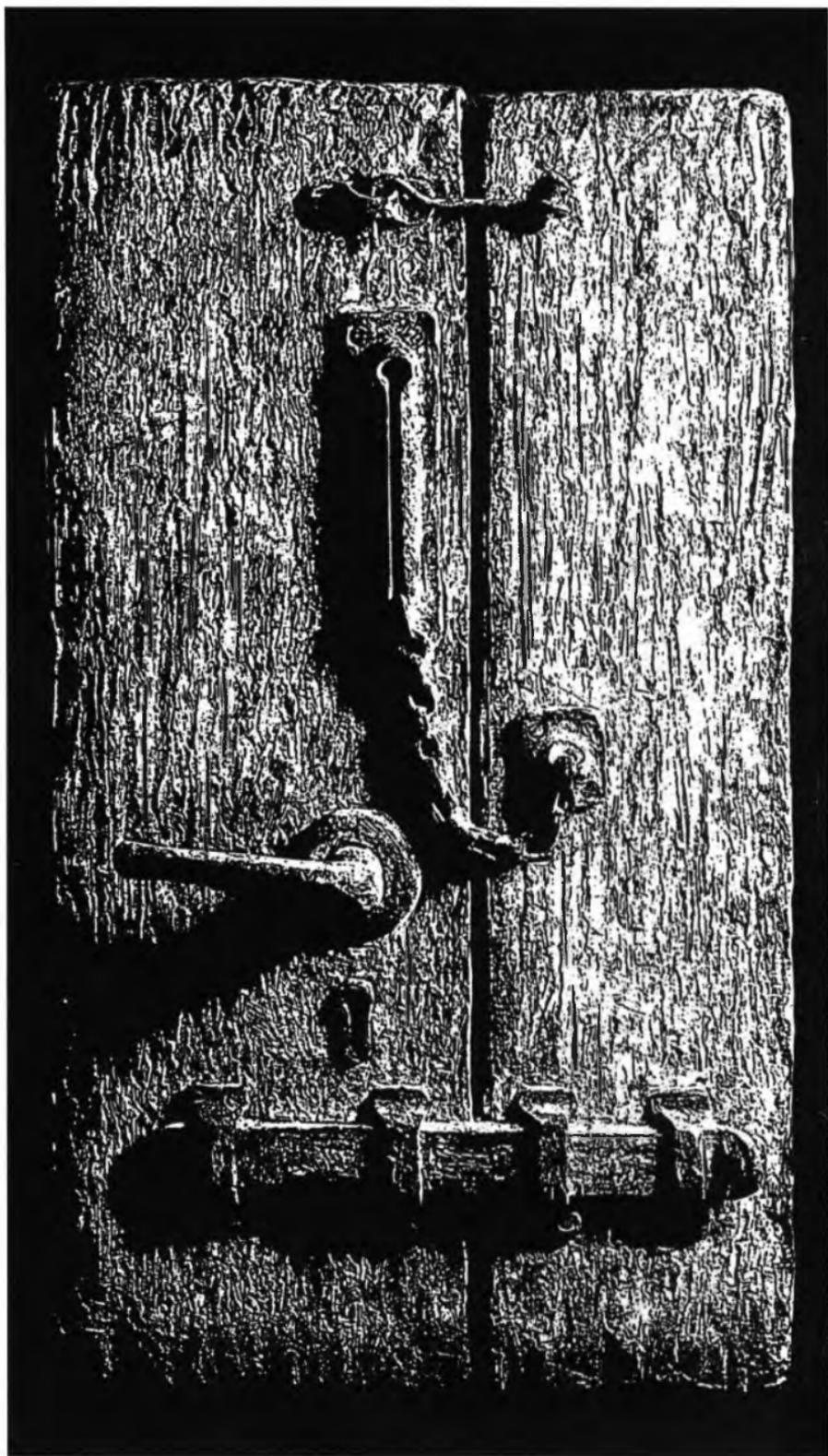
Женщина у окна (бетон)



1941, Сводка Совинформбюро (алюминий), Третьяковская галерея



Птица в клетке (гипс), Третьяковская галерея



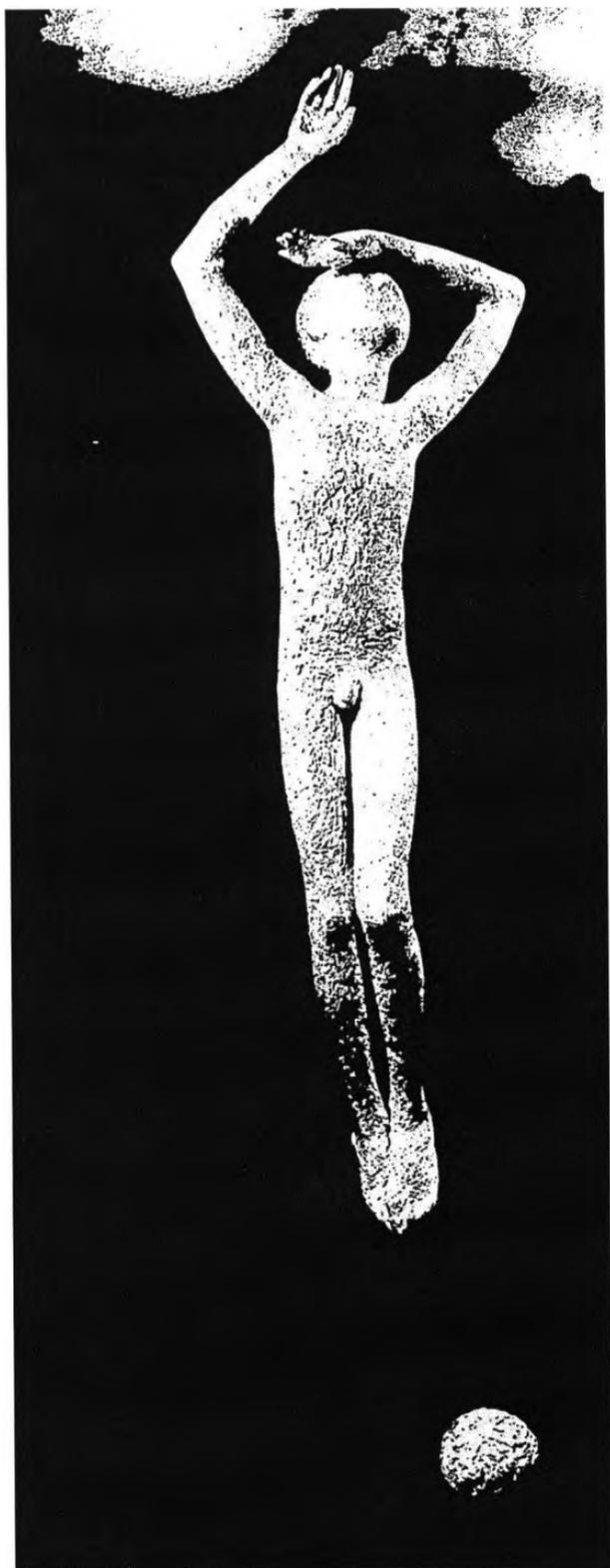
Дверь, закрытая изнутри (гипс)



Дверь, закрытая снаружи (гипс)



Женщина и телевизор (бронза), Русский музей



Мальчик, летающий во сне (алюминий), Музей Гагарина в Гжатске

*Юлия Сегаль*  
**РАССКАЗЫ ОБ ОТЦЕ**

**ПРАВДА, ОНА ГЛАЗА КОЛЕТ**

В тот день Павлик не пришел вовремя с работы. Это был плохой знак, Нюрка это понимала. И все понимали. Поэтому, когда она постучалась к нам и сказала маме: «Вы уж не запирайте нынче дверь, Геня Наумовна», мама ответила: «Конечно, конечно, Нюра», – и не заперла. А обычно мы закрывали дверь на ключ, на щеколду, на цепочку и ещё на маленький крючок сверху, потому что мало ли что. А Павлик был Нюркин муж, он был большой и очень сильный, и Нюрка говорила, что он золотой мужик. Потому что он отдавал ей всю получку. Не как другие.

– Так уж и всю? – прищуривался на нее наш папа. – На что же он пьёт?

– Так спи...дил чего-то и продал, – отвечала Нюрка.

Тут мама сделала нам страшные глаза, что означало, что повторять этого ни в коем случае нельзя. Как будто мы сами не знали.

А Нюрка продолжала важно:

– Это святое!

– Что святое?! – поразился папа.

– Ну, сам добыл и выпил. Право имеет.

Павлик работал на кирпичном заводе. Что можно спи...дить на кирпичном заводе? Кирпичи?

– Вы имеете в виду украд? – уточнял папа.

– Ну уж, укра-ал, – возражала Нюрка. – Лежало плохо, он и взял. А чего? Все тащат, а он что? Хуже людей?

И мама опять на нас строго посмотрела. А мы и это уже знали, плохо лежать не должно. А «лежит хорошо» – это когда мама идёт на базар, она кладет деньги в кошелёк, кошелёк в сумочку, а сумочку надевает через плечо и прижимает к боку локтем.

А папа посмотрел на маму, на нас, побарабанил пальцами по столу и пробормотал:

– Хуже людей, хуже людей, мда-а...

А «золотой мужик» раза два в месяц Нюрку гонял за то, что она сделала аборт. А она не виновата, потому что Этасволочь (мать Павлика) выгнала их из дому. А там был не только дом, но ещё сад: три больших дерева – две яблони и абрикосина. И они варили варенье, а яблоки сносили в подпол, и их хватало до Пасхи, а Этасволочь их выгнала, а Нюрка была на пятом месяце. Аборт был незаконный, и больничного не дали, и Нюрка сразу вышла на работу (она тоже работала на кирпичном) и надорвалась, и с тех пор у неё из живота шла кровь, и она вязала из всякого старья коврики и продавала на барахолке. Ей как инвалиду дали комнату в нашем бараке, самую маленькую, у входа в коридор. А нам дали квартиру профессора Штесса, который умер. И там было две комнаты – одна маленькая и одна большая, где было аж два окна. И была эта квартира угловая, в самом конце коридора, поэтому Нюрка, если что, бежала к нам.

И всегда было одно и то же.

Сначала она подавала ему обед. И он ел один. Потом говорил: ну, давай спать, и ложился один на кровать. А Нюрка раздевалась, будто тоже будет спать, и устраивалась на сундучке, что возле двери. Потом он говорил: эх, Нью-ю-ю-ра, что же это ты со мной сделала, у меня бы был сейчас в-о-о-т такой сыночек. И плакал. Потом говорил уже громче: за что же ты тако-о-о-е сделала со мной? А? Ссука! Я же тебя у-у-у-убью!! И тут Нюрка быстро соскакивала с сундучка и – в дверь! А он хватал что-нибудь и с криком «у-у-у-убью!» швырял ей вслед. Однажды это был уют, ещё с горячим углем внутри, и чуть не сделался пожар, а один раз он бросил мясорубку, и она не попала в Нюрку, а попала в нашу стенку у двери, а если бы не промахнулся, правда мог её убить. Поэтому мама караулила у двери и, как только Нюрка влетела, сразу заперла на задвижку, это было быстрее всего. И только потом на ключ, на цепочку и на крючок. А Павлик колотил в двери и кричал: «Выйди, выйди, сука». Он был очень сильный, и все боялись, что он сорвет дверь с петель. А Нюрка лежала под кроватью у бабушки, в самой глубине, и бабушка спустила с кровати одеяло, чтоб не было видно Нюрки. А дверь ходила ходуном, и было очень страшно. Тогда папа открыл все замки и встал прямо перед Павликом. Мама потом говорила бабушке: «Роня стоял перед ним, прямо как Петушок перед Полканом». А папа закричал тонким голосом (когда он волновался, он всегда кричал тонким голосом): «Эт-т-то ещё что такое? В тюрьму захотел?! Э-т-то знаешь, какая статья? По-ку-ше-ни-е на у-бий-ство! Знаешь, что за это бывает? За-са-жу! При отягчающих! Понял, Павел Николаевич? Я ж тебя в тюрьму засажу!»

А мой папа был прокурор. И вполне мог Павлика посадить. И тот тоже это хорошо знал. Но он был на целую голову выше папы и возражал ему угрожающе: «И в тюрьме люди живут!» Это означало, что он сейчас здесь всех поубивает, а сам в тюрьме спокойно будет жить. А папа с горечью уговаривал: «Там не живут, Павел Николаевич, а *вы-жи-ва-ют*, и поверьте, с большим трудом. А ваша Нюра на виновата, Павел, она – *нес-част-ная* женщина (у папы все делились на «несчастных» и «негодяев», которые в «особо крупных» и «при отягчающих»). Так ты не доводи до греха, Павел, а иди. Иди домой», – и показывал протянутой рукой, как Ленин в сквере перед городским театром, куда именно должен пойти Павлик. И тот, вздохнув, разворачивался и медленно шел к себе. Там садился у дверей, брал свой аккордеон (у него был роскошный немецкий аккордеон трофейный, который он выменял на барахолке за материнскую перину, может, за это она их и выгнала?) и начинал играть. Он играл долго и громко, хотя наша мама, которая ещё до папы два года училась в консерватории, говорила, что у него хороший слух. А Павлик плакал и приговаривал: «Ба-а-а-бы-ы-ы, су-у-у-ук-и-и», и все уже давно хотели есть, и папа говорил: «Ну что ж, пора ужинать, – и, наклонясь под кровать: – Нюра, ну как вы?», и та отказывалась: «Кушайте, кушайте, я ещё тут полежу, я ела, ела», и мама ставила на стол наш чёрный горшочек с вареной картошкой и наливала нам в тарелки немножко постного масла. И мы с удовольствием ели ужин, только не-

удобно было, что вот мы едим, а человек, можно сказать, гость, лежит под кроватью. И папа говорил: «Нюра, ну хоть чаю попейте, видите – уже тихо, Павел, наверное, уже уснул», и Нюрка, прямо в ночной мятой рубашке, шла к столу. «Вот, – показывал папа на рукомошник, – можете здесь умыться». «Да ладно, чего там», – отмахивалась та и, обтерев руки о собственный зад, садилась за стол. И мама наливала всем чай. А чаем у нас назывался просто кипяток, а чай, который для заварки, папа выменивал на рынке на что-нибудь полезное – например, на ватную подушку бабушке, а однажды принес кусок сала, и мы потом несколько дней ели картошку, заправленную салом, это было объедение.

И вот мама дала Нюрке чаю и положила два кусочка сахара (как нам, когда мы болели), а всем по одному. Потому что Нюрка была гость. И та громко размешивала ложечкой свой «чай», рассказывала новости: «Этасволочь хახеля завела. Армян. Моложе её. Зачем она ему? Вот придушит её и дом заберет, и сад. Хитрый, как еврей какой-нибудь». Папа откашлялся: «При чем тут еврей?» А Нюрка: «А чего, они же хитрые. И жадные. И деньги любят. И золото по углам всё прячут, прячут...» Папа внимательно на неё посмотрел и спрашивает: «Вы что, Нюра, серьезно?» – «А чего? Народ так говорит, знают люди».

Тут мы с сестрой быстро переглянулись: мы знали, что это правда. У нас действительно было золото. И оно лежало именно в углу, на нижней полке шкафа, под старыми вещами, которые ещё можно починить. Это был корпус от часов папиного деда, который мельник. Мы его берегли как зеницу ока и, как бы ни было трудно, не продавали, потому что может быть ещё хуже. И кто знает – может, это золото ещё спасет чью-то жизнь? Мы все помнили, как дядя Шура спас свою жену Туню, выкупив её у немца за золотые часы. И когда нам с сестрой приходилось вечером, в темноте, возвращаться домой от Гершановых, которые жили на окраине города и куда мы ходили кормить нашу общую с Гершановыми козу, я всегда думала: вот если на нас нападут бандиты, я скажу: «Дяденьки, не убивайте нас, вам за нас мама даст золото, которое у нас в углу, в шкафу», и так мы спасемся. Мы никому об этих часах не говорили, и вот, оказывается, все знали, даже Нюрка.

А папа спрашивал:

– Ну, и что же ещё они знают, ваши люди?

Нюрка разоткровенничалась, ободрённая сладким чаем:

– А ещё в больницах людей травят. Они ведь все доктора, еврей-то. Как попал человек в больницу – всё, точно помрет! Затравят его холерой какой-нибудь!

– Холерой?

– Холерой, – уверенно говорит Нюрка.

Тут папа потерял терпение.

– Послушайте, Нюра, вы ведь не понимаете, что говорите. У нас, в нашей стране, по крайней мере, холера побеждена. Понимаете? По-беж-де-на! И сделано это не без помощи евреев. Вот! – и папа ленинским жестом показал на стену напротив: – Полюбуйтесь!

Там, на стене возле засиженной мухами вырезки из «Огонька» – картины художника Перова «Тройка» («несчастливые дети!»),

висела фотография, где в центре группы грудастых медсестер в белых халатах темнела фигурка худенького доктора в очках. На него-то и показывал папа.

– Вот! Доктор Хавкин. Еврей, между прочим. Он придумал вакцину против холеры. Это было ещё в начале века, он поехал даже в Индию! Там была в это время эпидемия холеры! Вы знаете, что такое эпидемия? Умирали тысячи – понимаете, ты-ся-чи! – людей, и он стал делать прививки. А чтоб люди не боялись, он делал уколы себе! Понимаете, как пример! И спас массу людей! И потом в России тоже была эпидемия, и он опять делал уколы себе, чтобы убедить людей, что это не опасно. И вот представьте себе – он умер от этого, от этих бесконечных уколов.

Папа волновался. Доктор Хавкин был наша гордость, он был наш родственник. То есть не совсем наш. Он был родственник первого бабушкиного мужа, который утонул. То ли это был его брат, то ли муж сестры, но неважно.

И папа так волновался, что даже глаза у него блестели от слёз.

– Понимаете, Нюра, он жизнью пожертвовал ради людей!

Нюрка помолчала, покивала серьёзно головой и сказала:

– Бог наказал.

– Кого?!

– Да доктора вашего, вот этого, – и кивнула на фотографию.

– За что?

– Ну как же? Сколько людей заморил, сами говорили – тысячи, тысячи... Уколы делал...

Папа растерялся.

– Вы... Вы... Нюра... У вас что-то с русским языком... Вы ведь учились, а? Учились где-то?

– Семилетку закончила, – гордо сказала Нюрка.

– Вот! – папа обернулся к маме, показав обеими руками на Нюрку. – Вот, человек окончил семилетку!

Мама опустила глаза. Как учительница химии и биологии, она чувствовала себя ответственной за уровень народного образования в советской школе.

– Семилетку? – повторил папа. И опять откашлялся. Так он делал, когда старался не рассердиться, если бывал нами недоволен. – Вот что, Нюра, вам надо книжки читать. Так, для общего развития, понимаете? А то вы как-то... Я понимаю, у вас книжек нет. И в библиотеку вы, конечно, не пойдёте... Но хотите, берите у нас по одной – и он указал на этажерку, где у нас стояли с десятком книг – Горький, Чехов, Короленко, Лермонтов и сказки Бажова.

– Ещё чего! – презрительно сказала Нюрка. – Книжки читать – ума занимать! Своего нет, не займешь!

– О! – сказал папа. – Вот это верно! – и громко положил ладони на стол. – Вот что. Там у вас уже тихо – а нам детей укладывать надо. Поздно уже.

Нюрка встала, не допив чай.

– Спасибо вам, конечно, я понимаю, детей... да и тихо уже. Пойду я, – и ушла.

Мы с сестрой переглянулись. Кого это надо укладывать? Нас давно никто не укладывал. Нам надо ещё со стола убрать, посуду

помыть, потом ноги мыть в тазике, потом раскладушку вытащить из-под мамы-с-папиной кровати. (Эта раскладушка была такая штука из брезента, натянутого на деревянные козлы. Мы спали на ней с сестрой «валетом», хотя мне уже было восемь, а ей десять лет, и проваливались в серединку, и было жарко, и мы долго пихались ногами и коленками, пока не заснем.)

И мы всё убрали, и помыли, и улеглись, а папа всё ходил из угла в угол, а мама тихо говорила:

– Ронюшка, я не думаю, что из школьного курса она помнит, что такое «вакцина».

А на другой день, пока возилась с примусом, я слышала, как Нюрка говорила соседке тете Наташе, у которой были ужасно толстые ноги, прямо как столбы, даже не видно тапок («несчастливая женщина»): «Прокурор-то, вишь, обиделся на меня, небось и пускать теперь не будет, ежели чего...» – «Да ладно тебе, прокурор – мужчина сердитый, но отходчивый. А на что обиделся-то?» – спросила тётя Наташа. – «Правду сказала ему, что евреи жадные и хитрые и людей холерой травят. Так он даже чая не дал допить. Я не просила, сами налили. И чего обижаться? Разве на правду обижаются?»

Тётя Наташа подумала и веско сказала:

– Правда, она глаза колет.

## ПАПА И БАРЕНБОЙМ

*Цэдэк цэдэк тирдоф...<sup>1</sup>*

Вообще-то, для всех он был Григорий Михайлович Баринов, и только мы знали, что на самом деле он Гирш Хаимович Баренбойм. И он пришел к нам на Новый год. И не успел сказать «здравствуйте», как папа начал с ним ссориться: «Ну, Баренбойм, а скажите-ка мне, что это вы якшаетесь с этим Лившицем?»

Так начался этот праздник, окончившийся большим скандалом, после которого мы несколько лет не видели дядю Гришу. А ведь он был наш самый-самый, хотя по-настоящему он не был наш родственник, а был муж любимой маминой подруги. Они работали с мамой в одной школе, и мама говорила, что это была Василиса Прекрасная. У неё была длинная русая коса (мама показывала аж до попки) и ямочки на щеках, а сама веселая и добрая, и звали её Вая, но чтоб не было похоже на мальчика, говорили Васёна. А фамилию свою она не любила – Тёлушкина, но менять на Баренбойм ни за что не хотела. «Не хочу, – говорила, – чтоб дети были Баренбоймы», – и всё.

Они были свидетелями на папы-с-маминой свадьбе, а через неделю сами расписались. И у них тоже были две девочки – чёрненькие, кудрявые, но с голубыми глазками. Им было тоже три и

<sup>1</sup> Цэдэк цэдэк тирдоф... (*библейский иврит*) – К справедливости, к справедливости стремись... Книга *Дварим* [Второзаконие], 16, 19.

пять лет, когда началась война. А дядя Гриша в начале лета сам отвез их в Белоруссию, к своей маме, в деревню. Там вообще жила вся его родня, куча народу. Мама говорила бабушке: «Своими руками отдал волку в пасть».

И когда их всех повели в овраг, там был ещё русский мальчик (случайно пошёл с другом посмотреть, что будет), и евреи стали говорить: «Отпустите его, это русский, русский», и немец сказал ему: «Уходи», а он стал тянуть Васёну за руку: «Тётъ-Васёна, пойдем, ты же русская», а она (так он сам потом рассказывал Грише), ударила его сильно по руке и сказала: «Отстань, глупый». Когда мама с бабушкой об этом говорили, они так горестно кивали друг другу головами: «Ну как бы она ушла, а дети? Разве от детей уйдешь...»

А сам дядя Гриша вернулся с войны без ноги, то есть сама нога была, но только до пониже-коленки, а потом был протез, английский. Мама с бабушкой очень дядю Гришу любили и жалели. Папа тоже его жалел: «Конечно, он несчастный человек, но чего он полез в эту банду подлецов?» Он считал всех адвокатов подлецами: «Они мать родную продадут, им лишь бы деньги», а особенно он не любил, если адвокат был еврей. Тогда он говорил: «Двойной подлец». А дядю Гришу звал только по фамилии: Баренбойм, и всё. А мама, которая никогда не возражала папе, говорила: «Не трогай его, Роня, он не к тебе приходит, а ко мне, и главное – к детям, неужели ты не понимаешь?» А тут дядя Гриша пришел, и, как всегда, поцеловал маме руку, и стал вынимать из портфеля вино и конфеты. У нас даже дух захватило. А папа сказал:

– Я много раз просил вас, Баренбойм, не баловать детей дорогими конфетами. Я не желаю, чтобы в них развивалась зависть. Они не должны видеть то, что им недоступно.

– Да всё они видят, Арон Яковлевич, не обольщайтесь...

– А вы мне зубы не заговаривайте, Баренбойм. Отвечайте лучше – чего вы якшаетесь с этим, с позволения сказать, Лившицем? Я лично видел вас на лестнице не без приятности беседующим с ним. И это после того, что он сделал? А? Ведь вы знаете, что он сделал, а?

– Я на самом процессе не был...

– Ах, вы не были, Баренбойм, так я вам расскажу...

И он начал рассказывать то, что мы всё уже знали. Папа всегда всё-всё рассказывал маме, ища у неё поддержки и сочувствия, а раз мы жили в одной комнате, то и мы всё знали.

А я давно ждала, когда взрослые будут разговаривать о чём-нибудь серьёзном, а я залезу под стол и посмотрю, что это – протез? И залезла под стол, прямо рядом с дядь-Гришиным стулом. И стала тихонько трогать его ногу через брючину, и было непонятно, то очень твердо что-то, будто железо, то совсем ничего, как дыра.

А сверху доносилось:

– ...хищник... в архикрупных... под личиной передовика... герой соцтруда, представьте себе...

Я тихо-тихо приподняла брючину, и там... был... ужас... там был ремень, под коленкой, и культия, такая неровная, розовая, даже немножко красная, и железные, блестящие, как серебряные, штуки донизу. А кончались они деревянной ступнёй в коричневом

носке и черном ботинке, а между ботинком и культей пу-сто-та. Это было так страшно, я подумала, что, наверно, сейчас умру.

А наверху говорили:

– ...я был там... специально... со следователем... поймите, Баренбойм, они же все в рабстве у него... рабы, нищие рабы... никто пикнуть... а дом? Это не дом, а дворец, пять комнат!.. были сигналы... мы год копали... Курмангалиев... казах, умница... такой толковый... разобрался... тонну бумаг... и вот на процессе твой Лифшиц при всем честном народе за-ре-зал главного свидетеля...

Я всё это уже знала и тихонько из-под стола залезла на здоровую дядь-Гришину коленку. Он меня обнял и наклонился ко мне. А я ему, закрывшись ладошкой, прошептала прямо в ухо: «Дядь-Гриш, а тебе не больно?»

А он так же в ухо мне шепнул: «Когда устаю», а я спросила: «А сейчас ты устал?» А он: «Немножко», и мне было ужасно его жалко, что у него вместо мясной ноги – дырка. И я погладила его по лицу. И он прижал щекой мою ладошку к своему плечу...

А папа говорил:

– ...подумать только, ведь все боялись... никто не верил, что мы докажем, а этот... бывший фронтовик... собственными глазами... те ящики, что опознаны в Красноярске... всё чисто, ясно как на ладони... поймали на горячем... а этот Лившиц...

А дальше я стала слушать, потому что мне очень нравилось, как папа изображает Лившица – он вдруг скривил лицо и сказал сладким голосом:

– А скажите, будьте так добры, в котором часу это было?

– В полдень.

– Ровно в полдень? Вы на часы смотрели?

Ну не подлец? Какие у мужика часы? У него хлеб на столе не всегда, а тут – часы!! Ну, этот замешкался немного и говорит:

– Нет у меня часов, но я и так знаю.

– По чему определяете? – кривлялся папа.

– По небу, – отвечает, – по солнцу...

– Ах, по солнцу? А если туцька какая-то? Ну вот скажите, который сейчас час? Взгляните в окно, ну? Только помните, за дацу лозных показаний *у-го-лов-ная от-вец-вен-носць!*

Я – судьё – протест: угрожает свидетелю! А тот лениво так: «Имеет право предупредить свидетеля», – и отклонил. А Николаев растерялся, не был к этому готов. Так говорит неуверенно:

– Начало третьего.

– А сколько, сколько минут?

Тот плечами пожал:

– Минут пятнадцать-двадцать...

И тут Лившиц запрыгал, и руку с часами показывает – судьё, и нам, и всему залу: двенадцать минут! И пошёл – плюс-минус восемь минут, это уже шестнадцать минут... приблизительно... не доказано... а поезд уходит тогда-то, а до МТС столько-то... а там его уже видели тогда-то... не доказано!

Николаев мой посмотрел на меня и руками развел: я ж, мол, вам говорил, выкрутится он, вот он и вылез сухим из воды. Он по-

том, когда прощались, мне сказал: «Простите меня, товарищ прокурор, из окна смотрел, там деревья эти... а ведь он меня теперь живьём съест». И рукой махнул.

И папа сокрушённо махнул рукой, сел за стол и вдруг, взяв со стола бутылку с праздничным вином, налил себе в стакан и резко выпил. Мама даже ахнула, но промолчала. А папа сидел, сжав свою большую, прекрасную голову маленькими веснушчатými кулаками и бессильно стонал. И все долго молчали.

А мама подошла и включила радио. И там уже играли гимн, значит, Новый год уже начался, а самое моё любимое – там, где бой часов и слышно, как машины едут по Красной площади и гудят, – пропустили. А мы в киножурнале видели, как там снег идёт, и машины едут, и Кремль, и мавзолей, и куранты: бом... бом...

Мама тихо спросила:

– Ну что, отметим Новый год?

Папа поднял голову:

– Подожди. Вот я *тебя* хочу спросить, Баренбойм. Вот я руки ему не подам. Никогда. А ты – общаешься с ним. Кто из нас прав? Мне говорят – это ребячество, это что-то из девятнадцатого века, а ты что думаешь? – папа смотрел так строго, прищурившись и сжав губы: – Ну?

Дядя Гриша вздохнул. И начал так мягко и тихо, как взрослые говорили с нами, когда мы болели:

– Видите ли, Арон Яковлевич. Современный суд не ставит перед собой задачу найти истину.

Папа вскинулся:

– Вот как?!

– Да, – сказал дядя Гриша. – Истина – вещь многоликая и трудно уловимая. Есть масса оттенков... Современный суд взвешивает доказательства. Соревнование доказательств... Доказал – ты прав. Не доказал – не взыщи. А гоняться за химерой истины – вся игра теряет смысл.

– Как ты сказал? *Игра*?! В игрушки изволите играть, господин адвокат? А судьба людей, которых превратили в рабов, которые... которые... – папа задышался, – если это то, что ты действительно думаешь, тогда... тогда... – папа выпрямился и сказал хрипло: – Тогда позвольте вам выйти вон!

Дядя Гриша побледнел и тоже встал.

– Простите, не понял....

И папа прошипел ему в лицо:

– По-ш-ш-ш-ел *вон*!

Все остолбенели.

Я только слышала, как громко-громко бьётся мое сердце – в груди, в горле, в ушах, мне казалось, вся комната наполнилась этим стуком. И в этой ужасной тишине дядя Гриша медленно вышел из-за стола и, почти не хромая, пошел к двери и стал надевать пальто. Помню его непривычно прямую спину.

А папа тихо и внятно сказал:

– Потому что если всё это только игра и нет истины, нет справедливости, то *теряет смысл моя жизнь*.

## КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ

Мальчика убили. Ну, почти в нашем доме, то есть в нашем дворе, только наш дом 71 корпус А, а его корпус Б. Он на отчима обиделся за то, что тот сказал: «Что ты за мужик, если слова не держишь?» А что было держать? Ну, обещал ему без троек учиться и как назло схватил тройку – говорить смешно – по географии! Это ж не математика, там учить нечего, Волга там или Днепр, да еще при тихой погоде... словом, ерунда. Да и тройка ведь не в четверти, её закрыть – пара пустяков, вот он и ушел из дому, и не хотел, видимо, возвращаться, пока все не лягут, и болтался по улицам. А декабрь. Минус двадцать. Он грелся в подъездах. И старался не в своём дворе, знал, что мать искать будет, а зашёл в первый дом по Чапаева, за школой, серый, трёхэтажка, где «Рыба-мясо». И стоял там у батареи, а эти парни проходили, и кто-то из них споткнулся о его ноги и чуть бутылку не выронил, не разбил. И разозлился: «Чё ты тут околачиваешься, вали отсюда», а тот ему: «Топай давай, не твоё дело». И всё. И в с ё! А они вернулись, и началась драка. И у кого-то из них был нож. Словом – убили его, оттащили до угла и бросили за табачным ларьком.

Папе позвонили рано утром, он ещё брился. Он работал тогда в отделе по надзору за милицией. Нам даже телефон поставили одним во всём доме, потому что даже ночью иногда звонили, если что-то срочное, вызывали, и он ездил разбираться... И вот ему говорят, что будто ночью убийство, а к утру всё раскрыли. «Ого! – удивляется папа, – так уж и раскрыли? И свидетели подтвердили? И подозреваемый сознался? Ну, посмотрим, проверим».

Через несколько дней он пришёл домой в обеденный перерыв, взъерошенный, нервный, потирает красные руки (перчатки забыл в столе на работе), трёт их, трёт, хлопает в ладоши громко, а ещё громче рассказывает маме:

– Чёрт знает что, праздник на носу, Новый год, потом Ленинские дни, все хотят отличиться, эти Курбатову позвонили, похвастались: «Вот, мол, ночью убийство, утром – дело закрыто, красота!» Премию выпросили. Курбатов, не проверив факта, – в горком, те – в обком. Вот, мол, мы ругаем милицию, а они! А там и рады: срочно! суд! Да не просто – а показательный, да не где-нибудь, а в «Серпе и молоте»! Помнишь, какой там зал? Сгонят туда полгорода, ещё бы! Ситуация с молодежной преступностью чудовищная. И надо как-то реагировать, а как? А тут – пожалуйста! Жертва и убийца – погодки, пятнадцать и шестнадцать лет – что делать? Напугать! Максимальным сроком! Было б ему за восемнадцать, потребовали бы вышку. А знаешь, что самое страшное? Это – не он!

Мама ахнула:

– Ты уверен?

Папа махнул рукой и схватил телефон:

– Митяев? Митяев, послушайте, что это у вас за липа? Не могут быть показания свидетелей одинаковыми. Люди все разные. И видят, и понимают то, что видят, по-разному – даже если видят одно и то же. Это аз-бу-ка! Сколько раз это надо повторять! А если по-

казания одинаковы, что это означает? Мы это проходили, да? – *Сговор!* Они сговорились свалить вину на младшего. Уверенные, что ему дадут меньше в случае чего... Околпачили вас, а вы рады и премию просите... позор!

– Роня, не горячись, сядь поешь.

Но он мечется по комнате.

Потом жалобно маме:

– Знаешь, в чём ужас? Они все – *студенты!*

Папа всегда произносил слово «студенты» с придыханием, в его памяти это были идеалисты, бессребреники, все помыслы – об общественном благе, а тут...

– Знаешь, – доверительно шептал он маме, – они, когда водку принесли и помчались разбираться с этим подростком, ножи схватили просто со стола, столовые ножи! И когда они с ним расправились, они ножи эти девочкам отдали, а на одном из них была кровь... человеческая кровь... так девочки (девочки!) эти ножи помыли и обратно на стол положили... Что они потом ими резали? Колбасу? А он в это время умирал там... Как жить после этого? И ведь это студенты... ни одного правонарушения... не понимаю... ничего не понимаю... И тут же договорились подставить младшего, на всякий случай. И его убедили, мол, закон товарищества, что ли. А тут – этот суд! Что за чушь! Нет-нет, я немедленно Курбатову», – и опять за телефон:

– Ну что, пришёл Курбатов? Дайте его! Алексей Петрович, беда! Липа это всё. *Ли-па*. Поторопились ребята. Подставили младшего как убийцу. Он уже неделю твердит: «Да, да, это я убил». Спрашиваю: «Как?», а он через голову замахивается. Партизана играет. Насмотрелся фильмов про войну... Сам погибай, товарища выручай. Алексей Петрович, о суде не может быть и речи, это профанация! Я – категорически... Только – следствие. Я официально написал на ваше имя... Что? Что в обкоме сказали? Прямо так и сказали? Не может быть... настолько серьёзно... ну, не знаю, не знаю... – папа положил трубку и повернулся к нам.

Он был страшно растерян. Тихо проговорил:

– В обкоме сказали Курбатову: сорвешь суд, положишь партбилет.

Ночью я слышала, как он встал, надел сапоги, потом шинель. Мама спросила тихо:

– Роня, ты куда?

Он ответил только:

– Спи.

Пришёл под утро, тихий, спокойный. Я складывала портфель в школу. Он подошёл, погладил по голове. Мы все на него смотрели выжидательно. Без улыбки, но как-то очень мягко сказал:

– Он сознался, – и пояснил: – Я в тюрьме был. Говорил с ним. «Мальчик, – говорю, – ты друзей защищаешь, а ты считаешь, что это друзья? А знаешь, что будет с тобой в колонии? – и сказал ему все, как есть, что с ним там сделают. – А что с твоей мамой будет?» Он заплакал, и я... я, знаешь, тоже... с ним... Вот, – папа вытащил из кармана шинели четверо сложенный тетрадный лист. – Он написал всё, как было. Он стоял в подъезде, его рвало.

Думаю, от ужаса. Кто именно сунул нож – не видел: темно. Но когда тот упал – били ногами... Это подтверждает экспертиза, следы ударов тупым предметом... А в их показаниях этого, конечно, нет... Ну-с. Какой уж тут суд теперь? Доследование, только доследование.

На следующий день папа сказал, что Курбатов почернел, когда увидел показания Табенкина. Только спросил:

– Твоя работа, Арон Яковлевич?

– Моя.

– А чего ж ты так торопился? – чуть не зубами заскрежетал.

– Я подумал, а что будет на суде, да при всём народе, если па-реня *там* сломается и всё это выложит.

Курбатов только крякнул и зло сказал:

– Иди.

Как он потом всё это улаживал с обкомом – неизвестно. Суд отложили. Зато было открытое партийное, по итогам года. Досталось всем. Премии, конечно, не дали. Представитель обкома сту-чал кулаком по трибуне:

– В то время как партия... и весь советский народ... напрягая все силы... преступные элементы... калёным железом... находятся работники юстиции, берущие под защиту уголовников... под лож-ным предлогом якобы поиска справедливости, проявляют буржу-азную мягкотелость и расхлябанность, несовместимую с партий-ной ответственностью... что и вызывает законное возмущение ист-инных поборников социалистического правопорядка и недоуме-ние: как могут такие, с позволения сказать, «юристы» находиться в наших рядах...

Папа всё это нам вечером рассказал. Все молчали.

– Ну, как ты думаешь, Геня, – уволят? А работать кто будет? Митяев?.. Ну как это все называется, как?

Мама тихо сказала:

– Козёл отпущения.

– Какой козёл, при чём тут козёл?

– Не знаю, – ответила мама, – просто так говорят, такая идиома в русском языке.

# ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

---

*Игорь Туберман*

## *И БОГУ ОТСЮДА ТОРАЗДО СЛЫШНЕЙ*

\* \* \*

Не двигается время наше вспять,  
но в некие преклонные года  
к нам молодость является опять  
и врёт, как лихо жили мы тогда.

\* \* \*

Мы содержимся в холе и неге,  
мы хранимы семьёй, как алмаз,  
только мха молодые побеги  
всё равно прорастают из нас.

\* \* \*

Во гневе полезно в себя заглянуть  
и тихо застыть, наблюдая:  
с душевного дна поднимается муть  
и злобно бурчит, оседая.

\* \* \*

Блаженны те, кто, зубы стиснув,  
терпя насмешки и лишения,  
весь век у жизни ищут смысла,  
но у задачи нет решения.

\* \* \*

На мир и на людей мои воззрения  
болтаются, как овощи в борще,  
весьма правдоподобны подозрения,  
что я их не имею вообще.

\* \* \*

Нет, мы у судьбы не слепые рабы,  
устроено так мироздание,  
что если не ждёшь ничего от судьбы,  
она утолит ожидание.

\* \* \*

Прощусь покуда с мыслями угрюмыми  
и стану о былом писать моём:  
былое, разукрашенное думами,  
роскошным выливается враньём.

\* \* \*

На будущее я не повлияю –  
свои шуты появятся у них,  
поэтому я молча наливаю  
и тихо пью за правнуков моих.

\* \* \*

Сейчас доступно для продажи  
всё – от Луны до эскимо,  
не только рукопись, но даже  
и вдохновение само.

\* \* \*

Печать печали перламутром  
туманит лица  
людей, не смогших этим утром  
опохмелиться.

\* \* \*

В борьбе за счастье люди устают  
и чувствовать его перестают.

\* \* \*

Очень грустно дома вечером,  
если в доме выпить нечего.

\* \* \*

Всё в мире нам понятней и видней  
на склоне дней.

\* \* \*

Забавно, что от алкоголя  
нисходит к нам покой и воля.

\* \* \*

Пьём на равных. В результате –  
как на слаженном концерте:  
слабый духом спит в салате,  
сильный духом – спит в десерте.

\* \* \*

Я прочёл уйму книг,  
и набит мой чердак –  
то ли мудрый старик,  
то ли старый мудака.

\* \* \*

Клеймящих недостатки и пороки  
я тьму встречал на жизненном пути,  
они бубнили мне свои упрёки,  
а я им говорил, куда пойти.

\* \* \*

Просторы российской словесности –  
настолько большое пространство,  
что в этой раскидистой местности  
цветёт и любое засранство.

\* \* \*

Изрядно время обломало  
лентяя, пьяницу и лоха:  
я хоть и знаю очень мало,  
но я и это помню плохо.

\* \* \*

О всякой не заботясь чепухе,  
желая быть в уверенных руках,  
овечки в их мечтах о пастухе  
не думают ничуть о шашлыках.

\* \* \*

Я виски лью в мои руины,  
я пил на воле и в неволе,  
меня Творец лепил из глины,  
замешенной на алкоголе.

\* \* \*

Усердие, серьёзность и практичность  
такие свойства духа не просты,  
такую выдающуюся личность  
я лично обхожу за три версты.

\* \* \*

Сомнения меня одолевают,  
они уже давно во мне крепчали:  
ведь если в небесах не наливают,  
то праведники там полны печали.

\* \* \*

Повсюдный климат, он таков –  
печалит ум и дух,  
сегодня время пауков,  
и очень жалко мух.

\* \* \*

Мир, конечно, круто развивается,  
только чует чувство наше дошлое:  
будущее насмерть разбивается  
об укоренившееся прошлое.

\* \* \*

И пигмеи, и титаны  
равно рады, вероятно,  
если ихние путаны  
соглашаются бесплатно.

\* \* \*

Об этом и легенды есть, и были,  
и книжным лесом факты проросли:  
повсюду, где евреев не убили,  
они большую пользу принесли.

\* \* \*

И время шло бы удивительней,  
и жизнь текла бы замечательно,  
когда б себе своих родителей  
мы подбирали до зачатия.

\* \* \*

В день святого Валентина,  
в день венериных оков,  
серебрится паутина  
на паху у стариков.

\* \* \*

Непрестанно свой рассудок теребя,  
я додумался – и лично, и по книжкам:  
полагаться можно только на себя,  
да и то с большой опаской и не слишком.

\* \* \*

Раскаты войн и революций  
трясут державы на корню,  
а люди женятся, ебутся  
и рады завтрашнему дню.

\* \* \*

Дела мои грустно меняются,  
печальны мои ощущения:  
теперь даже мысли стесняются  
являться ко мне для общения.

\* \* \*

Уму и сердцу вопреки  
в душе хрустит разлом:  
добро сжимает кулаки  
и делается злом.

\* \* \*

Полно дураков на ристалище нашем,  
различных повадкой и лицами,  
дурак из евреев особенно страшен –  
энергией, хваткой, амбицией.

\* \* \*

Поскольку я здоровье берегу,  
то днём не лечь поспать я не могу,  
и только после близости с Морфеем  
я снова становлюсь былым Орфеем.

\* \* \*

Боялся я, что разум врёт –  
уверенно притом,  
и поступал наоборот  
и не жалел потом.

\* \* \*

Давно я дал себе зарок  
не сочинять печальных строк,  
но дуры мне не подчиняются  
и сами грустно сочиняются.

\* \* \*

Старение – это худая лошадка,  
неспешно везущая хворостей воз;  
года наши тянутся хоть и не гладко,  
но страх и печали врачует склероз.

\* \* \*

Обидно, что сейчас интеллигенция –  
всегда ей честь по чести воздавалось  
рифмуется со словом импотенция,  
а раньше никогда не рифмовалась.

\* \* \*

От Бога эта околесица:  
все лгут и гадят;  
но Он однажды перебесится  
и всё уладит.

\* \* \*

Ремёслами славится труд,  
всё строится выше и краше,  
а голуби срали и срут  
на все достижения наши.

\* \* \*

После приёма стопаря,  
после повтора  
душа готова, воспаря,  
для разговора.

\* \* \*

И в неге жил я, и в гавне,  
и что-то удалось,  
но больше умерло во мне,  
чем родилось.

\* \* \*

В будущее стелется дорога,  
тихо проплывают облака,  
стало геростратов нынче много,  
что им жечь, не знающих пока.

\* \* \*

Ева вышла из ребра,  
Бахус вылез из бедра,  
оттого и длится с ними  
наша вечная игра.

\* \* \*

Хранят российские дорожки  
следы запуганных зверей,  
а той избушки курьи ножки  
все съел еврей.

\* \* \*

Мы все – бедны или богаты,  
но про богатство любим сказки,  
а лично я люблю закаты –  
за золотистость их окраски.

\* \* \*

Без устали крутился мой волчок,  
доселе кружит;  
из мальчика случился старичок  
и пьёт, не тужит.

\* \* \*

Гастроли по России я люблю;  
пускай свистит пурга и холод лют;  
забавно, что российскому рублю  
я радуюсь сильнее иных валют.

\* \* \*

Не думай ни о ком нехорошо  
и на язык накинь тугие вожжи –  
учил меня отец, и я нашёл  
его слова в Талмуде много позже.

\* \* \*

Товарищ мой поведал мне  
о важной умственной находке,  
что если истина – в вине,  
то правда – в водке.

\* \* \*

Смешно мне слушать, горестно и скучно,  
что всё уже постигнуто научно,  
и с кафедры вещает сивый мерин,  
что мир трёхмерен.

\* \* \*

Хороши мои дела,  
всем они наука:  
дочка внучку родила,  
сын добавил внука.

\* \* \*

Не найдя нас в толпе соискателей,  
ожидавших небесную ссуду,  
Бог не просто послал нам читателей,  
но ещё расселил их повсюду.

\* \* \*

Просветов мало. Но во мраке  
любой эпохи и поры  
повсюду в гору лезут раки,  
мечтая свистнуть нам с горы.

\* \* \*

Ветрами времени продут,  
стал тип я продувной,  
и Тот, который там и тут,  
не знается со мной.

\* \* \*

Года несутся, как трамвай,  
но я пока живу,  
и хоровое «наливай!»  
нас держит на плаву.

\* \* \*

Нам солнце обаятельно лучится,  
и на душе теплее от него,  
а Ленин заповедал нам учиться,  
но не сказал – чему и у кого.

\* \* \*

Вползает мутной лжи чума  
и в пожилых, и в юных –  
увы, затмения ума  
гораздо чаще лунных.

\* \* \*

У меня душа моя спросила:  
из тебя, хозяин мой и барин,  
утекает жизненная сила –  
ты за это тоже благодарен?

\* \* \*

По беспечности и по наивности  
люди сходятся, словно любя,  
а потом от нехватки взаимности  
начинается бегство в себя.

\* \* \*

Я молод был ещё недавно  
и подвергался комплиментам,  
но вял и слаб теперь так явно,  
что всем кажусь интеллигентом.

\* \* \*

В кошмарно переменчивой судьбе  
умея искры жизни возродить,  
евреи даже родину себе  
смогли из ничего соорудить.

\* \* \*

Уж раз я сам себя запряг  
в литературный воз,  
то запахло мне и внапряг  
возить на нём навоз.

\* \* \*

Политики лукавят, притворясь  
толпой блядей на людном перекрёстке:  
из них порой талантливая мразь  
выходит на центральные подмостки.

\* \* \*

Я часто очень мало понимаю  
в кипящей суете мужчин и женщин,  
поэтому почтительно внимаю  
тому, кто понимает ещё меньше.

\* \* \*

Российской школы давний выпускник,  
я знаю о себе не от кого-то:  
подобно всем я мыслящий тростник,  
но я пропитан соками болота.

\* \* \*

Любая мне мила попойка,  
душе дарящая полёт,  
я выпил в жизни этой столько,  
что не любой переплывёт.

\* \* \*

Упал кураж, и выдохся трезвон,  
мы общество собой не беспокоим,  
на склоне дней приходит угомон  
и вкрадчиво становится конвоем.

\* \* \*

Живу я с удовольствием на свете,  
хоть возраст у меня – смурной и смутный  
а то, что в голове гуляет ветер –  
так он попутный.

\* \* \*

Не зря пустая голова  
глотала умственную пищу:  
в ней густо плещутся слова  
и смысла ищут.

\* \* \*

Я верю, что Божественному чуду  
послушно всё и вся любой порой,  
и если б мы низвергли зло повсюду,  
Бог новый сочинил бы геморрой.

\* \* \*

Когда-то стаи дикарей,  
гуманность не нажив,  
ещё не знали, кто еврей,  
и ели всех чужих.

\* \* \*

С годами я не делаюсь мудрее,  
но чувствую наследственную нить  
от генов местечкового еврея,  
умевшего всё в жизни объяснить.

\* \* \*

Клочки, обрывки, шелуха  
из нашей речи разговорной  
везде на кружеве стиха  
лежат, как духа след узорный.

\* \* \*

Я срок земной почти что отмотал,  
душа незнамо в ком начнёт сначала,  
теперь коплю презренный я металл,  
чтобы вдова детей не огорчала.

\* \* \*

В немой не корчись укоризне  
и постыдись угрюмой позы:  
в тернистый путь семейной жизни  
Творец повтыкивал и розы.

\* \* \*

Женщины чужих мужчин уводят,  
а мужья чужих уводят жён,  
в этом интенсивном хороводе  
каждый подвиг с риском сопряжён.

\* \* \*

Сам себя усерднейший читатель,  
начисто запутавшись в ролях, –  
«Богохульник, но богоискатель», –  
я себе заметил на полях.

\* \* \*

Весьма разнообразно время множит  
в нас перемены личного всего;  
дерьмо, конечно, стать иным не может,  
но дивны превращения его.

\* \* \*

Меня приводит в умиление  
всё то, что мне познать невмочь,  
а перистальтика мышления –  
та вообще темна, как ночь.

\* \* \*

Привычная мила мне колея,  
обидно только мне за этот путь:  
по мне слезу прощальную проля,  
его продолжит вряд ли кто-нибудь.

\* \* \*

Блажен, кто бьётся лбом о стены  
и ощущает упоение,  
но рушат подлые системы  
лишь только тихое гниение.

\* \* \*

В Израиле нету незримых клешней  
и всё по-другому во всём,  
и Богу отсюда гораздо слышней,  
какую херню мы несём.

*Юлия Винер*

## *БЫЛОЕ И ВЫДУМКИ\**

### ВОРОВКА

Покажите мне человека, который ни разу в жизни ничего не украл.

Встречать таких людей мне приходилось, но это они так говорят, а я им не верю. Во-первых, признаваться в этом стыдно. Затем, многие искренне думают, что говорят правду, но это значит лишь, что они либо забыли, либо постарались забыть, либо украли, сами того не сознавая. Это последнее, может быть, и правда, и тогда за кражу может не считаться. Не считается за кражу и поступок совсем маленького ребенка, который не крадет, а просто берет, еще не зная, что нельзя. Впрочем, я убеждена, что человек уже рождается с основными заповедями, дремлющими в подсознании, и первый же шлепок матери по детской руке, которая тянется за чем-то не своим, является триггером, выводящим заповедь на поверхность сознания. Это, конечно, не означает, что заповедь будет соблюдаться.

Мне кажется, что мне лично даже шлепок не потребовался – уже самая первая моя сознательная кража сопровождалась явственным ощущением опасности, секретности и незаконности моего действия. У меня этому действию было полное оправдание, но чувства вины оно не снимало. Слова «грех» я еще не знала, слово «проступок» было каким-то неясным. Откуда же взялась моя уверенность, что красть – это плохо?

В самом раннем детстве я за собой краж не помню. Да и что, у кого, зачем мне было красть? Я была домашний, вполне обеспеченный, балованный ребенок, и незачем мне было красть, и не у кого, а клептоманией как таковой я, как стало ясно впоследствии, не страдала.

Но вот с началом войны, прямо из тепла и защищенности я попала в эвакуированный детский дом. Тоска и растерянность были невероятные, но не об этом сейчас речь. Моя мать, которая не могла тогда быть со мной, сумела все же приехать меня навестить. Стала расспрашивать, как мне живется, и между прочим говорит:

– А почему, детка, ручки грязные? Неужели ты мое мыльце уже смылила? Или совсем ручки разучилась мыть?

– Нет, я мою... Только без мыла.

– А шоколад ты, наверно, весь сразу съела? Или друзей угостила?

А я даже не знаю, какое мыльце, какой шоколад.

– Ну как же, – говорит мама, – голубенькое такое мыльце в синей мыльнице, душистое. Специально для тебя раздобыла. И большой кусок авиационного шоколада. Знаешь какой? Его летчи-

---

\* Истории из этого цикла воспоминаний были опубликованы в «ИЖ» №№ 40, 44.

кам дают, для укрепления сил. Не обычные плитки, а большие толстые куски. Он твердый, как камень, но очень вкусный. Все это месяц назад я передала для тебя через знакомых. А они отдали твоей воспитательнице (прозвище у этой воспитательницы было «Сторож», а имени я не помню).

Когда выяснилось, что всего этого я в глаза не видала, мама сказала гневно:

– Это что же такое? Отнимать у ребенка! Ну, погоди, сейчас я твоему Сторожу устрою!

Мне еще семи не было, но детдомовская жизнь меня уже кое-чему научила. Мама не сегодня-завтра уедет, а я останусь и Сторож останется. Я взмолилась:

– Mamочка, не надо! Не устраивай! Она знаешь, какая злющая? И, может, она просто забыла. Я сама у нее спрошу, она отдаст! А так она только разозлится и... и... не надо!

Я знала наверняка, что не отдаст. Но и мама, видимо, поняла, что – не надо.

Ничего спрашивать у Сторожа я не стала. Не до того было. Рядом была драгоценная мама, я не отходила от нее ни на шаг и с тоской считала часы до ее отъезда.

А когда она уехала, я занялась планами мести. Прежде всего надо было как-то проникнуть в каморку, где Сторож ночевала. Выяснить, не осталось ли хоть что-нибудь от маминых подарков. Каморка была всегда заперта. Даже на ночь Сторож запиралась наглухо. Иногда, проходя ночью в комнату с горшками, служившую нам уборной, мы слышали из-за двери загадочные звуки – оханье, мычание, шлепки. Мы строили между собой разные догадки по поводу этих звуков, один другого непристойнее, и все, разумеется, неверные.

Так вот, выскочив раз ночью из теплой постели на ледяной пол спальни и сбежав в детскую уборную мимо жилища Сторожа, на обратном пути я вдруг заметила, что дверь туда приоткрыта. А во «взрослом» туалете горит свет. Она там!

Я мгновенно забралась в каморку и кинулась к тумбочке, открыла дверцу. Небольшой кусок шоколада в бумажке нашла сразу, но искать как следует было некогда, там было полно всяких мешочков, конфетных коробок, консервных банок и прочих припасов. А из туалета уже слышался шум спускаемой воды. Я, не думая, схватила лежавшие на тумбочке маленькие часики и бросилась назад в постель. И тут же раздался щелчок запираемой двери. Сторож вернулась к себе.

Я едва успела отдышаться, как щелчок раздался снова. Дверь каморки отворилась, Сторож стала на пороге нашей спальни. При слабом свете ночника я видела, как она неслышными шагами ходит от кровати к кровати. Наклоняется, прислушивается, потом тихонько шарит под подушкой. Когда она подошла ко мне, я лежала на животе, дышала ровно и тихо, добычу свою сжимала в кулаке под животом – к счастью, не успела сунуть под подушку. Шоколад в моей горячей руке начинал размягчаться.

Обойдя все кровати, Сторож снова остановилась на пороге и проговорила трубным голосом:

– Если вор или воровка немедленно признается и вернет украденное, ничего не будет. Я прощу, и не будем больше об этом вспоминать.

В первый момент я даже не поняла, что это относится прямо ко мне. И ждала, не откликнется ли кто-нибудь другой. Кто это тут у нас вор или воровка? Но никто не откликнулся, и я вдруг подумала: да ведь воровка – это я?

Не дождавшись никакого ответа, Сторож проговорила негромким голосом, от которого мороз подрап по коже:

– Если сейчас же не вернете, пеняйте на себя. Я ведь все равно найду. И накажу – всю группу.

Мне было показалось даже, что надо бы вернуть... Но я каким-то образом знала, что хорошо от этого все равно не будет. И потом, это же моя законная добыча, это она воровка, а не я, это она меня обокрала, а не я ее. И съела почти весь мой шоколад, и смылила мое мыльце! При мысли о голубеньком мыльце, которое любимая мама специально для меня где-то достала, мне захотелось плакать.

В спальне стояла мертвая тишина, хотя я чувствовала, что кое-кто проснулся.

– Ну, смотрите, – сказала Сторож совсем тихо. – Потом не жалуйтесь.

И ушла.

Беззвучно поплакивая под одеялом, я съела шоколад и заснула. Про часики я вспомнила только утром, почувствовав, как что-то острое впивается мне в ягодицу. Это был язычок от застёжки на ремешке часов. Я зажала часики в кулаке и тайком рассмотрела их. Хорошенькие. Кажется, золотые. Дорогие, наверно. Мне совершенно не нужны. Я бы их маме подарила, но понимала, что нельзя.

А почему нельзя? Потому, что я их ukrала. Ukrала! Ну и что? Я же имела полное право? Должна же я была отомстить Сторожу! Взять что-нибудь взамен, это только справедливо!

И все равно, красть – плохо. Нельзя. Почему – неизвестно, но нельзя.

Вместо радости, что мне так легко удалось осуществить свою месть, я обнаружила в себе какое-то неприятное чувство. Впоследствии мне много раз приходилось его испытывать, теперь-то мне хорошо известно, что это чувство вины. А тогда я просто захотела от своей добычи поскорей избавиться. И сделала это простейшим способом. Пошла в детскую уборную, посидела на горшке, дождалась момента, когда в комнате было всего двое и оба сидели ко мне спиной. Завернула часики в один из газетных листков, которые нам выдавали для подтирки. И спокойно бросила их, вместе с использованными бумажками, в ведро, стоявшее для этой цели в углу.

И сразу мне стало легко и спокойно. Совесть моя была чиста, виноватой я себя больше не чувствовала. Ах, если бы всегда можно было так просто отделяться от чувства вины!

Потом был большой скандал. Сторож нас допрашивала, проклинала, наказывала лишением сладкого (пол-ломтика черного хлеба, посыпанного сахаром), не выводила гулять, писала нашим

отцам на фронт письма с жалобами. Я вовсе не считала, что все это относится ко мне больше, чем ко всем остальным. Я помнила ее тумбочку, набитую припасами, и уверена была, что, подвернись только возможность, любой из обокраденных поступил бы так же.

Ни часиков, ни виновного так и не нашли.

Позже мы ловко и жестоко отомстили Сторожу за все наши мучения, но это уже другая история.

Вторую памятную мне кражу я совершила не у человека, а у животного. Во дворе нашего детдома жил пес по имени Винтик. Винтик, большой беспородный лохматый зверь, был существо добрейшее и крайне несчастное. Его никогда не спускали с цепи, и нужды свои ему приходилось справлять за будкой, натягивая короткую цепь так, что она протерла у него на шее лысую борозду. Никогда не мыли и не чесали грязную, спутанную шерсть, не выстригали колтунов и не вытаскивали клещей. Правда, кормили. А он за это грозно лаял на всех проходивших мимо. Лаял он, разумеется, и на меня, но стоило мне подойти поближе, он начинал тянуть ко мне свою страшную зубастую морду и молил погладить. Я гладила и обнимала лохматую голову, за что мне всегда попадало от Сторожа. Винер не понимает, что такое гигиена, говорила она.

Однажды я увидела, как пес жадно ел из своей миски. Еда в те дни страстно и постоянно интересовала меня, и я подошла глянуть, что он ест. Миска была полна той же тошнотворной тыквенной каши, которой кормили и нас, а в каше лежала большая голая кость. И эту кость я схватила. На ней не было мяса, но был толстый белый хрящ. Винтик огорченно гавкнул, но тут же завил хвостом. Одной рукой я чесала у него за ухом, а другой держала кость и поспешно отгрызала пластину хряща. Отгрызла, сунула за щеку и бросила кость обратно в миску. И хотела убежать. Но мне было жаль Винтика, я украла у него единственную ценную вещь в миске. Я уже знала, что от чувства вины надо отделяться как можно быстрее. Вернуть псу хрящ было выше моих сил. Вместо этого я быстро выдернула цепь из кольца на его шее. Он будет рад, ему ведь никогда не дают побегать на воле.

Я ожидала, что он сразу рванется, помчится, выбежит за ворота. А он стоял и продолжал лакать кашу.

– Винтик, иди! Беги! Беги, дурачина! – я подтолкнула его ногой.

Он только слегка вильнул хвостом. Тогда я отодвинула от него миску. Он шагнул вперед и продолжал есть. Я со злостью отпихнула миску еще дальше. Пес потянулся было за ней, и вдруг, почувствовав, что тянуться не надо, что его ничто не держит, с места скакнул ко мне на грудь, перевернув по дороге миску, свалил меня наземь, быстро облизал мне лицо, а когда я встала, он уже мчался во весь опор к воротам. Все это произошло мгновенно. А с крыльца раздался истерический вопль Сторожа:

– Винер! Хулиганка! Лови! Лови его немедленно!

Какое там лови! Винтик несся, как ракета. Да я и не хотела. Наказание меня ожидало в любом случае, а он рано или поздно наверняка вернется. Так пусть же хоть раз набегаются вволю.

Сторож ухватила меня за ухо и потащила в дом. Я подвывала от боли и одновременно грызла свой хрящ. Он был упругий и вкусный.

– Ты что это там жуешь, мерзкая девчонка? Где взяла? Выплюнь сейчас же!

Но я не выплюнула, а проглотила.

Все это были несерьезные кражи, и воровкой я себя по-прежнему не чувствовала. Ругать меня за них ругали, но не стыдили. А я считаю, что настоящей воровкой я не стала именно благодаря стыду.

Следующая моя кража, а вернее, целая серия краж, происходила уже в Москве. Время было послевоенное, голодное, семья наша была очень бедна, и воровала я опять же еду. Жила я в некогда престижном доме, куда в начале тридцатых годов селили иностранных коммунистов. Довольно быстро число иностранных коммунистов в доме сократилось, при мне, кроме моего отца, оставалось всего двое или трое. А квартиры превращались в обычные коммуналки. Необычными в них были только размеры. В нашей трехкомнатной квартире жили всего две семьи: наша, из пяти человек, в большой комнате, а в двух маленьких проходных комнатках – соседка Марья Петровна и двое ее детей-подростков, Муся и Вася. Тоже, разумеется, бедные, но все же побогаче нас – и Марья Петровна, и Муся работали на фабрике, а у нас работала одна только мама, да и то не всегда.

Кухонька у нас, естественно, была общая, а холодильников, естественно, не было. Зимой Марья Петровна, как и многие, вывешивала пищу наружу, на веревке, пропущенной сквозь форточку, и именно на кухне – в их комнатках к окнам было не подойти.

Мы за окно ничего не вывешивали.

Когда я возвращалась из школы, в квартире обычно были только мой младший брат и его старая бабка. Брат читал книжку, а бабка вообще неохотно слезала с постели. Еда ожидалась только к вечеру, когда вернется мама.

Некоторое время я боролась с собой. Не буду, не буду, твердила я про себя. Решала, например, выйти во двор погулять. Одевалась, напяливала галоши на валенки. И, совсем уже готовая к выходу, все-таки быстро заскакивала в кухню, вытягивала за веревку соседскую кастрюлю из-за окошка. В кастрюле чаще всего бывало одно из двух: либо щи с мясом, либо котлеты с вареной картошкой. Я вытаскивала из щей кусочек мяса или, если котлеты, брала самую маленькую и пол-картошины, вывешивала кастрюлю обратно за окно и выбегала из дому. Пока спускалась с восьмого этажа, успевала все съесть. Я долгое время не замечала странную деталь: соседей было трое, а котлет в кастрюле было всегда семь, шесть больших и одна поменьше. Я как-то ухитрилась убедить себя, что на исчезновение маленькой котлеты Марья Петровна не обратит внимания. И только значительно позже я сообразила, что она делала эту котлетку специально для меня, урезая понемножку от собственных порций. И никогда мне ничего не говорила. И маме не жаловалась.

И пока она ничего не говорила, мне не было перед соседкой стыдно. Она же ни о чем не догадывается!

Догадалась мама. Вернее, не догадалась, а, неожиданно вернувшись домой раньше времени, почти поймала меня на месте

преступления. Я как раз вытягивала кастрюлю через форточку. Услышав стук входной двери, я мгновенно отпустила веревку, и когда мама вошла в кухню, кастрюля качалась за окном, тихонько постукивая в раму.

И мама тоже мне ничего не сказала. Посмотрела на кастрюлю, посмотрела на меня, пожала плечами и вышла из кухни. И это было хуже всяких слов. Вот тут мне стало по-настоящему стыдно. Так стыдно, что я побоялась зайти в комнату, взглянуть на маму. И быстро сбежала во двор, и до темноты играла там с ребятами. И лихорадочно уговаривала всех не расходиться, поиграть еще, хотя многих уже звали из окошек.

Однако же мне все еще было стыдно не потому, что воровать – плохо, и не потому, что отняла у соседей драгоценный кусок, а потому только, что меня поймали. Воровкой меня еще никто на свете не называл, и позже тоже, ни мама, и никто вообще. Может быть, именно потому я ею не стала?

Впрочем, нет, один раз все же называли, и совершенно несправедливо. С нами жила бабушка моего брата. Не моя бабушка, мать второго маминного мужа, очень ею любимого и очень рано умершего. Эта бабушка любила своего внука, а меня, прямо скажем, не очень. Время от времени она тайком давала брату что-нибудь из еды, а мне не давала. Меня это задевало до глубины души, хотя брат, человек лояльный, всегда делился со мной лакомством. Обида была не на брата, а на бедную старуху. Бедную, потому что позже, когда я подросла, а она одряхлела, я, увы, отплатила ей за все обиды с лихвой. Так вот, увидев однажды, что я ем половину яблока, которое она дала внуку, она крикнула мне:

– Откуда у тебя яблоко? Украли у брата? Воровка!

Именно потому, что в этот раз я ничего не крали, эту обиду я ей простить не могла.

А у соседей таскать из кастрюли я перестала.

Последнюю, самую серьезную свою кражу я совершила лет в десять-одиннадцать. Я сделала это сознательно, с определенной целью. Мне нужны были деньги, нужны позарез. Я долго просила у мамы, а она монотонно повторяла, не отрывая взгляда от рукописи, которую редактировала (на самом деле не редактировала, а переводила заново с подстрочника, сделанного, скажем, с звенковского, но платили как за редактуру). Она правила рукопись и вторяла на мои мольбы:

– Пойми, детка, у меня их нет.

– Но мне очень, очень нужно! Все девочки уже принесли, одна я...

– Я знаю, но что поделаешь, у меня нет.

– Тогда я не пойду. Ну и пусть. Все пойдут, а я буду дома сидеть. Пусть! – мрачно говорила я, готовая разреветься.

– Но почему же? Надежда Петровна сказала, если у кого нет, все равно могут прийти...

– Да? Могут? Знаешь, как все будут на меня смотреть!

Мама взглянула на меня:

– Как будут смотреть?

– Ну, как! Так. Все будут думать, что у нас совсем нет денег.

– Ты считаешь, что не иметь денег – это позор?

– А что, скажешь, нет?

– Тебе так важно, что они будут думать? Пусть думают, что хотят. Ты ведь тоже думаешь о них по-всякому, разве это мешает тебе с ними общаться?

– Нет, ты не понимаешь...

Я была в отчаянии. Речь шла о вечеринке, затеянной нашей классной руководительницей по случаю не помню какого праздника. Там планировались всякие самодеятельные номера, игры, а потом угощение. И нужно было внести какую-то сумму, на оформление физкультурного зала и на сладости к чаю.

(Сейчас мне трудно понять, почему я так отчаивалась. Сейчас – да заплати мне, я бы на такое со своими сверстниками не пошла! Мои сверстники – это ведь кто? Старики и старухи. То-то повеселились бы! А еще говорят, что старость – это второе детство. Ничего подобного! Две большие разницы.)

А там даже сверстников-мальчиков не будет, одни девчонки. Да еще не очень любимая учительница русского языка и литературы, которая, читая нам вслух «Евгения Онегина», произносила слово «dandy» как «данду».

И однако мне нестерпимо хотелось пойти. Но пойти, не заплатив? Это было невозможно. Деньги надо было найти. И я нашла.

Я уже говорила, что в комнате мы жили впятером. Наша мать, мы с братом и бабка. А пятой была Маруся, моя бывшая няня.

В середине тридцатых годов, двадцатилетней девчонкой ухитрившись вырваться из голодной коллективизированной деревни, она очутилась в Москве, где мечтала учиться. У нее не было в городе никого и ничего. Ночевала на вокзале, продавала скудные свои пожитки. Наконец продала с себя, что могла, и очень быстро дошла до нищенства. Один из прохожих, по-чужестранному аккуратно одетый, остановился, положил монетку и спросил с сильным акцентом:

– А что, товарищ, вы нездоровы? Не можете работать?

Она могла, хотела работать, но никуда не брали полуграмотную неумелую деревенщину.

Ничего про нее не зная, отец привел ее домой и нанял в домработницы. Так Маруся вошла в нашу жизнь и пробыла в ней двадцать с лишним лет.

Вся квартира, все ее три комнаты, до войны была наша. Большая комната была моя. В ней вместе со мной, совсем еще маленькой, спала моя тогдашняя няня Мария Ивановна. Мама тогда с нами уже не жила, но меня отец не отдал, грозя ей судом за аморальное поведение. В двух проходных комнатках были папина спальня и кабинет. А Марусю поселили в крошечном аппендиксе при кухне, который и предназначался для прислуги.

(Я только сейчас сообразила, что в младенчестве жила в окружении Марий и, позднее, Вась.)

Вот говорят, стерпится – слюбится. Оказывается, далеко не всегда. Пять человек, согнанных судьбой в одно место, откуда некуда уйти, и связанных одной неразрывной цепью – жильем, стерпеть за двадцать лет могут, но слюбиться вряд ли.

Моего отца Маруся боготворила. Поначалу у нее, кажется, были даже какие-то надежды, но она скоро поняла, что ничего не

выйдет, и просто смотрела на моего отца с обожанием и страхом. Он оформил ее в качестве домрабы, научил ее жарить бифштексы с кровью, делать тосты и заваривать кофе и предоставил ей жить своей жизнью. А своей-то жизни у нее как раз и не было.

Уходя на фронт, отец прописал Марусю в пустой к этому моменту квартире: меня отправили в эвакуацию, а мама пыталась прорваться на оккупированную Украину, за сыном, отвезенным туда на лето к бабке. Отец сказал Марусе: сбереги квартиру для Юленьки. Сам он, видимо, вернуться не надеялся.

Юленьку, то есть меня, Маруся не то чтобы любила, просто считала неотъемлемой частью обожаемого хозяина. А мать мою, которая до войны приходила ко мне каждый день на много часов, так что я даже не догадывалась, что она с нами не живет, – мою мать Маруся терпеть не могла. И за то, что ушла от такого замечательного человека, и за то, что появлялась в нашем доме как своя, и за то, что бросила маленькую дочь, и за то, что все время пыталась отобрать ее и что так и не сумела...

И Марию Ивановну, первую мою няньку, Маруся недолюбливала. За образованность, за тихий голос и сдержанные манеры. А главное, за то, что мой отец так неэкономно распорядился своими деньгами, держал в доме лишнего человека, платил лишнее жалование, когда нянькой за те же деньги вполне могла бы быть она, Маруся. Мария Ивановна вскоре ушла, и Маруся радостно заняла ее должность.

Все это происходило в далеком, полузабытом, счастливом «двойны».

После войны все резко изменилось. Отец с войны не вернулся. Квартиру Маруся полностью сберечь не сумела. Ее «уплотнили», т. е. вселили еще одну семью. А в большую комнату въехала, после невероятных усилий и многих взяток, преодолев отчаянное сопротивление Маруси, моя мама вместе со мной. А вскоре мать привезла в ту же комнату своего сына от второго мужа. И мало того, туда же въехала и его бабка, чей дом на Украине был сожжен немцами.

Все эти люди, кроме разве что меня, были Марусе чужие. И со всеми ними ей приходилось жить. А деваться было некуда, кроме как обратно в колхоз. Маруся съездила раз, вернулась с почерневшим лицом. Да и не было у нее там ничего. Но и тут у нее не было ничего и никого. Была кровать в углу и столик возле нее, но не было даже отдельного шкафа, немногим ее одежкам выделено было узкое местечко в нашем общем шкафу и один ящик в комод. А рядом жила женщина, которую Маруся не выносила, и чужая старуха, мешавшая спать своим храпом и бормотанием, и чужой мальчишка, мой брат, к которому я была привязана больше, чем к ней.

Никто Марусю по-настоящему не любил, и, что еще хуже, ей самой некого было любить. Мужчину в дом она привести не могла, ее самое никто из городских не брал, а идти замуж в деревню, к какому-нибудь вдовцу с кучей детей, – да ни за что на свете. У многих подруг с фабрики, где Маруся работала, замороченных собственными тяготами, не было на нее времени.

Я только сейчас, вспоминая, сознаю весь беспросветный ужас жизни бедной моей няньки.

Между прочим, я довольно рано, лет в восемь-девять, обнаружила, что и Маруся, и наша соседка Марья Петровна были антисемитки. Не активные, не агрессивные антисемитки, просто как все. Однажды я услышала их разговор на кухне.

– Так и живешь всю жизнь с евреями? – с любопытством спрашивала Марья Петровна, женщина добрая и честная.

– Ну почему с евреями? – обиженно ответила Маруся. – Меир Феликсович (мой отец) был вовсе не еврей, а из Австрии. Знаешь, какой редкий человек был!

– Меир – и не еврей? Может, и хороший был человек, и из Австрии, но, конечно же, еврей. И дочка его еврейка, и бывшая жена.

– Ну и что? Они разве виноваты, что евреями родились. И потом, Юльку я еще до войны крестила, спасла душеньку.

– А что ж ты Меира своего не крестила, раз хороший был человек? Вот теперь и пошла душа его в ад, жалко ведь!

– Да ты что, он ведь был коммунист! И не какой-нибудь, а настоящий. Поэтому и приехал из своей Австрии к нам. Какое крестить! Он меня и за Юльку-то чуть не прогнал, это уж она отмолила, закатали ему истерику.

А может, и не были они антисемитками? Может, ничего уж такого в этом разговоре и не было? И я неправильно его истолковала? Или была уже слишком чувствительна к любому упоминанию этой темы?

В холодной, одинокой жизни моей няни был все же один теплый уголок. Съездив в деревню, она увидела в доме двоюродного брата его подросткового в ее отсутствие сынишку Ваську. И страстно к нему привязалась. Маруся решила, что, как только Васька закончит семилетку, она должна любым способом выволочь его из деревни. И начала копить для него деньги из своей ничтожной зарплаты.

Каждый раз после полочки она отделяла от нее несколько рублей и выдвигала свой ящик комода. Делала она это скрытно, старалась поймать момент, когда в комнате никого не было. Но моменты такие случались редко, и иногда, видя, что я делаю уроки и сижу к ней спиной, она выдвигала свой ящик при мне. И что-то туда клала. Я бы и внимания не обратила, мало ли что ей там может понадобиться, но именно ее таинственность меня заинтриговала. И однажды в ее отсутствие я, делая вид, что ищу что-то в одном из наших ящиков, заглянула и в Марусин. И очень быстро в стопке чистых наволочек обнаружила совсем маленькую наволочку, а в ней порядочную пачку рублевок, трешек и даже пятерок. Сколько там было, я смотреть не стала, сунула наволочку обратно в середину стопки и задвинула ящик.

И вот теперь, перед нашей классной вечеринкой, когда мне отчаянно нужны были деньги, я вспомнила про эту наволочку.

Правильнее всего было бы просто у Маруси попросить. Она бы, может, и дала. Но я уже не раз нарывалась на обидные слова, которые она маме сказать не решалась, а при мне говорила как бы в воздух, что-нибудь вроде: «Нечего было детей рожать, если накормить не могут», или: «Некоторые ужасно ученые, вместо чтоб работать, все только за столом сидят». И я знала, что опять услышу что-нибудь такое, если попрошу денег.

У нее там много, решила я, а я возьму совсем немножко, она даже не заметит. А потом потихоньку положу обратно, она и знать ничего не будет. Откуда я достану, чтоб положить обратно, я в тот момент не думала.

Но взять немножко не получилось. Я уже нащупала и ухватила белый мешочек, но вынуть из него ничего не успела, тут вернулся брат из школы и бабка пришла из кухни, велела мне взять карточки и сходить за хлебом. Я сунула мешочек за пазуху и поскорей надела пальто, чтоб ничего не было заметно.

Едва я пришла на вечеринку, мне стало ясно, что приходить было не надо. Из близких моих подружек была только одна, не самая любимая. Двум другим я все время говорила, что, наверное, не приду. Не объясняла, конечно, что из-за денег, а что будет скучно, игры какие-то дурацкие, да еще с училкой. Вот они и взяли и не пришли. А я приперлась, как дура. И все там было именно так, как я говорила подругам. Скучно, по-школьному, чего-то там пели, чего-то скакали, учительница все время руководила и делала вид, что ужасно веселится... и все якобы тоже веселились до упаду. А мне было не только не весело, а досадно и даже грустно. И зачем только я украла Марусины деньги! И даже мешочек обратно еще не положила! И ради чего? Ради вот этого? Ради несчастных пирожных, которые дадут к чаю? И я вдруг сообразила: а ведь я ничего еще тут не ела и не пила, можно попросить свои деньги обратно!

– Винер, ты что опять выдумываешь? – учительница выпучила на меня глаза, не успев скинуть с лица веселую улыбку. – Что значит обратно?

– Я хочу уйти, отдайте мне, пожалуйста, мои деньги.

– Куда уйти, зачем уйти? Никуда не пойдешь! Смотри, как всем весело!

– А мне скучно. Я хочу уйти, верните мне мои деньги. Я ничего здесь не ела.

– Где я тебе возьму твои деньги? Из своего кармана?

– Зачем из кармана, я ведь принесла.

– Вспомнила! Деньги все потрачены, для вашего же удовольствия.

– Но для меня не удовольствие... отдайте...

– Иди, Винер, не мешай мне. Иди вон играй вместе со всеми!

Но я все равно ушла, хоть и без денег. И решила немедленно положить мешочек на место.

Однако положить не удалось. Дома я застала неожиданную и непривычную сцену. Маруся, горько рыдая, сидела на своей кровати, а рядом сидела мама и обнимала ее. Она гладила Марусю по голове и повторяла ласково:

– Не надо, Маруся, не убивайтесь так! Они найдутся.

– Ва-ва... Васенька! – сквозь слезы бормотала Маруся.

– Мы найдем их, найдем, вот увидите.

– Приедет завтра мой Ва... ох... Васенька, а у меня и нет ничего...

– Найдем, найдем! А нет, я займу и дам вам. – Тут мама посмотрела меня: – А ты чего так рано? Не стой тут, иди в кухню, ты же видишь...

И тогда я совершила единственный в своей жизни героический поступок. Я вытащила из портфеля белый мешочек и сказала, ни на кого не глядя:

– Это я.

Я уверена была, что сейчас обе они начнут ругать и стыдить меня, и вся сжалась, зная, что это будет ужасно. И это было ужасно, но совсем не так. Маруся вскочила с кровати, бросилась ко мне, прижала меня к себе так сильно, что у меня что-то хрустнуло в спине, и запричитала в голос:

– Слава тебе, господи! Вот они! Нашлись, нашлись! Миленькая ты моя, хорошенькая, золотце ты моё!

Она схватила мешочек, поцеловала его, потом поцеловала меня, потом кинулась к кровати, обняла маму. А мама стояла, смотрела на меня, потом спросила сдавленным голосом:

– Ну как, весело тебе было на вечеринке?

Тут разревелась и я. Стыд просто разрывал меня изнутри – и досада, и обида, и стыд, стыд. Я стояла перед ними, как перед трибуналом, и слезы были единственным моим укрытием.

– Да ладно вам, Тамара Ноевна, – сказала Маруся, улыбаясь всем заплаканным лицом. – Не надо, не ругайте ее. Она же все вернула.

– Я не ругаю, – сказала мама.

А я заревела еще пуще.

– Ну, будет тебе, будет, – приговаривала Маруся, вытирая рукой мои мокрые щеки.

– Я... не все... не все вернула... – я заикалась, но обязана была выговорить до конца. – Я совсем немного взяла... Только в школу... Я хотела обратно забрать... и положить... я ее просила... а она не отдает...

– Сколько? – спросила мама.

– Что – сколько? – Маруся посмотрела на маму с недоумением.

– Сколько? – повторила мама и подошла к столу, где лежала ее сумочка.

Я-то знала, о чем она спрашивает.

– Да я же... я тебе говорила... а ты сказала, у тебя нету...

Мама вынула из сумочки несколько бумажек и протянула их Марусе:

– Вот. Там не хватает, возьмите.

Мама меня обманывала! Говорила, что нету, а у нее было! От этого стало еще горше. Если б знать, что у нее есть, лучше бы я у нее вытащила, все-таки не так стыдно.

Маруся нерешительно взяла бумажки, вопросительно глядя на маму.

– Извините, Маруся. Больше это не повторится, – сказала мама и, не глядя на меня, ушла на кухню.

Я еще долго рыдала у Маруси на плече, а она меня утешала. Говорила, что она на меня не сердится. Говорила, как мы с ее Васенькой пойдем в цирк, а потом есть мороженое. И чтоб я на маму не обижалась, она посердится и перестанет.

И это был конец моей воровской карьеры.

После того как мама обнимала плакавшую Марусю и гладила ее по голове, я думала, что они теперь перестанут не любить друг друга и подружатся. Но этого не произошло.

## СТОРОЖ

Я рассказываю здесь о первом моем столкновении с жестокостью. Взрослых по отношению к детям и детей по отношению ко взрослым.

Я не знаю, которая хуже и страшнее. Пожалуй, вторая пугает больше. Взрослые – люди, уже тронутые жизнью, и жестокость их, не считая прирожденных садистов, чаще всего не органична, а вызывается всевозможными побочными причинами – бедностью, изнеможением, неудачами, обидой на жизнь. Жестокость же детей, невинных ангелов, не зависит от побочных факторов. Ребенок, мне кажется, рождается с этой чистой, беспримесной жестокостью, не замутненной никакими моральными принципами, беззлой и беспричинной. И лишь со временем, под влиянием воспитания и собственного воображения, научается подавлять ее в себе, а очень часто и полностью изгонять из своего обихода.

Про себя, например, я знаю, что мне сейчас в буквальном смысле тяжело муху обидеть (правда, человека легче, но человеку я ведь крылья не обрываю), раздавить таракана, отравить крысу. А между тем в детстве мне ничего не стоило, поймав кузнечика, растрожить пальцами его похожее на стручок тело, чтобы посмотреть, нет ли там внутри горошин. Или разрезать ножницами живую лягушку и с интересом наблюдать, как она корячится в агонии. Или ударить палкой по голове бегущую мимо беременную кошку, ни за что, просто так – и радостно хлопать в ладоши, когда она страшно закричит человеческим голосом.

Но все это изменилось после первого моего столкновения с жестокостью взрослых. Я даже не подозревала, что взрослые могут быть жестоки с детьми. Детей ведь любят? Меня до войны все всегда любили.

Первый чувствительный урок преподала мне Сторож, которую я уже упоминала, воспитательница нашей младшей группы в эвакуированном из Москвы детдоме под Казанью.

Это была женщина средних лет и не очень приглядной наружности. Если бы я умела тогда читать на лицах, я бы много чего могла про нее узнать – что нет мужчины, и скорее всего, и не было никогда, что родные, если есть, давно от нее отделились, что работа, какая бы ни была, всегда не ладится и что с людьми сходиться трудно.

Судя по немногим неправильностям в русском языке, она была местная, татарка. Как она, без соответствующего образования, попала к нам в воспитательницы, я не знаю. Времена были военные, перебирать не приходилось.

Мне она не понравилась с первого взгляда. Мне еще не внушили, что внешность – это не главное, и я любила людей если не обязательно красивых, то благообразных. Я верила, что если человек хорош собой, то он и вообще хороший человек. Дальнейшая моя жизнь в целом подтвердила эту мою уверенность, тем более что «хорош собой» – это мое личное, субъективное понимание.

Сторож не была уродлива, она была в высшей степени неблагообразна. Прозвище приклеилось к ней как-то само собой, кто-то из детей пробормотал при ее приближении: «Вот идет наш сто-

рож», и – все. Иначе мы ее между собой не называли, очень уж кличка ей подходила.

Мы не любили Сторожа, и она отвечала нам тем же стократ. А ведь мы готовы были ее полюбить, прояви она к нам хоть малую толику даже не доброты, простой снисходительности. Все мы тосковали по родительской любви, и ей довольно было бы погладить иногда по голове и ласково назвать по имени. Но нет, она звала нас исключительно по фамилиям, а прикоснуться к ребенку вроде бы брезговала, разве только для того, чтобы дернуть за волосы, за ухо – бить нас по-настоящему она не отваживалась, хотя руки явно чесались.

У нее было множество других способов причинять нам боль. В основном языком, словами. Для этого у нее была простая система. Каждый день она выбирала себе очередную жертву, которую и мучила до самого вечера. Делалось это «для дисциплины», чтобы любой нарушитель знал, что его ждет. Поэтому я, совершив преступление – незаконно отпустив погулять нашего дворового пса Винтика, со страхом ждала следующего утра.

И вот:

– Винер, ты почему не причесалась?

– Я причесывалась...

– Нет, врешь. А надо было причесаться. Тут мамочки нет, некому твои патлы расчесывать. Сама должна.

– Но я же при...

– Продолжаешь врать? Вон как торчат во все стороны! Видно, мамочка твоя знает, какая у нее дочь. Потому и бросила тебя.

– Не бросила! Она меня не бросила! Только недавно приезжала!

– Ну да, приезжала на три дня и опять бросила. Куда это она так поспешно улетела?

Я не знала, что мама пытается вызволить из-под оккупации моего брата, и мне нечего было ответить.

– Видно, не в радость ей быть со своей вруньей-дочкой, вот и улетела. А у других мамы здесь, они своих детей не бросили.

Действительно, некоторые матери жили здесь же, в Чистополе, и навещали своих детей часто.

Я шла причесываться с мучительной мыслью, что мама, может быть, в самом деле меня бросила.

За обедом я не могла доесть отвратительную тыквенную похлебку, которой нас кормили, и сделала, как обычно делали все: вывалила остаток в большую цветочную вазу, стоявшую посреди стола. Так делали все, но Сторож заметила именно меня. Она выдернула меня из-за стола со словами:

– А Винер у нас, оказывается, не голодная. Ну и прекрасно, иди на мертвый час, тебе ведь второго не надо, правда?

– Надо...

На второе обещаны были оладушки из гречневой муки, дивное, редкое блюдо.

– Простите, я больше не буду.

– Простить? Хорошо, прощаю. Иди в спальню.

– Но я хочу...

– Чего ты хочешь? Кушать ты не хочешь, мы уже знаем...

– Хочу...

– Ах, хочешь! Тогда давай достанем обратно твою кашку и кушай на здоровье! Я тебя голодом морить не собираюсь.

Залежи густой похлебки в вазе копились по несколько дней, пока не сгнивали цветы. Протухала и сама каша. Сторож зачерпнула вонючей смеси из вазы и ляпнула мне на тарелку.

– Ну? Что же ты? Ешь!

– Не буду.

– Капризная ты у нас, Винер. Того хочу, этого не хочу... Винер у нас капризуля, правда, дети?

Ребята напряженно смеялись, зная, что каждый может моментально очутиться в подобной ситуации.

– Ну, не будешь, и не надо, – великодушно разрешала Сторож. – Ступай в спальню, и пусть тебе приснится то, чего ты хочешь!

И все опять неуверенно смеялись.

На следующий день избирался кто-нибудь другой – грехов у всех хватало. Но был у Сторожа и постоянный любимчик. Несчастный мальчишка, писавший по ночам в постель. Сторож заявила, что отучит его от постыдного порока, и терзала день за днем.

Каждое утро, убедившись, что это опять случилось, она говорила ему умильным голосом:

– Мы ведь хотим отучиться, правда?

– Хотим, – отвечал преступник, пряча зареванное лицо в подушку.

– Нет-нет, ты лицо не прячь, пусть все дети видят, с кого нельзя брать пример. А теперь скажи, приятно тебе лежать на мокром?

Мальчишка молчал, еще глубже зарываясь в подушку.

– Нет, ты не молчи, а отвечай. Приятно?

– Нет...

– Вот видишь. Самому же неприятно. Поэтому сегодня ты вставать не будешь. Полежи, подумай и осознай, как плохо ты поступаешь.

– Я не нарочно...

– Конечно, конечно. А пока полежи, полежи, подумай.

На следующий день повторялось то же. Мальчишке позволялось вставать только в уборную. Еду ему приносили в постель. От него и от его кровати начинало пахнуть.

Сторож подходила к нему, останавливалась на некотором расстоянии, брезгливо зажимая нос:

– А почему не моешься? Ты же просто воняешь!

– Но вы не велели вставать...

– И мыться я тоже не велела?

– Вы не велели вставать... как же можно мыться...

– А спросить?

И бедняга бежал мыться, пока ему меняли постель.

На этом первая часть программы заканчивалась, чтобы завтра возобновиться в новой модификации.

Мы, разумеется, презирали несчастного. Дразнили его. Изводили всячески, пару раз даже устраивали ему «темную», т. е. заваливали его одеялами и били. Били несильно, нам больше всего нравилось само слово «темная», мы вымещали на нем свой соб-

ственный страх перед позорной слабостью, которая вдруг да постигнет и нас. Могла ведь, мы это знали по опыту.

Прозвище ему было «Сорок Четыре». Номера были у всех нас, для прачечной, но не имели никакого особого значения. И только его номер, 44, приобрел некий сакральный смысл. Где бы ни случилось нам на прогулках встретить это число – номер дома, номер трамвая, ценник в магазине – начинался истерический гогот. Мы выталкивали бедного парня в середину и скакали вокруг него с воплями «Сорок Четыре! Сорок Четыре!». Сторож смотрела на это и улыбалась. Не считала это нарушением дисциплины. А меня до сих пор, как встречу это число, невольно передергивает.

Своего номера я не помню.

Использовался также другой прием. Мокрое белье вместе с матрасом уносили из спальни, и следующую ночь мальчишка спал на голой сетке. Ему было холодно и неудобно, он часто просыпался, успевал сбегать в уборную, и беда не происходила.

– О! – говорила Сторож. – Уже намечаются успехи. Будем и дальше пользоваться этим методом, да, Бродецкий?

Вдобавок ко всему Бродецкий был еврей. Я про себя еще не знала, что я тоже, и издевалась над ним, как все, с ужасом и с восторгом.

Как он выжил, я не знаю. Вряд ли он вырос счастливым человеком.

Жестокость Сторожа нередко имела эротическую окраску. В нашей группе шла бесконечная игра в римских цезарей и рабов, придуманная мальчиком чуть постарше, восьмилетним Илюшей. Сам он был, разумеется, цезарем, а я при нем царицей, что ли. Илюша желал распорядиться мной как своей собственностью, мне это не нравилось, мы часто ссорились и даже дрались. Однажды схватка была особенно ожесточенная, Илюша толкал меня и драл за волосы, я норовила расцарапать ему щеки – подошла Сторож, полюбовалась минутку, затем крикнула грозно: «Винер!» (это всегда была Винер, Илюшин отец был полковником на фронте, его сына Сторож предпочитала не трогать) – и развела нас.

– Посмотри, на что ты похожа, разве хорошие девочки дерутся!

– Да, а чего он! Он первый начал! Прямо сюда меня ка-ак толканет! – и я показала на живот.

– А ну-ка покажи?

– Вот сюда!

– Нет-нет, ты как следует покажи!

– Вот прямо сюда!

– Я сказала, как следует покажи, на теле!

Все смотрели на нее с недоумением. Чего на теле? Зачем на теле? Обыкновенная драка!

– Да чего показывать, там нет ничего.

– Вот мы посмотрим, действительно он тебя ударил или опять врешь.

– Я правда ударил, – сказал Илюша. – И вообще, давай мириться, а? – он протянул мне руку, мы сцепились мизинцами и начали было обычный примирительный ритуал: «Мирись, мирись, и больше не...»

Но сторож оттолкнула его в сторону и приказала мне:

– Раздевайся!

Я стояла, не понимая, что от меня требуется.

Сторож подхватила подол моего платья, задрала его кверху.

– Теперь спускай штаны!

На мне были толстые байковые штаны, доходившие до подмышек. Я приспустила их, показала пальцем на животе, куда Илюша ударил:

– Вот сюда. Но мне уже совсем не больно!

– Врешь! Ты не сюда показывала. Ниже спускай, ниже!

Я спустила чуть ниже.

– Да ты что, глухая? Я сказала, ниже!

И Сторож потянула мои штаны вниз. Я вцепилась в край изо всех сил и тянула кверху. Но Сторож была сильнее. Она рывком сдернула штаны до самых колен и сказала с удовлетворением:

– Вот теперь покажи всем, где у тебя синяк.

Я стояла с голым низом и словно окаменела. Среди зрителей раздалась нерешительные смешки. А Сторож отошла чуть в сторону и со странной улыбкой смотрела то на меня, то на Илюшу. А затем с такой же непонятной злобой бросила:

– Нет у тебя никакого синяка!

И быстро ушла.

Я опомнилась, натянула штаны и страшно расплакалась. Илюша подошел ко мне и сказал:

– Ну, чего реवेशь? Подумаешь, письку голую показала! А то мы не видали никогда! Да хочешь, я тебе свою покажу?

Очень редко, но бывали у Сторожа и добрые минуты. Особенно когда мы занимались рисованием. У нее были, видимо, какие-то художественные наклонности, может быть, даже сама рисовала. Во всяком случае, она показала ребятам постарше, что такое перспектива и как растирать пальцем на бумаге цветное пятно, чтобы получилась гладкая «тень». Рисовали мы, разумеется, карандашами, и от ее наставлений толку было мало. Меня она никогда не поправляла и не наставляла, я ходила у нее в лучших по этой части. Она поднимала мои рисунки всем напоказ и говорила растроганно:

– Юлочка, декоративно! Смотрите, дети, как красиво получается у Юлочки! Вот ведь может, когда захочет!

Это были единственные моменты, когда она называла меня по имени, к тому же ласково. За это я сразу прощала ей всё, и даже имя «Юлочка», которое терпеть не могла. И даже то, что меня иногда так и дразнили – Юлочка декоративно!

А несколько раз она до того раздобрилась, что проводила с нами просветительные беседы.

– Дети, все сюда! – кричала она, обычно как раз во время какой-нибудь особенно увлекательной игры.

Мы делали вид, что не слышим.

– Сюда немедленно! А то плохо будет!

Мы неохотно подтягивались.

– Принесите сюда, – говорила она заговорщицким тоном, – принесите из зала длинное зеленое стуло!

О, это другое дело! Это мы любили! Мы мгновенно притаскивали в комнату «длинное зеленое стуло», то есть длиннейшую зеле-

ного цвета скамейку, и быстро рассаживались на ней. А Сторож ставила напротив нас табуретку и начинала «беседу».

У нее были две любимые темы, и обе, что называется, запретные. Как получилось, что никто из руководства не обращал на это внимания, я не знаю, но ей бы не поздоровилось. И как она сама не боялась? Да вообще, трудно сказать, что творилось в этой смурной голове. То, что она нам плела, должно было бы насторожить любое начальство. Но никто, кроме нас, этого не слышал. А нам нравилось.

Любимые темы ее были – про Бога и про интимные отношения между мужчиной и женщиной. Первое называлось «антирелигиозное воспитание», а второе «половое воспитание».

Что она говорила про Бога, я уже не помню. Помню только, что начинала она всегда с вопроса: есть Бог или нет? А потом шла смесь то ли из евангелий, то ли из Пятикнижья, то ли из апокрифов, то ли из собственных ее фантазий. Все это было бессвязно и непонятно, но мы слушали, как сказку – без начала и конца. Конец, впрочем, был, и всегда один и тот же: «В общем, можно сказать, что Бога нет». Я только это и запомнила.

Зато ее описание секса было таким красочным, что его я не забыла до сих пор.

– Сегодня я расскажу вам, откуда берутся дети, – начала она.

– А мы знаем! – выкрикнуло сразу несколько голосов.

Нас действительно уже просветили ребята из старшей группы.

Сторож пренебрежительно махнула рукой:

– Все, что вы об этом знаете, – некрасиво, неприлично и неправда. Забудьте. Я расскажу вам, как это происходит на самом деле.

Суть ее рассказа такова:

В животе у мужчины есть особый мешочек, и в нем лежат детки – совсем крошечные, не больше мушки, но настоящие, с ручками, с ножками, с головкой. Мешочек очень маленький, и дети в нем не могут расти. А в животе у женщины есть большой мешок, но пустой. Мужчина и женщина целуются, потому что любят друг друга. Затем они ложатся рядом на кровать. Из пупка мужчины начинает выдвигаться такая гибкая трубочка, она растет, растет, изгибается и врастает в пупок женщины. Это, сказала Сторож, называется «прикорняться». И по этой трубочке ребеночек, один, а иногда и два, переходит из живота мужчины в мешок в животе женщины. В этом мешке ребеночек растет девять месяцев, пока не дорастет до нужного размера.

Здесь Сторож слегка замялась.

– И тогда он выходит наружу через пипиську, – подсказал кто-то.

– Не выражайся! – строго одернула подсказчика Сторож. – Новорожденный выходит наружу через предназначенное для этого отверстие.

– Пипиську... – шёпот был еле слышен, и Сторож решила не обращать внимания.

После «беседы» мы долго обсуждали, которое объяснение правильное. Девочки стояли за версию Сторожа, мальчишки предпочитали то, что говорили старшие ребята.

Все эти сносные минуты со Сторожем были так немногочисленны и редки, что от раза к разу забывались, а помнились беско-

нечные дни с настоящим Сторожем, никогда не упускавшим возможности кого-нибудь помучить.

К Илюше приехал на побывку его военный отец. Они уселись в нашей игральной комнате, папа посадил Илюшу на колени, кормил его шоколадом, гладил и целовал. А я ушла в самый дальний угол и краем глаза с тоской смотрела на них.

– Эй! Иди сюда! – Илюша, не слезая с отцовских колен, призывно махал мне рукой.

Ничего мне так не хотелось в эту минуту, как подойти к ним. Но дух противоречия был сильнее меня. Я презрительно дернула плечом и потихоньку пошла прочь из комнаты. Ну да, папа к нему приехал с войны, и он хочет похвастаться им передо мной. А ко мне вот не приехал и не придет никогда. Мой папа герой, он навсегда пропал в безвестях, а Илюшкин сидит здесь, как ни в чем не бывало, вон жирный какой, противный. Пусть Илюшка им перед другими хвастается, а мне он по фигу...

Илюшкин папа и не жирный был, и не противный, наоборот, очень понравился мне своим круглым добрым лицом и пушистым русым чубом на лысеющем темени. Но смотреть на них я больше не могла.

Илюшка соскочил с отцовских колен и побежал за мной.

– Эй, куда пошла? Идем, посмотришь на моего папу, у него знаешь, сколько орденов!

– Да на фиг мне его ордена...

– Идем, идем, дура...

Я упиралась, но не слишком, и он подтащил меня к отцу. Тот обхватил Илюшку одной рукой, а меня другой и прижал к себе так, что я уткнулась носом в стоячий ворот его кителя. От него пахло сложным запахом – и потом, и водкой, и кремом для бритья, и табаком, а все вместе это был запах мужчины, папы. Я вцепилась в его китель и готова была оставаться так всегда. Мне было хорошо так стоять. Но он сделал еще лучше – взял и посадил нас обоих к себе на колени. И спросил сына:

– Это твоя подружка?

– Ну да. Это моя, ну, царица, в смысле цезарица.

Илюшин отец засмеялся:

– От даже как! Тебя как зовут, цезарица сына моего?

От избытка чувств я начала заикаться:

– Ю-ю... Юля!

– И сколько же тебе лет, Ю-юлечка?

– Ше-шесть с половиной...

– Ты моя кошечка... – сказал Илюшин папа и поцеловал меня в затылок.

Илюшка требовал, чтобы отец показал мне свои ордена и медали, а мне ничего было больше не нужно, ни орденов, ни медалей, ничего, только сидеть вот так у него на колени, прижиматься под его рукой к жесткой кительной груди и вдыхать его запах. От моего отца никогда так не пахло, но все равно это был папа, папа! Мой папа тоже называл меня кошечкой, и сажал на колени, и прижимал к себе одной рукой, и целовал в затылок.

Тут в комнату вошла Сторож.

– Винер! – закричала она прямо от двери. – Ты что это делаешь? Кто тебе позволил приставать к чужим папам? Совсем обнаглела! Слезай немедленно!

Илюшин папа встал, держа нас обоих на руках и широко улыбаясь:

– Не ругайте ее, Фаина Назаровна! Она не приставала, ее Илюша позвал. Это наша невеста!

– Невеста? Что еще за фокусы? Эта Винер вечно что-нибудь выдумает. А ну марш в столовую, иначе ляжешь спать без ужина!

Илюшин папа спустил нас обоих на пол, слегка подтолкнул в спины:

– Ну, бегите да ешьте быстрее, и сразу обратно сюда!

– Нет-нет, Илюша может побыть с вами. Я ему оставлю.

– А ей?

– А она пойдет со мной.

Я быстро проглотила ужин и выскочила из-за стола. Сторож была тут как тут:

– Куда это?

– Туда...

– Еще чего! Опять приставать? Какая же ты, Винер, настырная! Человек приехал на один день повидать сына, а ты лезешь!

– Но он сам звал...

– Звал он ее, как же! Не тебя он звал, а сына. Ты еще скажи, что он тебя в дочки звал!

Честно говоря, в глубине души я именно на это и надеялась.

Так она меня и не пустила. А на следующий день Илюшин папа уехал.

Да, мы ненавидели свою воспитательницу и боялись ее. Ночью, в темноте перед сном, мы выдумывали всевозможные жестокие казни для несчастного нашего стража. Мы, впрочем, вовсе не думали, что она несчастная. Несчастные были мы. И когда представился случай сделать ее по-настоящему несчастной, мы воспользовались им с восторгом и злорадством. И я злорадствовала, наверное, больше всех.

В нашей игровой комнате стоял массивный комод с четырьмя ящиками, куда нам полагалось складывать по вечерам разбросанные игрушки и книжки. А высоко над комодом висели настенные часы с маятником и с гирями.

Раз в несколько дней Сторож приносила к комоду стул, взбиралась наверх и подтягивала гири.

Однажды она подошла к комоду без стула и крикнула нам:

– Смотрите, дети, как я хорошо придумала!

Она начала выдвигать ящики один за другим, самый нижний выдвинула наполовину, следующий поменьше, третий еще меньше и верхний совсем немного. Мы подошли посмотреть, что она из этих ящиков будет вынимать. Но она ничего не вынимала, а легко вскарабкалась по выдвинутым ящикам, как по лесенке, на верх комода.

– А? – сказала она, торжествующе глядя на нас сверху вниз.

Реакции она от нас не дождалась, повернулась и начала подтягивать гири. А у нас, явно у нескольких сразу, мелькнула одна и та

же счастливая мысль. Двое мальчишек стали по бокам комода, а Илюшка громко спросил:

– Фаина Назаровна, а как это так, что часы идут безо всякого мотора?

Подводя замешкавшиеся стрелки, Сторож стала объяснять. Мальчишки тем временем быстро и бесшумно задвинули обратно три верхних ящика. Четвертый они задвинуть не успели. Сторож, продолжая свое малопонятное объяснение, занесла назад ногу, нащупывая верхнюю ступеньку. Но ступеньки там не было, тяжелое тело Сторожа качнулось назад, она тонко взвизгнула и, кувыркнувшись в воздухе, шмякнулась ничком на пол, задев носом край нижнего ящика.

Мы ждали и хотели чего-то такого, но не предвидели, что это будет так страшно. Сторож лежала и не шевелилась, из-под ее лица ползла струйка крови.

– Умерла... – прошептала одна из девочек.

Кто-то заплакал. Но тут Сторож подняла голову и сдавленно проговорила:

– Чего стоите? Зовите кого-нибудь.

Сторож пострадала менее серьезно, чем мы боялись – и надеялись. Расквасила нос, разбила локти и колени, сломала два ребра. Дней через десять она уже вернулась на пост. На удивление, никому на нас не пожаловалась, говорила, что просто голова закружилась, потеряла равновесие. К нам она, разумеется, ничуть не подобрела, но начала относиться с некоторой осторожностью. Не ругала нас, никогда не упоминала этого эпизода. И лишь однажды, когда мы мирно сидели за столом и рисовали, а она расхаживала вокруг и наблюдала, я услышала, как она, отвернувшись от нас на минуту, тихо проговорила:

– Жестокие дети. Жестокие, жестокие дети...

## ЖИЗНЬ В ГЕФСИМАНСКОМ САДУ

Паломница-христианка из Финляндии спросила меня:

– Ты веришь в Бога?

– Нет, – сказала я.

– Это ничего. Здесь, где ты живешь, невозможно не поверить. Однажды ты посмотришь в небо и увидишь божьего ангела.

– Да нет, я еврейка...

– Ну и что? Значит, увидишь своего ангела, еврейского. Какая разница. А когда увидишь, напиши мне, хорошо? – она дала мне свой адрес и взяла мой.

Она много лет писала мне, поздравляла с праздниками, и христианскими, и еврейскими, и каждый раз спрашивала, не видела ли я ангела. Я тоже поздравляла ее, но насчет ангела приходилось отвечать отрицательно. Однажды перед Новым годом я получила открытку из Финляндии, но не от нее, а от ее мужа. Он писал, что жена его смертельно больна и поручила ему поздравить меня и спросить про ангела. И я ответила ему, что да, я видела ангела. Очень надеюсь, что он успел передать ей мой ответ.

Там, где мы жили, иной и в самом деле мог поверить. И увидеть ангела. Но только не такая закоренелая безбожница, как я. Ничего не могу поделаться, в моем мироздании нет ни малейшего зазора, ни малейшей щелочки для какой-либо посторонней силы, оно успешно живет само по своим законам и никакого постороннего вмешательства в свой стройный организм не только не требует, но и не потерпит.

Нет, не поверила. И ангела видела только в воображении. Даже сочинила на этой основе целую повесть. Но атмосферу, густо насыщенную многими и многовековыми верованиями, ощущала даже я. Такое это было место.

Гефсиманский сад. Название это прижилось давно, но сада в собственном смысле слова там нет и не было. Была большая оливковая роща, простиравшаяся с отрогов Масличной горы вплоть до стен города Иерусалима. «Гефсимания» произошла от ивритских слов «Гат шманим», что означает «масляный пресс», место, где отжимают оливковое масло. Рощу разрезал поток Кидрон, может быть, в те давние времена он и был потоком.

Это место полюбили люди по имени Иисус Христос, он часто приходил сюда молиться своему еврейскому Богу. А у Бога был намечен для него план, включавший в себя его арест и мучительную смерть на кресте. И Иисус об этом плане знал. После ужина в последнюю ночь перед арестом он вместе со своей дюжиной учеников вышел из города, пересек Кидрон и расположился на ночлег под большой оливой. В какой-то момент ему стало страшно, и он просил Бога, чтобы тот отвел от него предстоящие муки. Но это у него была минутная слабость, в целом же предназначение свое он принимал. Надеялся своей смертью искупить грехи человеческие, очистить людей от скверны. Ну, мы знаем, насколько ему это удалось. Тут его, опознанного Иудой, и взяли, и дальше все по Евангелию. А смерть его вскоре оказалась временной, и это приятно знать, потому что помазанник явно был человек в высшей степени незаурядный.

Позже поперек всей долины Кидрона соорудили как бы мост, широкую прочную насыпь, прорубив в ней для потока небольшой туннель – а ему больше и не надо, чаще всего это просто пересохшая канава, по которой тонким ручейком струятся нечистоты из стоящей на горе арабской деревни, и только зимние дожди превращают его порой в настоящий бурный поток.

Поперек насыпи теперь проходит дорога, ведущая из города, через Кидронскую долину, мимо францисканского Храма Всех Наций, мимо пригородных арабских сел, прямо в Иерихон и к Мертвому морю. А сбоку от этой насыпи, примыкая к ней, стоит небольшая греческая православная церковь и рядом с ней грот с портретом первого христианского мученика святого Стефана, которого, считается, именно здесь побили камнями. В честь него названа и церковь, и ближайšie к ней ворота Старого города, которые, впрочем, имеют и иное, более популярное имя – Львиные.

Церковь была построена предусмотрительным священником отцом Аркадиосом буквально накануне образования государства Израиль. Земля в этих местах дороже золота, а отец Аркадиос как чувствовал, что не век ему пировать под иорданским владычест-

вом. После Шестидневной войны править стали евреи, греческая православная церковь несколько обеднела и начала продавать кое-какие участки из своего огромного территориального запаса на Святой земле.

Аркадиос был спокоен – тот участок, на котором стояла его церковь, евреи тронуть не могли, он знал как их нелюбовь к христианству, так и их трепетное к нему отношение. Свобода вероисповедания, охрана культовых зданий на Святой земле... Лукавому киприоту Аркадиосу это было смешно, но выгодно. Отношения с еврейскими властями у него были самые благополучные.

Новое строительство в этих местах было запрещено. Очень редко городские власти давали на то специальное разрешение. Отец Аркадиос был уверен, что он такое разрешение получит, и начал планировать в обширном саду при церкви постройку ночлежного дома для греческих паломников. На краю сада стоял небольшой заброшенный дом, его предполагалось снести и построить на его месте четырехэтажное современное здание с лифтом и со всеми удобствами. Однако разрешения на четырехэтажное здание он не получил, а только на одноэтажное. А это было ему невыгодно, не стоило трудов и расходов. И он начал этот дом просто сдавать внаймы. Поскольку дом был в самом скверном состоянии, сдавался он, несмотря на замечательное месторасположение, очень дешево.

Вот в этот дом мы с моим будущим мужем Джоном и переселились из моей амидаровской квартиры. Из двух крошечных комнаток – во дворец, где было по хорошей комнате для каждого из нас, большой светлый салон с камином, столовая с выходом в сад, просторная кухня и ванная комната. И это еще не все! У дома была пристройка, и в ней еще три комнатки. Когда-то, еще до возведения церкви, в доме жил сам отец Аркадиос, а в пристройке – три монашки, которые его обслуживали...

Все это было грязное, ветхое, облупленное. Джон своими руками привел дом в порядок. И потом, все почти пятнадцать лет, что мы там прожили, он непрерывно что-то чинил и улучшал, выкраивая часы и минуты от своей киноработы. Он вообще был большой домоустроитель, и мне кажется, он это дело любил не меньше, чем кино. Когда я уходила навсегда из этого дома – уходила уже одна, – внутри все было починено, налажено и устроено. Только бы жить там да жить. Но жить там одна я не могла.

А вдвоем там было чудесно. У нас сложился свой особый мирок, не принадлежавший ни к соседнему христианскому миру, ни к арабскому, который нас окружал, ни даже к недалекому еврейскому. Израильтяне, приезжая к нам в гости, говорили, что чувствуют себя за границей. И это была граница. За границами, которые обозначили вокруг себя мы сами.

Садом занималась я. В саду были два старых сливовых дерева, одно абрикосовое, приносявшее плоды крошечные, но замечательно вкусные, белорозового цвета, и одна яблоня, вообще не дававшая плодов, хотя и цвела. Еще было полужасохшее лимонное дерево, которое, как только я начала его поливать, бурно оживилось и стало снабжать лимонами не только нас, но и всех, кто только соглашался их взять. В остальном сад густо зарос сорняками.

Никогда прежде я не имела дела с растениями, училась методом проб и ошибок. Изредка мне давал советы знакомый армянин из Старого города, по имени Назар.

От обилия садовых и огородных возможностей у меня кружилась голова. Чего только я там не насажала и не насеяла! Посадила десяток кустов роз, один засох, но остальные зацвели на следующий год – и запахи. Но как! Розы, которые я покупала в цветочных магазинах, запаха не имели совсем, и от своих я тоже не ожидала. А они... Когда я подходила к кустам, я словно окуналась в сладкий воздушный компот. Попьешь его легкими – и сразу чувствуешь себя лучше. А срезанные, они, в отличие от магазинных, не стояли сжатыми полубутонами, через день-другой внезапно свешивая свои нерасправленные головки, а неторопливо и величественно разворачивали лепесток за лепестком, постепенно превращаясь в то, что только и следует называть розой.

И все, что я сажала там и сеяла, принималось, росло и плодоносило. Правда, не всегда так, как я планировала. В Голландии я однажды ела редкостно вкусный салат из какой-то незнакомой травки. Травка была очень тонкая, нежная, бледно-зеленая. Я привезла с собой пакет семян и посеяла в своем огороде. Ростки пробились наружу, потянулись вверх, стали наливаясь – и очень быстро превратились в мощные твердые темно-зеленые стебли, полуметровой высоты и прочные, как веревки... Примерно то же произошло с мини-помидорами cherry. Помидорчики эти и у нас продаются, и они действительно небольшого размера, но из Голландии я привезла семена совсем маленьких и очень сладких. Посеяла. Вззошли. Кусты покрылись россыпью крошечных желтеньких цветочков. Кустов было всего пять или шесть, но они раскинули свои плети во все стороны, и завязей на них были сотни. Я заранее глотала слюнки, намечала, как буду их солить и мариновать. Помидорчики росли быстро. Росли и росли, но оставались зелеными. И лишь когда достигли габаритов среднего яблока, они начали слегка розоветь. Видимо, не знали, что им положено быть не больше вишни. А когда совсем покраснели, это были уже большие тяжелые шары. Кусты свои они давно погнули и поломали, лежали прямо на земле. Однако же, как ни странно, были сладкие и вкусные.

У меня и кукуруза росла – ничто не сравнится со вкусом свежесорванного кукурузного початка, – и салат, и лук, однажды я начала было разводить клубнику, получила первый урожай из трех десятков ягод, но потом с кустиками надо было возиться, отсаживать усики, и главное, все время поливать. Внимание мое отвлеклось на другие культуры, и клубника засохла.

А больше всего было у меня в саду винограда. Не мной посаженного и выращенного. Не просто старого, а я бы сказала, старинного. Всего два куста, но огромные, толщиной у основания с хорошее дерево. И плети от них шли такие длинные, что одна обвивала всю внешнюю ограду моего сада, а вторая тянулась от входа в дом, поднималась на крышу, провисала между крышей самого дома и пристройкой и дальше готова была расти, куда я ее поведу. Я и разводила плети в разные стороны, прилаживала на столбики, вешала на веревки... И все это росло, цвело, когда положено, и приносило невероятное количество плодов. Поливки ви-

ноград практически не требовал – я думаю, древние его корни нашли себе влажное питание где-то в глубине. Надо было только подрезать в конце каждой осени... Это настоящее искусство, но я постепенно научилась. И винограда было столько, что, хотя на нем кормились целые стаи птиц, к осени у меня не хватало банок и бутылей для вина и наливок, а гостей приходилось насильно нагружать избытками моих урожаев.

Все мое сельское хозяйство было, как теперь это называют, органическое. То есть я не употребляла никакой химии. Ни искусственных удобрений, ни химических средств для борьбы с насекомыми и птицами. В глубокой компостной яме, куда мы выбрасывали все органические остатки, прело и варилось отличное удобрение. Правда, его надо было ждать по меньшей мере год, но мы никуда не торопились. С насекомыми я старалась бороться с помощью божьих коровок, но их всегда не хватало. Птиц я просто гоняла криком и размахиванием какой-нибудь палкой или тряпкой. И насекомым, и птицам всегда удавалось поживиться в моем саду-огороде, но я ведь не на продажу растила! Нам все равно оставалось достаточно.

Однажды передо мной встала серьезная проблема. Кроты со всей округи прослышали про мой огород, и земля в саду начала покрываться кротиными кучами и выпуклыми зигзагами. Кроты ели все: и корни, и стебли, и плоды, опасность угрожала даже моим драгоценным розам. Знающие люди сказали мне, что единственный способ выжить их – это подогнуть к саду автомобиль, надеть на его выхлопную трубу шланг, воткнуть второй конец шланга в ближайшую кротиную кучу и запустить мотор. Выхлопные газы распространятся по всей системе подземных ходов, и кроты частично перемрут, а другие уйдут навсегда. Убивать кротов мне вовсе не хотелось, но главное затруднение было даже не в этом. Машину к нашему саду подвести вплотную было невозможно – к нему надо было спускаться по двум лестничным пролетам. Этот способ отпадал. Посоветовалась с Назаром, и он предложил другой. Кроты, сказал он, не выносят запаха хрена. Сажай хрен, и они уйдут.

Это мне подходило. И убивать никого не надо, и хрен я очень уважаю. Купила семена, посадила. Семена проросли, вытянулись зеленые хохолки. Кроты тем временем разгуливали, как у себя дома, прокладывали все новые и новые ходы, всюду торчали горки выброшенной ими земли. Съели у меня морковку, свеклу, съели душистый горошек, обычный горох тоже прибрали. Моя собака тщетно пыталась охотиться на них, очень раздражалась от неудач. Я время от времени чуть-чуть разгребала землю у корней, смотрела, как там растет и толстеет мой хрен. Очень уже хотелось поесть холодца со свеженатертым хренком.

И вот настал день. Я наварила мяса, поставила холодец застывать и пошла за хреном. Присела перед грядкой и осторожно потянула зеленый хохол. Он вынулся неожиданно легко. Корня под ним не было. Второй, третий – то же самое. Четвертый, пятый, шестой... Все! Все хреновые корни были аккуратно отгрызены и, видимо, съедены. А все зеленые стебли оставлены элегантно торчащими из земли, так что по виду и не скажешь. И это называется кроты не переносят запаха хрена!

Холодец пришлось есть с покупным. Однако после этого кроты все-таки сильно сократились в числе. Многие, надо думать, перешли от несварения желудка – это надо же сожрать столько чистого, неразбавленного хрена! Поделом им. Некоторые просто ушли. И остальные значительно поумерили свою наглость. Перебрались в дальний, некультивированный угол сада и там скромно грызли корешки диких трав. Лишь изредка какой-нибудь одинокий смельчак прокладывал свой подземный ход к моему огороду, но я безжалостно его труды разрушала, раскапывала и разбрасывала. Так что способ все же сработал. Но хрена я больше не выращивала.

Зато посадила два грецких ореха и три апельсиновых дерева. Про апельсины мне все говорили, что дело гиблое, для них в Иерусалиме зимой слишком холодно, ничего не выйдет. А у меня вышло! И ничего я особенного с ними не делала, только поливала, подрезала и рыхлила землю вокруг. Ну и кормила богатым самодельным компостом. И года через три у меня уже были свои апельсины, несколько штук. А орехи выросли в огромные деревья, затенявшие чуть не полсада.

Наличие просторного жилья и сада позволило мне осуществить давнюю мою мечту – завести собаку. Первая моя собака была худая, длинноногая, с большими коричневыми глазами в рыжих ресницах, и нежного, ласкового характера. Она попала ко мне тощим больным щенком, но я ее выходила, и она стала настоящей собачьей красоткой. Откормить ее, правда, не удалось, но собакам этой породы – салюки, родственники борзых, – классически и положено быть такими, чтобы всегда видны были три ребра. На улице люди упрекали меня, как не стыдно морить голодом такую прекрасную собаку! Моя Ташка смотрела на них своими кроткими глазами, терпеливо сносила бесконечные чужие поглаживания и тихо думала про себя: а не пошли бы вы все!

Благодаря моей собаке я чуть было не сменила все свои малопродуктивные гуманитарные занятия на одно, практическое и коммерческое, сулившее немалые выгоды и к тому же очень меня привлекавшее.

Дело в том, что собаки этой породы как раз входили тогда в моду. «Культурные» салюки имелись в разных странах, а моя Ташка принадлежала к очень редкой разновидности: салюки синайская, бедуинская. Собак-то таких в Синае было немало, бедуины использовали их при выпасе овец, но то были полудикие некормленные звери, безо всяких документов, и чистопородность их была под сомнением. В собачьи клубы их не допускали. Редкость моей Ташки в том и заключалась, что она была третьим поколением синайских салюки с бумагами, то есть и дедушка ее с бабушкой имели подлинные удостоверения личности, и папа с мамой, и она сама тоже. И в собачьем клубе она была полноправным членом. Таких в мире были единицы. И когда мы, с большим трудом, подобрали ей такого же супруга и она родила пятерых щенят, весть об этом разнеслась по всему миру. Я не преувеличиваю! К нам и из Америки приезжали собаководы, и из Голландии, даже из Новой Зеландии – посмотреть на четвертое поколение. И хотели покупать их на развод. И я подумала, а почему бы мне самой за это не

взяться? Собак я очень люблю, а щеночков и подавно. Сад большой, часть его уже отгорожена для щенят, запустим туда для начала парочку, они будут размножаться, я буду за ними ухаживать, а потом мы будем щенков дорого продавать и разбогатеем...

Но тут на моем пути встало непреодолимое препятствие. Я уж не говорю о том, что надо было работать с Джоном над его кинопроектами. И неизвестно было, как отнесется отец Аркадиос к такой собачьей ферме в его церковном саду. Дело было еще и в другом. Я даже с теми щенками, что уже были, никак не могла расстаться. Ну как я отдам моих нежных щеночков в чужие грубые руки, которые запихнут их в ящики, а ящики бросят в грузовой отсек самолета, и там, в холоде, в темноте и тесноте, без воды и пищи, они будут много часов лететь куда-то в Новую Зеландию! Нет, сказала я покупателям, они еще слишком маленькие, пока еще не могу их отдать. Те дожидаться, разумеется, не стали, пожали плечами и ушли.

И потом я еще долго искала и выбирала хороших знакомых людей, которым не страшно доверить любимых собачат.

Двух родившихся первыми, самых больших и здоровых, девочку и мальчика, купила богатая американская женщина, построившая свой дом на территории Израильского Музея, за что обещала оставить музею свою коллекцию картин. Элегантные собачки нужны были ей для украшения сада. Как давняя знакомая Джона, она хотела получить щенков даром, но я не согласилась. Я не очень на нее полагалась. Женщина светская, занятая, поиграет со щеночками, надоест ей, и она их забросит. Поэтому для верности я потребовала с нее платы. Довольно большой. Именно для гарантии. Заплатит деньги – больше будет любить и заботиться. И она действительно полюбила их и заботилась, то есть ее садовник заботился. А она закармливала их объедками со своего жирного стола, особенно тортами, так что они растолстели и несколько потеряли свою элегантность.

Одного мальчика, кроткого и ласкового, как мать, я отдала – разумеется, даром – в семью, где был ребенок-аутист, и тот как прижал собачонка к себе, так и спал с ним, и ел с ним, и ходил с ним гулять, и долго не хотел выпускать его из рук, пока тот не вырос в большого пса.

Четвертая родилась с пупочной грыжей, пришлось делать операцию. Она была маленькая, слабенькая, я к ней особенно привязалась, и она прожила у меня до шести месяцев, пока ее не забрал у меня хозяин ее папаши – ему полагался щенок. Я расставалась с ней в слезах, и она тоже плакала и даже куснула нового хозяина. Но потом, я знаю, прижилась в своем кибуце, поздоровела и даже немного округлилась. А у меня осталась пятая, самая дикая и неласковая – поначалу...

Ну и как бы я расставалась со щенками, если их было бы не пять, а десять? Двадцать? Даже подумать тошно! Так бесславно и накрылся мой многообещающий коммерческий проект.

Мы жили там уединенно, но отнюдь не в полной изоляции. У нас были соседи. Здание церкви только с дороги казалось небольшим, на самом деле ниже уровня дороги в нем было еще три этажа. В каждом этаже имелась прекрасная трехкомнатная квар-

тира, которую поп сдавал. При нас он сдавал эти квартиры евреям, израильтянам, чаще всего молодым парам. И сдавал недорого. Мог бы сдавать куда дороже арабам, но предпочитал съемщиков-евреев. Араб, говорил он, как поселится, так его уже не выгонишь, а там и платить перестанет. А еврей подолгу здесь не живет, чуть оперится – и переселяется поближе к своим. И платит регулярно, а если что, судом пригрозишь – и заплатит.

Жильцы там бывали самые разнообразные, часто менялись, и все – один другого диковиннее. Впрочем, в этом анклавике недиковинных и не водилось, все, вероятно, заслуживали звания маргиналов. И мы, разумеется, в том числе.

Какое-то время там жило целое многодетное семейство ультраортодоксов. Я бы даже сказала – ультра-ультра, из секты так называемых Нетурей Карта, Хранителей Города. Они решили поселиться здесь, во-первых, потому что дешево, а главное – потому что отсюда по субботам близко дойти пешком до Стены плача. А что среди арабов – это их ничуть не смущало, государства Израиль они не признавали, и пока не придет Мессия, не все ли равно, в какой части города жить. Вот эти существовали совсем обособленно, ни с кем не общались. Их дети опасно выглядывали из-за двери, но на улицу никогда не выходили. По дороге шли и ехали арабы, дети смотрели на них с изумлением и тихо шептали отцу: «Гоим... тате, гоим...» Раньше, живя в своем религиозном квартале, они никогда не видели неевреев. Однажды я подошла к их двери и попыталась заговорить с детьми. Они с ужасом отпрянули от меня и захлопнули дверь. Позже мне удалось убедить их, что я еврейка, не гойка, но поговорить с ними, даже у полуоткрытой двери, не удалось: они говорили на идише, иврита почти не знали. Когда у моей собаки появились щеночки, я через их отца, знавшего иврит, пригласила детей посмотреть на зверят, поиграть с ними. Физиономия отца так скривилась от омерзения, что я поспешила сказать – ладно, ладно, не надо.

В другой квартире жил с женой Дэди Цукер, личность в израильской политике, можно сказать, историческая. То есть тогда он еще не был ничем знаменит. Как-то раз он пригласил меня в гости, на чай. Человек десять-двенадцать, все молодежь, сидели вокруг стола и с жаром обсуждали – я долго не могла понять что. Говорили о какой-то тактике и стратегии... Я думала, речь идет о чем-то военном, и хотела потихоньку уйти. Но Дэди остановил меня странным вопросом:

- Скажи, ты арабов ненавидишь?
- Ненавижу? Нет, зачем же, я только хочу, чтоб они оставили нас в покое.
- Ты желаешь нашей стране мира?
- Да ты что? Кто же его не желает!
- Тогда не уходи. Мы сейчас именно это и обсуждаем. Мы все здесь требуем мира.
- Требуете? У кого? У арабов?
- Не надо придуриваться, это слишком серьезно. Мы говорим о том, как его добиться.
- Ну, и как?
- Для этого Израиль должен прекратит оккупацию.

– То есть просто встать и уйти со всех захваченных в Шести-дневной войне территорий? И тогда с нами помирятся? Будет мир?

– Уйти по договоренности с арабами. Необходимо немедленно начать мирные переговоры.

«Добиться мира», «прекратить оккупацию», «немедленно начать мирные переговоры»... Дяди и его друзья были большими энтузиастами борьбы за мир. В очень знакомой мне модификации. И предлагали мне к ним присоединиться. Вскоре они сумели организовать довольно большое движение, которому дали название «Мир сегодня». Но я к нему не присоединилась ни тогда, ни позже. Ох, я, конечно, хотела, жаждала мира нашей стране! И жажду его по сей день. С тех пор мы пережили – сколько? Три, четыре войны, больших и малых... Но «бороться» за него? Мне самое название их движения кажется капризно-инфантильным, в наших условиях оно звучит как требование балованного ребенка – вот хочу мир сегодня, и все тут, вынь да положь! Какая уж там серьезность.

Я к тому времени прожила в Израиле лет семь-восемь, из них половину здесь, в восточном Иерусалиме. В обстановке разбиралась все еще слабо, она оказалась неизмеримо сложнее, чем это виделось когда-то из Москвы. Однако, живя в Восточном Иерусалиме, я завела себе кое-каких арабских знакомых. Ко мне лично они относились вполне дружелюбно, но из разговоров с ними становилось все более и более ясно, что никакого «мира» с Израилем они вовсе не хотят. Они хотят вещи гораздо более простой и, как им казалось, вполне достижимой: чтобы Израиля здесь не было вообще. Не место ему здесь. А евреи пусть уезжают откуда приехали или куда хотят. А которые здесь всегда жили, тех гнать не обязательно, некоторое количество евреев даже полезно. Если захотят, могут тут остаться, жить среди арабов (они тогда только начинали называть себя «палестинцами») – на определенных, разумеется, условиях. И условия эти никаким переговорам не подлежат, на этот предмет в исламе имеется жесткий закон.

Обо всем этом и вообще о настроениях среди арабской молодежи рассказывала мне Ихсен, девушка из большой арабской семьи, жившей с нами по соседству. Даже не по соседству, а чуть ли не над нами. Их лачуга, кое-как собранная из фанеры, старых автомобильных панелей и кусков толя, лепилась прямо на краю обрыва над нашей крышей. Я очень сочувствовала им – дюжина душ в таком тесном жилище, да его и жилищем-то не назовешь... Пока не узнала подоплеку событий. Этот пустой участок земли над нами принадлежал *Вакфу*, мусульманскому религиозному совету. Для охраны этого участка Вакф поставил своего человека, тот слепил себе лачужку, стал ночевать в ней. Потом к нему присоединилась жена. А там он пристроил к своей хижине еще одну такую же, и туда перешли дети. А свой хороший большой дом в Старом городе они сдали внаймы какой-то богатой американской организации. Затем вокруг своих хижин они начали потихоньку возводить капитальные каменные стены. Наметились контуры довольно солидного строения. Внутри его отгородили уголок, оштукатурили, покрасили, пробрили в стене дверь в сторону дороги и устроили там маленькую кафешку для туристов.

Когда стены поднялись почти до двухэтажной высоты, приехал городской инспектор и потребовал стройку снести, поскольку разрешения на нее не было и, сказал он, не будет. Кафе тоже открылось без всякой лицензии. Хозяева требования не выполнили, продолжали строить и продавать кофе. Тогда пришли рабочие из мэрии и развалили стены. Убирать оставили хозяевам.

Все это было еще до нашего вселения. Теперь там стояла все та же расширенная лачуга, но дети оттуда постепенно уходили. Две дочки вышли замуж, старший сын отделился, завел свое дело, женился. И все равно, девять-десять человек в тесной развалюхе... Сильно сочувствовать им я перестала, но соседями они, надо сказать, были хорошими.

Особенно живописен был отец семейства. По рождению он был турок, но давно привык считать себя арабом. А со мной он говорил... по-русски! Ну, вроде как бы говорил, вроде как бы по-русски. Дело в том, что он был страстным любителем русской классической литературы XIX века. Все свое время он проводил лежа где-нибудь в тенечке с русским романом в руках. Ни о чем другом он со мной и говорить не желал, все только Аксаков, да Тургенев, да Толстой... Читал он все это в турецких и арабских переводах, но и по-русски пытался. И все расспрашивал меня, как нынче живут люди в обожаемых им дворянских усадьбах. Сколько я ни толковала ему, что ни усадеб, ни самих дворян в России давно нет, что все знакомое ему по книжкам давно смела революция – он упрямо мотал головой: нет, такое исчезнуть не может. Это ведь идеальный образ жизни. Каждый хотел бы так жить. Русские люди – умные люди, они не могли такое уничтожить. Они сделали революцию, чтобы такая жизнь была у всех. И даже если пока еще не вполне добились этого, то наверняка скоро добьются. Вот колхозы, например, это уже шаг к таким усадьбам. А я, считал он, просто пытаюсь очернить Россию в его глазах, потому что уехала из нее и теперь наверняка жалею...

Английский он тоже знал плохо, не много лучше русского. А иврит еще хуже. Так что разговор у нас получался не очень ясный нам обоим. Его жена вовсе не знала ни иврита, ни английского. Зато старшие их дети знали иврит прекрасно.

...Сразу после окончания Шестидневной войны значительная часть населения захваченного (освобожденного) евреями Восточного Иерусалима восприняла смену власти довольно благожелательно. Особенно христиане – греки, армяне, русские православные, эфиопы, копты – эти рассчитывали, что евреи, из чисто практических соображений, по принципу «разделяй и властвуй», отличат их от общей массы, дадут известные преимущества. Разумно рассуждали. Но и многие мусульмане тоже надеялись на перемены к лучшему, под Иорданием им жилось совсем несладко, мучили нищета и заброшенность.

Израильтяне, увы, этими настроениями воспользоваться не сумели – и даже не захотели. Христиан иерусалимских пренебрежительно от себя отодвинули (с ливанскими маронитами, своими союзниками и соратниками, впоследствии поступили еще подлее и неразумнее), о мусульманах и говорить нечего. Сколько у меня бы-

ло жарких споров на эту тему со многими знакомыми израильтянами! Я всячески доказывала, что, завоевав Восточный Иерусалим военной силой, теперь следует его завоевывать благоустройством и благополучием, привязывать к себе население лучшей жизнью, с которой человеку так трудно расстаться. Еще чего! – говорили мне израильтяне. На все это нужны деньги, а у нас и на своих евреев денег не хватает. Ну и пусть, настаивала я, евреи и подождать могут, а нам надо укреплять свои позиции в Восточном Иерусалиме, пока настроения там благоприятные. Они ведь изменятся быстро. Еще чего! – говорили мне израильтяне. Станем мы разбираться в их настроениях. Сидят тихо, и ладно, а у нас хватает дел поважней.

Трудно теперь сказать, кто был прав в том давнем споре. Настроения там, разумеется, изменились быстро. От ожидания к раздражению, от раздражения к зависти и неприязни, а там и к открытой ненависти. Происходило это прямо у меня на глазах. Однако никто мне теперь не скажет, что было бы, если бы Израиль последовал моим советам, – было ли бы лучше. Возник ли бы там достаточно многочисленный благополучный средний класс, для которого возможность дать детям приличное образование, а потом и нормальную работу перевесила бы смутные национальные упования.

Все это уже позади. Теперь Восточный Иерусалим, нами аннексированный и якобы интегрированный, – это вражеская территория, населенная откровенными врагами. Врагами тем более ожесточенными, что рядом, буквально в двух шагах, люди (евреи) живут именно так, как некогда ожидали и надеялись зажить и они. И то, что малую толику благ (социальное пособие, кое-какая электрификация и канализация) они все же получили, дела не меняет. Слишком мало, слишком поздно.

А тогда, сразу после войны 67-го года, восточные иерусалимцы массами бросились изучать иврит. И христиане, и мусульмане. Сидели в срочно организованных муниципалитетом ульпанах и зубрили. Родственный семитский язык давался им без большого труда, произношение получалось подлинное, ближневосточное, какое у меня никогда не получится.

Вот и старшие дети моих арабских соседей прилично говорили на иврите. Мохаммад, самый старший, даже имел делового партнера израильтянина, открыли вместе два магазина электротоваров, семьями ходили друг к другу в гости. Старших замужних дочек Сюзанн и Манару я уже не застала. Дальше шли Махди и Хамди, высокие стройные парни, оба донельзя занятые сложными предсвадебными переговорами. С ними толком пообщаться не пришлось. Знаю только, что оба представляли собой идеальный материал для будущего яростного, агрессивного протеста против израильской оккупации: оба, еще подростками, встретили ее с неясными надеждами, оба получили кое-какое образование, оба по профессии (бухгалтер и лаборант-химик) работы найти не могли, нанимались на стройки к израильтянам, которых чем дальше, тем больше ненавидели. Еще была сестра, на год моложе Ихсен, не помню имени, с ней тоже не было отношений. Были с младшими, Вошди, Ихсен и Эйзо.

Однажды вечером, уже в темноте, я возвращалась домой из города. Автобус довез меня до музея Рокфеллера, а дальше я по-

шла пешком. Джон много раз просил меня не ходить здесь по вечерам одной, брать такси. Финансовые обстоятельства наши в тот момент были довольно стесненные, на такси денег было жалко, да и просто мне хотелось после суеты и шума еврейского города пройтись пешком в одиночестве и тишине. Я спускалась по дороге вдоль стены Старого города, кругом не было ни души, только машины изредка шуршали мимо. Вниз идти было легко, иерусалимская вечерняя прохлада приятна была после жаркого дня. Я подходила к повороту на Львиные ворота, вдалеке уже поднимался из Кидронской долины купол нашей церкви с крестом. И тут из-за поворота вывалилась навстречу мне целая орава арабских мальчишек. Небольших мальчишек, лет от десяти до четырнадцати. Я остановилась, переждала, пока они пройдут мимо, и отправилась дальше. И сразу почувствовала, что они тихо идут за мной.

Ладно, мальчишки ведь, маленькие. Что они могут мне сделать. Я прибавила шагу. Они не отставали. Один из них дернул меня за рукав и сказал:

– Доллар.

Я не глядя оттолкнула его и рявкнула на иврите:

– Отвали!

– Доллар, доллар! Шекель, доллар, шекель, доллар! – понеслись разноголосые вопли.

Я прибавила шагу.

– You want husband? Husband! You want? – в меня вцепилось сразу несколько маленьких рук.

Мне все еще было смешно: эти клопы лезут к пожилой бабе, в «мужья» себя, видите ли, предлагают!

– You want fuck? Husband fuck? You want?

Я стряхнула их и почти побежала. Мимо проезжала машина. Я крикнула, машина притормозила слегка – и покатила дальше. Один из мальчишек вскочил мне на спину, другие хватили за бока, за зад, за ноги. Я наконец поняла, что надо отбиваться всерьез. Двинула локтем прямо в лицо сидевшему у меня на спине, он завопил и свалился наземь. Засадила ногой в промежность самому большому парню, норовившему схватить меня за грудь. Еще одного поймала за волосы и рванула что было сил. Наотмашь колотила во все стороны, по носам, по зубам, по чему придется. От этого стало только хуже. Теперь они уже не играли, разозлились по-настоящему. Облепили меня вплотную и старались свалить на землю. Я не могла сделать ни шагу, держалась на ногах из последних сил. Помощи ждать было неоткуда.

Убить не убьют, но избить и изнасиловать могут запросто. Какой идиотизм, в трех шагах от дома. И тут, сама не знаю, как мне это пришло в голову, я заорала:

– Вошди!

Соседскому парню было лет пятнадцать-шестнадцать, он мог быть для них авторитетом.

И впрямь. Кое-кто сразу отстал, другие заколебались.

– Вошди, Вошди! Сюда!

Вошди не мог меня услышать, но его имя подействовало магически. Мальчишки отступили от меня, постояли нерешительно и вдруг как дернули прочь! И я благополучно вернулась домой.

При случае я рассказала Вошди, как его имя спасло меня. Он согнал с лица довольную улыбку и сказал сурово:

– А нечего тебе по ночам ходить здесь одной!

– Потому что я израильтянка?

– Потому что ты женщина. Если женщина идет ночью одна, это значит, что она ищет, кто бы ее...

– Только так? А с другими целями она ходить не может?

– Нет, – твердо сказал Вошди.

Эйзо был еще маленький, лет девяти, на меня смотрел с открытым ртом, не очень понимая, кто и что я такое. Никакого языка общего у нас с ним не было. Однажды я дала ему несколько шекелей, сказала – на мороженое. Он убежал, а минут через пятнадцать вернулся, протянул мне грязную лапку с мятым вафельным рожком. Мороженое в нем слегка обтаяло, но было явно нетронуто. Это тебе, тебе, сказала я. Он взял далеко не сразу.

С Вошди мы поначалу еще общались на иврите, но года через два-три он от иврита полностью отказался. Прямо сказал мне, что не понимает и не хочет понимать. Перешел на плохой английский.

Самые близкие отношения у меня сложились с Ихсен, которую я застала четырнадцатилетней девчонкой. Ихсен вроде бы искренне привязалась ко мне, называла меня своим другом, рассказывала мне свои секреты. Говорить она хотела исключительно по-английски, иврита почти не знала, но не только поэтому. По окончании школы она собиралась поступить в учительский колледж, а затем преподавать английский язык в школе, вот и упражнялась в разговорах со мной. Сперва это была живая, открытая, любознательная девочка, мне очень нравилась. Охотно ходила со мной в еврейскую часть Иерусалима, с любопытством расспрашивала, как живут израильтяне, что едят, какой мебелью обставляют свои квартиры, что читают, какие фильмы смотрят. Однажды сказала мне даже, что хотела бы быть, как они. Через два-три года она бы уже не только не сказала такого, но была бы глубоко оскорблена, если бы я ей напомнила.

К концу школы Ихсен обмотала голову платком. Я спросила, зачем.

– Так нас учат, – сказала она. – Арабская девушка должна выглядеть скромно и прилично.

– Где учат, в школе?

– Ну-у, какое там в школе. В школе за всем следят израильтяне. Нет, в кружке.

– В кружке?

Выяснилось, что после школы она ходит на групповое чтение Корана, которое проводит особый «наставник».

– Что же, это хорошее занятие, – сказала я. – Свои священные книги надо знать.

С некоторым стыдом должна признаться, что в общении с Ихсен я часто лукавила – нет, не врал, просто не говорила всего, что думала. Или прикидывалась глупее и непонятливее, чем была. А она с простодушным жаром просвещала меня.

– Не книги, а книгу, – поправила меня Ихсен. – Одну. Для наших целей этого достаточно.

– Для каких же целей?

– А вот, – сказала Ихсен и с расстановкой проговорила, видимо, заученное наизусть: – Каждый мусульманин должен прочитать Коран от начала до конца. Ибо сказано: когда все мусульмане прочитают Коран от начала до конца, начнется тотальная священная война, Джихад.

– Кого с кем?

Ихсен нетерпеливо махнула рукой:

– Мусульман с неверными. В этой войне ислам победит. Все страны ислама объединятся в Халифат. В него войдет и Палестина. Оставшиеся в живых неверные либо примут ислам, либо заключат с мусульманами договор *Зимма*. На земле воцарится самое справедливое...

– Стой, стой. Неверные – это кто?

– Как кто? Евреи, христиане, ну... евреи, христиане и всякие другие...

– И буддисты?

– Буддисты? И буддисты... наверное.

– Итак, священная война. И вы победите. А со мной что ты сделаешь, Ихсен? Убьешь?

– С тобой? Но почему же – убьешь. Я тебя люблю и убивать не хочу.

– А я ведь ислам не приму.

– Жаль, конечно, но ничего. Может, еще и передумаешь. Ты ведь сражаться с нами не будешь, правда? Главное, чтобы ты не шла против нас с оружием в руках. Тогда останешься жить с нами, войдешь в Зимму. Будешь жить почти как раньше.

И тут Ихсен растолковала мне это незнакомое понятие, Зимма. Позже я переводила целую толстую книгу на эту тему и убедилась, что Ихсен четко разбиралась в тонкостях этой старинной системы. Их обучал этому «наставник». Вкратце, система состояла в следующем. Как диктовалось сводом коранических законов, *Шари'а*, мусульмане – в одностороннем порядке – заключали с живущими в их среде неверными, то есть евреями и христианами, некий договор о покровительстве и защите их от внешних врагов. Этот договор и назывался Зимма. Неверные становились подзащитными, покровительствуемыми, *зимми*. У зимми были известные права, в основном право на жизнь. Им оставлялось также право исповедовать свою религию. Дальше шли многочисленные ограничения и обязанности, в разные времена и в разных странах несколько различные, но все унижительные и болезненные. Неизменным и повсеместным было одно: подушная подать, *джизья*. И это не был просто денежный налог, уплата его должна была сопровождаться специальной ежегодной церемонией. Сборщик налогов сидел на возвышении, плательщик, униженно согнувшись, подползал к нему и протягивал положенные деньги. Сборщик отвечивал ему тупой стороной кинжала удар по голове – чтоб не забывал, кто он, – и милостиво принимал дань. Разнообразие унижительных ограничений и стеснений было бесконечное. Жить, понятное дело, положено было в особых кварталах. Одеваться особым образом, никогда не используя зеленых тканей. (Кое-где даже требовалось носить туфли разного цвета, да еще с колокольчиками, чтобы издали

было слышно.) Не ездить на лошадях, а только на ослах, и не верхом, а боком, по-женски. Не строить жилищ и храмов выше мусульманских. Разумеется, не занимать никаких государственных и военных постов. И еще много, много всякого. С особенным удовлетворением моя добродушная подруга Ихсен упомянула такое небольшое правило: если путь лежит обок грязной лужи, то зимми, встретившись с мусульманином, обязан дать ему дорогу, ступив прямо в грязь.

– Значит, если мы с тобой встретимся подле лужи, ты меня в нее столкнешь?

– Ну зачем столкну, – серьезно возразила Ихсен. – Ты сама сойдешь с моего пути.

– В лужу?

– Да, если больше некуда.

История взаимоотношений ислама с немусульманами, оказавшимися под их владычеством, – предмет сложный и запутанный, затемненный веками умолчаний и искажений. Не мне и не здесь вдаваться в эту тяжелую тему. Я хочу отметить сейчас только два момента, которые кажутся мне особенно важными.

Первый: арабские чувства.

Столько веков евреи (и христиане, но с ними ситуация радикально изменилась в XIX веке) принадлежали к презираемой, подчиненной, приниженной категории населения, слабо защищенной законом, ненужной и нежелательной, только что терпимой. Мусульманин-араб, любой, самый ничтожный, чувствовал себя неизмеримо выше любого самого богатого и ученого зимми – и имел на то все основания, утвержденные в шариате. И вот теперь он вынужден не просто терпеть этих жалких зимми на своей земле, но и подчиняться их законам, сносить от них военные поражения, глотать оскорбления своей чести на каждом шагу. И завидовать им! Быть слабее их! Мир? Какой мир, кроме того, какой допускает и обуславливает Зимма, может быть с этими презренными гяурами, обманным путем завладевшими землей ислама в Палестине?

Разумеется, я намеренно заостряю и упрощаю арабский подход к делу. В действительности все гораздо сложнее и неоднозначнее. Не везде и не всегда все делалось точно «по книге». Не все евреи и не всегда были запуганными и презренными – на протяжении веков они научились приспособливаться к жестоким законам и даже обходить их. Кое-кому удавалось и разбогатеть, и занять высокое государственное положение (это, впрочем, редко кончалось добром). Кое-кто, вероятно, и с соседями своими мусульманскими дружил.

Но я говорю сейчас об арабских чувствах в целом, как я их наблюдала своими глазами. Чем дольше я общалась с моей подругой Ихсен, с ее братом Вошди, и с подростком Эйзо, и даже со старшим их братом Мохаммадом, совсем, казалось, вошедшим в израильскую жизнь, тем отчетливее я создавала, что эти чувства живут в них, оживают, усиливаются с каждым годом. Зимма становилась для них не отмершей деталью прошлого, а живой программой на будущее. Параллельно шел процесс их «фундаментализации». Вот уже все семейство, включая мать, ходило на чтения Ко-

рана к «наставнику». Все семейство теперь строго постилось в Рамадан – а раньше Ихсен, приходя в дни этого праздника ко мне в гости, спокойно пила и ела. Все его женщины обмотали головы платками. Все мужчины начали ходить по пятницам молиться в мечеть Аль-Акса – раньше это делал только отец. И вот я дождалась – однажды, в разговоре со взрослым уже Вошди, на мое недоуменное восклицание: да чего же вы от нас хотите? – парень ответил мне спокойно: ничего. Просто чтобы вас здесь не было. Со всем. А ведь этот же Вошди еще дважды защищал меня, и не только именем.

Это арабский, «палестинский» взгляд на проблему. В основном эмоциональный. И он меня теперь ничуть не удивляет.

Гораздо больше меня удивляют мои соплеменники-евреи, мои сограждане-израильтяне. И это второй момент, который кажется мне особенно важным. Полное незнание – или высокомерное игнорирование? – всего, о чем я сейчас говорила.

Вроде бы рациональная публика, евреи. Они ведут себя так, словно о Зимме никогда не слышали и ничего не знают. И ведь в самом деле не знают! Ни один из знакомых израильтян, которых я спрашивала об этом, не слышал даже такого слова. Даже восточные евреи, выходцы из арабских стран, жившие там, в сущности, по правилам этого контракта (официально Зимма к первой трети XX века была почти везде отменена), вспоминают только о том, какая прекрасная там у них была жизнь, какие чудные отношения с соседями-мусульманами, как добры были к ним власти. Просто непонятно становится, чего их понесло оттуда.

Нет, ничего не знают об этом израильтяне. И откуда им знать? Мало кто из них жил в тесном соседстве с палестинцами, а если и жил, то не дал себе труда порасспрашивать тех как следует. Борцы за мир, вроде моего соседа Дэди Цукера, вполне имели такую возможность, но ограничивались в своих беседах с палестинцами обменом красивыми сочувственными словами о палестинских страданиях, об израильской вине и о том, как теперь эту вину искупить – и завоевать мир и дружбу. Книги на эту тему в библиотеках имеются, но знают о них и читают их только специалисты-арабисты. (Мне просто повезло, что дали переводить такую книжку на русский. Но что-то я не видела, чтобы из наших «русских» кто-нибудь ее читал.) Средства массовой информации глухо об этом молчат. За все сорок с лишним лет, что я слушаю Решет Бет, второй канал израильского радио, слово Зимма не прозвучало там ни разу. Правда, не знаю, может на других каналах? Может, по телевизору, который я смотрю мало? Не знаю, не знаю. Но сильно сомневаюсь.

Знаю я одно. Рассуждая о причинах конфликта и о путях его решения, большинство израильтян говорят о религиозной непримиримости, о территориальных претензиях – справедливо говорят. Но при этом не принимают во внимание простейший и важнейший фактор – человеческую природу. Трудно себе представить, что уважающий себя человек (в данном случае араб-палестинец) по собственной воле захочет и в состоянии будет заключать мир с существом, которое на протяжении столетий было подчиненным, презируемым и жалким (в данном случае еврей-израильтянин). Да и просто терпеть его в своей среде или рядом на условиях иных,

нежели описанные выше. То есть нет, на какое-то время сможет, согласится. Не на мир, но на перемирие. Джихад (еще одно понятие, большинству израильтян толком неизвестное) допускает временный отход с тем, чтобы набраться сил, укрепить свои позиции и возобновить борьбу с лучшими шансами на победу. Отступление на какое-то время.

Ну а нам только того и надо. Время! Господне обещание – вещь, конечно, ценная, но как-то мало пока что помогает. Поможет только время. Только время, я считаю, сможет ликвидировать этот неразрешимый конфликт. Не «решить» – решить его, по-моему, невозможно, а именно ликвидировать. Затереть, замазать, затушевать, загладить, зарастить... Может быть, просто привыкнуть. И любое перемирие, любое временное отступление джихада нам на руку. Процесс будет долгий, медленный и мучительный. Хватит ли у нас терпения и сил? Да и так ли оно все будет? Или это только мои мечты?

Тут я забралась в такие дебри, откуда лишь моя полная политическая безответственность позволит мне выбраться. Я ведь хотела всего лишь рассказать о нашей с мужем жизни в блаженной Гефсимании.

Так вот. Чтобы закончить о моих арабских соседях.

Как я уже говорила, хорошие были соседи. Однажды, когда мы оба были за границей, в доме жил наш приятель Слава Курилов (этот человек сам заслуживает многих страниц, но не сейчас). К нему пришла в гости его знакомая, только что покинутая своим возлюбленным. Как рассказывал нам позже Слава, женщина была в дикой истерике, каталась по траве в саду, рвала на себе волосы, выла, рыдала, выкрикивала проклятия изменщику. Слава не знал, что делать, как ее успокоить. И тут в сад ворвались двое арабских юношей с палками в руках, явно готовых к жестким действиям. Быстро выяснилось, что это мои соседи Хамди и Вошди – услышали жуткие крики, решили, что меня убивают, и прибежали спасать. Слава объяснился с ними, поблагодарил за заботу – и было за что, истерику как рукой сняло – и парни ушли. Я их тоже потом благодарила.

Были и другие похожие случаи. Пришел как-то раз мой любимчик Вошди и предупредил меня, чтобы завтра я не ходила в Старый город, а дома чтоб закрыла все окна и двери и забрала внутрь собаку. Почему?

– Завтра будет большая заваруха, много стрельбы и слезоточивого газа, – хмуро объявил он.

Шла первая интифада, палестинское активное движение протеста против израильской оккупации. Поскольку наш дом находился практически под стенами Старого города, запах газа уже не раз долетал до моего сада, но чувствовался не очень сильно.

– Завтра будет гораздо больше, чем раньше, – сказал Вошди. – Закройся поплотнее, приготовь мокрую тряпку или луковцу.

И ушел, ничего толком не объяснив.

Мне бы надо было немедленно звонить в полицию, в муниципалитет, не знаю куда, спросить, сообщить... Но я была абсолютно уверена, что наши силы безопасности осведомлены уж конечно не

хуже меня. И напрасно была уверена. То, что произошло в Старом городе на следующее утро, явно оказалось для них неожиданно. Не помню точно, какой это был день, помню только, что у Стены плача было особенно много молящихся. И в какой-то момент сверху, со стены, на них повалился град камней, доски, бревна, бутылки с зажигательной смесью. Результат был такой, что спохватившиеся наконец солдатики погранохраны и полиция начали разгонять засевших на Храмовой горе палестинцев, сперва газом, а потом и стрелять, и несколько человек подстрелили насмерть. Скандал был, как всегда, на весь мир. У меня даже в запертом доме щипало в глазах и в горле, собака тоже начала чихать и кашлять, но я дала ей понюхать разрезанную луковицу и сама нюхала, а потом все кончилось, и газ уплыл. И подумать только, что всего этого могло бы не произойти, если бы я не постеснялась позвонить и спросить...

А ведь мне и до этого становились известны кое-какие враждебные замыслы – Ихсен рассказывала мне о них с наивной гордостью. Но я всегда твердо полагалась на бдительность наших разведорганов и никому ничего не говорила. А после этого события решила просто не позволять ей болтать, о чем не следует. Это могло оказаться опасно и для нее, и для меня.

Но она и сама постепенно становилась несколько осторожнее. Меньше рассказывала мне о планах. Зато решила обучать меня арабскому языку. Она к тому времени уже почти стала учительницей и учила меня прилежно и педантично. Увы, я таким же прилежанием не отличалась, да и не всегда находилось время для домашних заданий. Кроме того, мы с ней решительно расходились в методике. Я хотела просто поскорей научиться разговаривать и требовала от нее устных бесед. А она намерена была последовательно и правильно научить меня литературному языку, который сильно отличается от разговорного. И твердо стояла на своем. Прежде всего начала учить меня писать и читать. У меня до сих пор лежат где-то мои тетрадки с арабскими прописями – как-то раз я посмотрела на них и не могла поверить своим глазам. Неужели эту изящную вязь сотворила моя рука? И там действительно написано что-то – совершенно теперь непонятное? Да, от всех уроков осталось всего ничего, три-четыре слова да неуверенный арабский счет до десяти.

Обе мы скоро охладели к занятиям. Я – потому что тяжело заболел Джон. А Ихсен – по причине романтического характера. У нее был любимый человек, из-за которого она, старая дева двадцати трех лет, не поддавалась требованиям семьи, не выходила замуж. Дело в том, что любимый человек сидел в тюрьме. За подготовку теракта. То есть был настоящий герой, и Ихсен поклялась его дожидаться. Писала ему письма, ездила навещать в безрешевской тюрьме, после чего отец запер ее в доме на неделю. Ждать надо было около десяти лет, к тому времени Ихсен перевалило бы за тридцать, но, говорила она мне, я лучше умру, чем выйду за другого. И отказывалась от сватавшихся мужиков, а были среди них совсем недурные! Настоящий роман, притом довольно-таки мрачный, ибо отец уже готов был насильно выдать неразумную дочь замуж за богатого старого вдовца. Но до этого не дошло.

Я не следила за развитием этих событий, все они стали мне глубоко безразличны.

Закончились мои счастливые годы в Гефсимании. Я похоронила Джона.

Соседи-арабы пришли выразить свое соболезнование. Джона они очень уважали, упорно считая его американцем, хотя я объясняла, что голландец, просто долго жил в Америке. Я подозреваю, что и на меня, еврейку и израильтянку, падал некий отблеск этого высокого достоинства...

И тут Ихсен смущенно сообщила мне, что замуж все-таки выходит. За молодого, удачливого и красивого бизнесмена из Рамаллы.

– А! – я тоже почему-то смутилась. – А как же...

– Он написал мне, что освобождает меня от моего слова... Он добрый и все понимает...

– Ну да, ну да, прекрасно... Поздравляю тебя...

Приходили и другие соседи, а также и не соседи. Я, неверующая вдова мужа-нееврея, блюла еврейский обычай, сидела ритуальную поминальную неделю. Пришли и Памела с Рут, еще один диковинный феномен среди многих, которые сменялись у нас по соседству. Пришли совершить христианское благое деяние, помыть у меня пол.

Памела была англичанка, в оригинале англиканка, которая перебрала три или четыре иные христианские конфессии, затем успела даже еврейкой побывать, но в конце концов все же вернулась в лоно церкви, на сей раз греко-православной. А Рут родилась в Иерусалиме в семье раввина. Как и где они встретились, я не знаю, но Рут к тому времени тоже была уже православной. Женщины подружились, стали жить вместе. Многие подозревали гомосексуальную связь, но я так не думаю. Связь там была скорее духовная, хотя для меня загадочная. Какое-то время они жили в квартирке при самой церкви, были как бы служительницами. Впрочем, кроме уборки иногда и зажигания свечей по праздникам, делать им было практически нечего, церковь была действующей не более двух-трех раз в год, когда отец Аркадиос венчал какую-нибудь особо ревностную пару с Кипра. И ко мне, и к Джону обе относились со снисходительным презрением – за наше общее пристрастие к Израилю. Сами они евреев и их государство вроде бы терпеть не могли, однако покидать его и не думали, а позже вообще переселились в западную, еврейскую часть Иерусалима, где Памела в недолгую бытность свою еврейкой успела купить квартиру. Там я их и видела в последний раз.

Дэди Цукер утешать меня не пришел. Видимо, сердился на меня за мою политическую неангажированность.

Перед тем как я ушла навсегда из Гефсимании, нас с братом пригласили на помолвку Ихсен. Помолвка происходила в доме Мохаммада, была многолюдная и богатая. Я лишний раз убедилась, что мой сосед-турок, обитатель уродливой развалюхи и любитель русской классической литературы, был человек весьма состоятельный и оборотистый. Молодой бизнесмен из Рамаллы присва-

тался к Ихсен не только за ее личные качества. Да и Мохаммад за эти годы порядочно оброс жирком, в прямом и переносном смысле. Он давно расстался со своим израильским партнером, владел двумя магазинами электротоваров и, как он сказал мне с довольным смешком, в состоянии будет послать детей в университет в Дамаск или в Каир (в свете текущих событий в обоих этих городах, надеюсь, что дети его благополучно отучились и вовремя убрались оттуда).

Еда была замечательно вкусная. Сладости, как всегда, несъедобные. Вина, разумеется, не было – они стали совсем строгими магометанами. Ихсен, стройная, нарядная и сильно раскрашенная, сияла от счастья. Ее жених, пухлощекий молодой человек с очень красными губами и очень черными глазами, в хорошо сшитом костюме-тройке с модным галстуком, выглядел как картинка из арабского глянцевого журнала. Хамди и Махди, уже почтенные отцы семейств, рады были за сестру, но на жениха смотрели без особого энтузиазма. А Вошди, покровитель мой Вошди, выросший в настоящего красавца, сказал мне тихонько, незаметно:

– Эх, на кого она променяла...

Я видела их всех в последний раз.

Впрочем, нет, Ихсен я видела еще раз. По телевизору. Если бы ее не назвали, не уверена, что узнала бы. Она сильно расплылась, черты лица огрубели, открытая улыбка превратилась в знающую усмешку. Ихсен участвовала в совместном израильско-палестинском женском ралли на джипах по пустыне. И что бы оно значило, это ее участие? Она, непримиримая солдатка джихада, теперь тоже стала – борец за мир и дружбу? Или просто захотелось покататься на джипе в вольном женском обществе? Отдохнуть от мужа, хозяйства и детей?

Уйдя из Гефсимании двадцать с лишним лет назад, я очень долго туда не возвращалась. Не хотела воспоминаний, не хотела сожалений, не хотела ностальгии. Но однажды все же пришлось – хорошие гости очень просили показать, где я жила.

Огорчение оказалось даже острее, чем я ожидала. Никого из прежних жильцов там, разумеется, не было. Отец Аркадиос ушел в лучший мир. Вместо взбалмошных Памелы и Рут охраняла церковь совсем уж дикая гречанка Мария, осатаневшая от отсутствия мужского общества. В нашем доме никто не жил, он снова опустился до прежнего своего трущобного состояния. Мария превратила его в склад негодной хозяйственной утвари и электроприборов. Я заглянула в окно – внутри громоздились холодильники без дверей, стиральные машины с вываливающимися внутренностями, древние телевизоры с разбитыми экранами, безногие стулья, пятнистые матрасы...

Но хуже всего был сад.

Ах, лучше бы я туда не ходила, лучше бы я этого не видела. Сохранила бы мой любимый сад в целостности и сохранности, с зеленой газонной лужайкой, с душистыми розами, с разросшимися апельсиновыми деревьями! Я даже и рассказывать не хочу, что случилось с моим садом. С моим Гефсиманским садом.

*Лорина Дылова*

## *ЗАСТЫЛА ЖИЗНЬ МЕНЯ ВРАСТЛОХ.*

\* \* \*

Была  
младенцем – девочкой – красоткой –  
прекрасной дамой –  
сумасбродной тёткой –  
старушкой (безобиднейшим опёнком) –  
и в заключение –  
истинным ребёнком.

\* \* \*

Ну что же, начнём наобум, наугад:  
Ты будешь мне друг или, может быть, брат,  
А может быть, от одиночества средство.  
Зачем? Чтобы дни веселее текли,  
И чтобы огни не манили вдали,  
Чтоб было душе на кого опереться.

Давай-ка и я тебе буду сестрой:  
Герой, он ведь тоже порой не герой –  
А рядом душа обитает живая.  
Забудут, обидят – а ты не один.  
Начнем наугад, а потом поглядим,  
Куда заведет нас кривая.

\* \* \*

Выходит, выхода и нет?  
Выходит, только вход?  
Но хуже было бы, мой свет,  
Когда б – наоборот.  
Мы никогда бы не вошли  
В сей мир, в сей день, в сей час,  
Друг друга мы бы не нашли –  
Всё было б не про нас:  
Ни радость, ни восторг, ни пыл  
И ни мельканье лет.  
Но вход – он, слава Богу, был,  
Пусть выхода и нет.

## ХМЕЛЬ

Полынный сон хмельной,  
Сирень, лаванда, крокус...  
Жизнь – фокус затяжной,  
И наша встреча – фокус.

Щеголеватый мак  
И взгляд его горящий...  
Могущественный Маг  
Достал волшебный ящик –

И... снова хитрый трюк  
(разгадка неизвестна),  
А сердце, сделав круг,  
Становится на место.

\* \* \*

Не хуже, не лучше, а именно так  
Скроилась судьба моя. Стёжки-застёжки.  
Портной, он, конечно, умелец-мастак,  
Но спьяну, видать, напортачил немножко.

Теперь недоволен и вечно ворчит:  
Не так застегнула, небрежно надела.  
Но как ни посмотришь, а платье морщит,  
И я, если честно, другое хотела.

Ах, Боже, какой старомодный фасон –  
Наверное, из позапрошлого века:  
Воланы, туманы, романы, шифон.  
Как можно в такое одеть человека?

И снова бегу я к нему: перешей!  
Меня сумасшедшей повсюду считают.  
А он улыбается – рот до ушей –  
И лишь голову седую мотает.

## УТЕШИТЕЛЬНОЕ

Шебуршанье, копошенье, мельтешенье  
Муравьев, букашек и жучков –  
Для чего оно? Для утешенья  
Разных безутешных дурачков.

Ты подумай, даже малые букашки  
Делают ошибки и промашки,  
Всё у них не так: то дождь, то снег.  
Но шуруют, лап не опускают,  
Разные ненужности таскают.  
Ну а ты, голубчик, – человек!

Так вперёд! И ничего, что в горку.  
Барахло таскай в свою каморку,  
Повторяй, что горе не беда.  
Твёрдо топай по своей дорожке,  
Чтоб сказали муравьи и мошки,  
Глядя на тебя: – Вот это да!

\* \* \*

Время меня через жизнь волокно,  
Сквозь тупики и заторы.  
Рушились стены, звенело стекло,  
Падали горы.

Это и есть, вопрошала я, жизнь?  
Не было, мол, уговора!  
Ещё, отвечают, чуть-чуть продержись,  
Теперь уже скоро.

\* \* \*

«Ох уж это человеческое племя!» –  
Бормотало, причитало время,  
Проходя сквозь комнаты устало, –  
Это нас оно, наверное, искало.  
Нам, беспечным, объяснить хотело,  
Что скрываться от него – пустое дело,  
Прятаться, рядиться, молодиться –  
Никуда, мол, это не годится.

Мы-то думали, в квартире ветер бродит  
Залетел – и что-то ищет, не находит,  
Треплет бахрому у абажура,  
С занавесками заводит шуры-муры.  
Мы захлопнули все окна в помещенье,  
Мы задраили отверстия и щели,  
Но по-прежнему скрипели половицы.  
Время шло и не могло остановиться.

\* \* \*

Нас было двое: я и Новый год,  
И больше никого во всей квартире.  
В окошке звёзды, как мишени в тире,  
И жизнь, слегка замедлившая ход.

Я налила себе в бокал вина,  
А он сказал: «И мне налей немного».  
Я налила, а он добавил строго:  
«И никогда вообще не пей одна!»

Мы чокнулись, чтоб жизнь была щедра,  
Чтоб время, как вода, не утекало.  
А за окном шумела детвора  
И в небеса ракеты запускала.

\* \* \*

Старушки, молодки, повесы,  
Как винтики в общем строю.  
Все как сговорились и пьесу  
играют – но каждый свою.

Герои, лжецы, недотроги,  
Орлы, негодяи, хлыщи...  
Бессвязно звучат диалоги –  
И логики в них не ищи.

Друг с другом беседуют тени  
Всегда не том и не так.  
И всё же мы вместе на сцене  
И общий играем спектакль.

Молчание, реплика, фраза –  
И твой наступает черёд.  
А зал... Он набит до отказа,  
И всё прибывает народ.

\* \* \*

Ах, ночь молодая с повадкой колдуньи –  
Явилась и юбкой шуршит,  
Считает созвездья на карте июня,  
Бормочет, хохочет, спешит.

Катает по небу звенящие звёзды –  
Устроила тут кегельбан!  
А месяц их ловит – такой несерьёзный  
И снова он пьян вдрабадан.

Но как не напиться, понятное дело:  
Огни, карусель, мишура!  
А ночи веселье уже надоело,  
И ей собираться пора.

Мгновенье, другое – и снова в дорогу  
(как поступь красотки легка!).  
Не надо печалиться, люди, ей-богу!  
Что ночь – жизнь и та коротка.

\* \* \*

Застала жизнь меня врасплох,  
Была я к жизни не готова.  
Хоть мир был откровенно плох,  
Он был хорош, даю вам слово.

Не знала я, куда свернуть:  
Там перекрёсток, тут развилка?..

Но год за годом длится путь,  
И жизнь идёт.  
И жив курилка.

\* \* \*

Не уходи.  
Стой под часами  
Всё там же, у столба.  
С растрепанными волосами  
Появится судьба.

Прислушайся. Асфальта пенье:  
Цок-цок, цок-цок.  
Не уходи.  
Имей терпенье.  
Ещё часок.

Она придёт, поверь на слово,  
Как ты нетерпелив!  
Прилив судьбы, отлив и снова  
Отлив – прилив.

Владимир Эйдин

## СИМФЕРОПОЛЬ

### А-КЕРБЕЛЕ

«Слышь, Вовка, слышь...» – дядя Сёма тыкал в меня пальцем так, что оставались синие следы. «Пиль до неба, жаг'а, бики г'евут», – картавил дядя Сёма – это он рассказывал о своих военных приключениях.

Дядя Сёма – Сёмка, мой дядя, муж тёти Сары, сестры моего отца, – крепкий, жизнерадостный еврей, выпивоха, грубиян, задира, насмешник, неутомимый выдумщик.

После девятого мая сорок пятого года его домой не отпустили, а послали воевать с японцами – на Дальний Восток, в Китай. Там дядю Сёму неожиданно для него самого назначили ответственным за снабжение мясом крупного воинского подразделения – может быть, полка, а может быть, и дивизии. И он во главе кавалерийского отряда занимался конфискацией скота у китайских крестьян. Дело это было не только хлопотное, но и опасное: китайцы скот прятали и отбивались, как могли. Да и японцев вокруг оставалось ещё немало.

«Слышь, Вовка, ты думаешь, я китайцев боялся или японцев? Я боялся не довести стадо до части». По дороге скот отнимали свои же – любой, кто старше по званию, мог забрать добычу без всяких объяснений и расписок, а те, кто младше, просто воровали. Придётся с пустыми руками – тогда не штрафбат, тогда тюрьма, а то и расстрел по законам военного времени – оставил личный состав голодным. Но на печальном дядя Сёма особенно не останавливался – его рассказы были занимательны и оптимистичны, как у Майн Рида. Иногда возникали самые фантастические подробности, которые, впрочем, его историй не портили и не делали менее достоверными. Однажды он даже сообщил, что в награду за службу получил золотую саблю из рук – хотите, верьте, хотите нет – самого Сталина. Я, по-моему, даже не спрашивал, а где та сабля. Дядя Сёма и сам объяснял это для большего правдоподобия: он, мол, должен был её спрятать, когда однажды со своими бойцами потерялся в поисках скота, и вернуться за ней уже не было возможности. Ну, хорошо, не награждали его саблей! Но китайцы-то, правда, были. И японцы были. И война всё ещё продолжалась. И дядя Сёма действительно воевал там, *на сопках Маньчжурии*. Тут уж никаких сомнений быть не могло.

Закончил он войну в Китае, а начал в Крыму. Их, молодых младших лейтенантов, после ускоренных офицерских курсов привезли в часть получать взвода. Но вместо начальника штаба полка навстречу им вышли немецкие автоматчики. Так что войну он начал с плена. От гибели дядю Сёму спасло то, что он знал татарский язык – ему удалось выдать себя за татарина. Тяжелый еврейский акцент совсем не слышался, когда он говорил по-татарски. Татарский, как видно, был его второй родной язык. (До войны татарский язык в

Крыму, между прочим, был обязательным школьным предметом. Мой отец, например, мог легко объясниться и с азербайджанцами, и с узбеками. Письменность в крымско-татарском языке была арабской. Когда мы приехали в Израиль, отец вдруг обнаружил способность читать арабские вывески, ничего, конечно, не понимая).

Потом дядя Сёма попал в румынскую зону оккупации, и немцы передали его румынам. С полвойны он «татарин» пробатрачил в Румынии «у хозяина» – в приемлемых, надо сказать, условиях. А когда фронт приблизился, дядя Сёма сбежал, добрался до своих, попал в штрафные войска, искупил, как говорится, кровью и в конце концов оказался в Китае.

Домой в Крым его отпустили только после капитуляции Японии. Там он встретил тётю Сару, они поженились. У нас сохранилась парадная фотография того времени. Фотограф поставил их наискосок к объективу, он в офицерском кителе без погон, а она в лёгком крепдешиновом платье, смотрят «в будущее» с оптимистическим выражением лиц. Прямо агитплакат. Но повесить такой плакат можно было бы не в любом месте, а только где-нибудь в Биробиджане или здесь, в Израиле: лица не оставляют сомнения в национальной принадлежности моделей.

Татарский язык дяде Сёме больше не требовался – татар в Крыму он после возвращения не нашёл, а из Крыма за всю свою жизнь, по-моему, так ни разу и не выбрался. Не был, кажется, даже на свадьбе у дочери, в Питере.

Сёмка (как участник войны и отставной офицер) сумел получить на Симферопольском рынке ларек с «колониальными» товарами: от хозяйственного мыла и одеколона «Кармен» до кирзовых сапог и белых полотняных мужских туфель – их, помните, ещё чистили зубным порошком. И потом всю жизнь играл в кошки-мышки с ОБХСС. Несмотря на все усилия этой организации, включая частые ночные обыски, которые, конечно, трепали нервы всей семье, эту игру он выиграл: его так и не посадили, и семью он с этого ларька содержал, в общем-то, до самой пенсии. Жалко, я не догадался тогда спросить, что было ему легче: торговать промтоварами на Симферопольском рынке или воевать.

Дядя Сёма никогда не вел разговоры на еврейские темы. Но если слышал где-то намеки на «ташкентский фронт» или разговоры о том, кто продал Россию и за что, умеренно зверел и без разговоров бил в морду – и неважно, был ли это мужик крепче него или инвалид с костылем в руках. Да и в других ситуациях он не спускал никому. Сёмка был гордый еврей.

Бабушке и тёте Саре, я думаю, было трудно с ним. Но на работе, на рынке, и в нашем дворе его любили – он был, что называется, свой в доску, впрочем, без усилий или нарочитости: никогда не отказывал дать в долг «до полочки» (без особых надежд на возврат), легко соглашался помочь, если просили, всегда был готов составить компанию «по рубчику». У него даже прозвище с молодости было «а-кербеле», что и означает, кто знает, рубчик.

Дядя Сёма любил рассказывать о своих приключениях, но ещё больше я любил его слушать. Он быстро увлекался, кричал, тыкал в меня своими железными пальцами, придумывал разные небылицы, возникали новые подробности старых историй.

Тётя Сара всегда кричала ему от плиты: «Сёмка, *дред ништ ди коп фун дер ингеле*». (Не морочь, мол, мальчику голову.) «Ингеле» – это для тёти Сары был я и в десять, и в тридцать лет. Сёмка отмахивался от нее: «*Лоз мир оп (отстань)*», – и продолжал...

Теперь, когда я вспоминаю его послевоенную жизнь и его военные рассказы, я знаю, что дядя Сёма был настоящий мужик, *менч*, одним словом.

## НАШ ДВОР

Я очень любил приезжать в Симферополь, в дом, где вырос мой отец – сначала с родителями и с братом, а потом, когда повзрослел, и один. Дом этот был частью довольно большого закрытого со всех сторон двора, какие бывают, наверно, только в южно-русских старых городах. Это был очень уютный двор, полный разных секретных уголков, со своим вторым этажом на крышах сарайчиков и в ветвях развесистых мощных деревьев. Посреди него, под старой, переставшей уже плодоносить шелковицей, стоял стол, где каждый вечер собирались доминошники. Я потом всё удивлялся, что шелковица эта каждый мой очередной приезд становится всё ниже и ниже.

Нам всегда были здесь очень рады – в этом дворе и в этом доме, – и когда была жива бабушка, и когда её не стало.

Но не это было всё же главным. А главным было вот что. Представьте себе, что ребёнком вы слышите, что кто-то кричит на весь двор: «Сара!», и вы не вздрагиваете, потому что точно знаете, что это не обзывают кого-то, а просто зовут мою тётю или тётю Сару Белинсон, двоюродную сестру отца, или другую тётю Сару, которая – неважно, вы всё равно не знаете – и вовсе не была нам родственницей, а просто соседкой. В общем, это просто зовут какую-то женщину по имени Сара, а не хотят обидеть еврейку, которую и зовут-то, может быть, Ольга или даже Кристина. Если вы это смогли представить, то можете понять, почему я так любил бывать в Симферополе. Попросту: ребёнком я чувствовал себя здесь в своей тарелке, среди своих.

В нашем дворе жили или бывали: тётя Геня с дядей Лазарем, и дядя Хайм и тётя Бетя, и Островские, и Козянки, и Белинсоны (и Арон Белинсон, друг детства моего отца, – с женой, и совсем иные Белинсоны – вам всё равно какие – важно, что они бывали)... Да, ещё, чуть не забыл – тётя Фира с семьей. И куча других, говорящих с акцентом или без него, очень похожих на евреев, то есть на самих себя, и не очень на них похожих. Были, конечно, и русские, и украинцы, будем честными, но я и их в этом дворе воспринимал как абсолютно своих. Они и были своими. Некоторые из них даже говорили на идише – не хуже, думаю, бабушки. Погоду делали всё же евреи. Знаете, только здесь, в этом дворе, я не стеснялся своей фамилии, произнесенной вслух.

Все жили в нашем дворе, как в коммунальной квартире. У нас и таких, как мы, например, даже туалета своего не было, хотя квартира была отдельная. Но были во дворе два общественных сортира, что тоже, конечно, сближало. Внутри обоих огромные желез-

ные «следы ног» – *перед* и сливной бачок – *над* толчком. Один туалет располагался очень удобно – с краю, внутри ниши, за развесистой акацией, как бы «по дороге» из двора, так, что туда можно было нырнуть незаметно. Второй – на самом виду, и тут уже было невозможно скрыть ни от кого, куда и зачем ты при необходимости направляешься через весь двор. Оба были всегда сухие и чистые – как бы автоматически. До сих пор не знаю, кто следил там за порядком и чистотой.

Кухни «у нас», то есть у бабушки, тоже не было, а примусы (а потом и газовая плита) стояли в коридорчике – метр на метр, пристроенном когда-то пиратским образом, в обход всем запретам, перед входом в квартиру. Всё долгое крымское лето поздние обеды проходили в беседке. Рядом с ней дядя Сёма, муж тётки Сары, разбил небольшой цветник с пышнейшими георгинами, золотыми шарами и хризантемами. Потом, правда, в очередную кампанию борьбы с чем-то, ему пришлось этот цветник «ликвидировать» как источник дополнительного дохода, что ли.

Те, у кого были отдельные квартиры со всеми удобствами, всё равно полжизни проводили во дворе или у соседей. У нас, например, часто бывала Ада Григорьевна Островская. Тётя Сара дружила с ней и называла ее Ада Григорьевна, хотя они были ровесницами, а та тётку Сару – «Сарочка» и «вы». Каждый день Ада Григорьевна, в халатике, в домашних туфлях на высоких, впрочем, каблуках неспешно, с прямой спиной и чуть подкрашенными губами, пересекала двор, усаживалась где-нибудь в беседке, курила особые тонкие папироски и вела беседу с тёткой Сарой, пока та вертелась у плиты. Когда готовила Ада Григорьевна, я не знаю. Помоему, никогда. Беседа в основном представляла собой изложение разных историй из жизни Ады Григорьевны ещё до замужества. Например, Ада Григорьевна любила рассказывать, как она училась в гимназии и как туда её не подвозили, а «возили на фаэтоне». Островские, вообще-то, в нашем дворе были аристократы (хотите в кавычках, а хотите и без). Сам Островский был директором большого ресторана, играл на музыкальных инструментах, умел складно говорить, носил пиджак и галстук. У нас в доме его так и звали – Островский. Я и сейчас не знаю его имени. Их дети, Лёнька, мой ровесник, и красавица Белла, учились в музыкальной школе и училище, а Белла потом даже и в Симферопольской консерватории. Таких во дворе было немного. Ясно, что цена таким соседям намного больше, чем это казалось по их тогдашнему, тоже не очень низкому положению. Дядя Сёма с Островским не дружил, только здоровался, и вместе за беседой я их никогда не видел.

Отдельная квартира с кухней с туалетом была и у тётки Гени, двоюродной сестры бабушки, жены дяди Лазаря. Но очень часто здесь, во дворе, где-нибудь сбочку, она разводила небольшой костерок и варила кукурузу – пшёнку, как было принято говорить на юге, и потом ходила продавать ее в город или на базар. Я бывал, конечно, у них в квартире, и они часто бывали у нас. Ребёнком мне казалось, что каким-то образом мы живём все вместе, одной большой семьей.

Наша квартира помнила и других гостей – дальних и близких родственников. Некоторым из них дедушка, давал в тяжёлые вре-

мена приют и даже заработок. Постепенно они находили своё жилье, покидали этот гостеприимный дом, и помню, как маленькая эта квартирка казалась с каждым нашим приездом все свободней – она как бы расширялась. Потом, конечно, все приходили в гости, и по разным тожественным поводам, и просто так, по дороге с рынка или из аптеки. Так что я всегда слышал такие странные в другой среде еврейские имена и весёлый говор – картавый, с подначками и шутками на идише. К концу каникул мне казалось, что это и есть обычная русская речь.

С каждым новым приездом в Симферополь я взрослел, двор наш перестраивали – портили в основном, а еврейские запахи и краски вокруг становились всё бледнее. И вот уже в восьмидесятые годы, к концу её жизни мою тётю Сару, Сару Соломоновну Руфф, из уважения, что ли, стали называть Александрой Ивановной.

## ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА

*Редкая птица долетит до середины Днепра...*

Я очень любил приезжать на родину моего отца в Крым, в Симферополь. Там жила моя бабушка, мои двоюродные брат и сестра. Нас там ждали и любили. Иногда казалось, что это и есть мой дом. Я поменял много адресов и многие успел забыть, но этот помню до сих пор: Пушкинская, 23. Да, мы жили на Пушкинской. Это была самая уютная, самая красивая улица в Симферополе и лучшая улица на земле.

Начиналась Пушкинская улица недалеко от нашего дома, ближе к велотреку. В Симферополе, между прочим, был олимпийский велотрек. Скажите, был ли в вашем городе велотрек? Вот видите! А здесь был. Возле велотрека Пушкинская была с булыжной мостовой. Уже тогда, ребенком, я ощущал, как это здорово – булыжная мостовая посреди города. Теперь-то везде для имитации старины улицы покрывают булыжниками, а у нас так было всегда. Как на Красной площади в Москве.

Примерно напротив нашего двора начинался участок улицы с асфальтом, идеальной, между прочим, ровности и чистоты. Не знаю, почему тогда так искусно умели класть асфальт. Здесь Пушкинская была ещё довольно пустынна. Через пару кварталов от нашего двора располагался Симферопольский исторический музей. Там, на одном из стендов, между прочим, можно было найти фотографию дяди Лазаря. Дядя Лазарь был знаменитый в нашем дворе и на нашей улице человек. Всем было известно, что в партию он вступил раньше, чем в комсомол, и был красногвардейцем. Членом партии он стал ещё до комсомола! Как вам это? Когда создали комсомол, дядю Лазаря сделали комсомольцем, но потом заново в партию он так и не вступил. В общем, интересно было заскочить в музей, ещё раз взглянуть на фотографию дяди Лазаря и при случае показать её друзьям.

Дальше в сторону от нашего двора уже чувствовался центр: дома были посolidней, побогаче. Как в настоящем столичном городе, дома на Пушкинской имели два входа: один с улицы – парадный подъезд (самый настоящий) и другой – со двора. Зато

дворы были совсем не столичные. Здесь где-нибудь с краю мог помещаться общий туалет, водопроводная колонка, были цветники, никому в отдельности не принадлежащие плодовые деревья, вишни, например (про шелковицу я и не говорю), доминошный стол, место для игры в штандер, сарайчики, голубятни, иногда даже и чей-нибудь курятник. У каждого в таком дворе могла быть своя столовая в беседке или кухня, а в некоторые квартиры на верхних этажах вели пристроенные в обход всем правилам лестницы. В таких дворах было всегда очень чисто и уютно.

Дальше по улице, ближе к центру, – Суворовский садик, довольно просторный и очень милый. На Пушкинской были и другие садики и скверы, самые тенистые и самые уютные в городе. Да и сама улица была как парк. По краям стояли роскошные каштаны и акации, каких не увидишь ни в Одессе, ни в Париже. На улицах, выходящих на Пушкинскую, кроны деревьев были так густы и развесисты, что смыкались над мостовой. Вы могли нырнуть туда и потеряться – днём здесь было темно, как ночью.

И в нашем дворе, и в соседнем или через улицу можно было найти дома татарской и даже ещё греческой постройки. Были и дома с выбитыми на фасаде надписями и датами на армянском языке. Феодосийские армяне имели здесь свои резиденции и конторы. Здесь же, на соседней, правда, улице, располагалось очень красивое, стильное здание с фасадом, который выделялся черным гранитом и имитацией колонн, – банк. Говорили как бы между прочим (прямо говорить было не принято, но и не сказать нельзя), что банк – это бывшая синагога.

У самого центра начиналась пешеходная зона с роскошными клумбами посередине улицы. Розы цвели и благоухали всё лето и, кажется, даже весь год. Сюда по вечерам выходили гулять – и не какие-нибудь там «отдыхающие» (эти от вокзала сразу разъезжались дальше, к морю), а свои, местные. Приходили в нарядной одежде, прогуливались, или просто стояли и обменивались новостями, или разговаривали о пустяках. Было важно появиться поближе к вечеру, так сказать, отметить. И не только «молодежь» приходила сюда, точнее, в городе молодежью были все, и двенадцати-, и семидесятилетние. Такая вот была эта улица. И такой город.

Днём тоже гуляли, ходили по магазинам, водили детей в кафе. Здесь, на Пушкинской, были замечательные маленькие кондитерские с самыми вкусными пирожными в мире. Ни в Риге, ни в Таллинне, ни даже в Москве я не едал таких пирожных.

В двух шагах отсюда, в переулках, находились и цирк, и Крымская филармония, и музыкальная школа, и консерватория, и центральная аптека, и разные магазины. А в конце улицы, неподалеку от нас – кинотеатр. Летом можно было сбегать туда и в холодке посмотреть «Багдадского вора» или «Семеро смелых», а если повезёт – «Тарзана» или «Девушку моей мечты»...

На Пушкинской ты ощущал себя в домашней обстановке и одновременно в центре вселенной, где было всё и до всего без усилия можно было дотянуться рукой. В общем, Пушкинская улица – это и был Симферополь. И скажу больше, это и был Крым.

На каникулы или в отпуск мы приезжали сюда из разных мест – из Латвии, с Урала, а то и с Крайнего Севера. Отец мой был воен-

ный строитель, и нас хорошо помотало по Союзу. А потом отсюда, с Пушкинской, мы возвращались назад. И я вам скажу откровенно: Пушкинская – это даже не просто Крым, это весь тогдашний Союз, может быть, не такой, каким он был на самом деле, а такой, каким должен был быть.

## О МОЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ

Слово «национальность» я освоил довольно рано, в пионерском ещё возрасте, и только в связи с необходимостью разъяснять деревянному советским языком, что «не важно, какая у человека эта самая национальность, а важно, каким гражданином он вырастет». Одноклассники, однако, были со мной не согласны и пока что присвоили мне кличку «гражданин». А я даже не очень понимал, что меня обзывают и ещё хорошо, что так.

Происхождением своим я никогда не интересовался. Мои ближайшие родственники с обеих сторон были такие яркие и самобытные люди, что не было никакой нужды углубляться в историю. Они и были моя история и мое происхождение.

И вот мой отец ближе к старости, когда я уже давно утратил стремление стать «настоящим» гражданином, вдруг стал часто вставлять в речь словечки на идише и получать письма от друзей своей комсомольской юности, и тоже с многочисленными вставками на идише. В одном письме была фотография агитационного перехода Джанкой – Севастополь. Толпа полуодетых юношей и девушек со счастливыми целеустремленными лицами – юноши в майках и закатанных до колен брюках, а девушки в футболках и трусах фонариком. И почти все босиком. А над каждым персонажем указаны имена: русские, еврейские, много татарских, встречались там и греки, и армяне, и другие представители крымского Вавилона. И во главе всей тусовки мой отец. Отец, оказывается, был знаменитый человек, вожак.

Так что можно было бы считать, что происхождение у меня комсомольское. Стало понятно, откуда у меня в детстве было стремление стать настоящим гражданином. Но вот очень уж странным, даже противоестественным казалось мне сочетание комсомольских лозунгов и шуток на идише. Где, как говорится, идиш, и где комсомол? Мы-то уже не застали ни еврейских школ, ни еврейских театров, ни тем более *евсекции*. Кроме того, выяснилось случайно, что отец мой ещё до комсомола успел побывать еврейским скаутом, и не простым, а тоже лидером.

Но главное, ни скаутское движение, ни комсомол не устраивали моего деда – он гнул свою линию и, как мог, боролся за моё, так сказать, происхождение. Деда моего звали Соломон. Он был портной. Сюртучник-фрачник. Задолго до революции он получил категорию мастерства, которую приравнивали или к первой купеческой гильдии, или к отслужившим вчистую еврейским солдатам – условия, дающие право покинуть черту оседлости и искать счастья на просторах империи. Дед мой с бабушкой и воспользовались этим правом, и выехали из Гомеля в восточном направлении (а нужно было, вероятно, в западном), и после разных приключений, году эдак к четырнадцатому, оказались в Крыму. Сначала в Джанкое. Там мой дед обшивал

богатых немецких и чешских колонистов. Я ещё слышал легенды о его мастерстве. Он шил костюмы для горбатых и колченогих так, что ни горба, ни короткой ноги не было заметно. Проблем с заказами не было, и это давало приличный заработок. Мне, москвичу советского времени, было всегда трудно понять, зачем жителю степного Крыма, даже если он колонист, владелец собственной фермы, как мы бы теперь сказали, ну зачем ему был нужен сюртук или фрак? Да и дед мой одевался «с иголки». У нас сохранилась фотография тех лет: он стоит перед камерой в идеально сидящем на нём костюм-тройке, с тростью и котелком. Если бы вам не сказали, что фотография сделана в провинциальном российском городке, можно было быть уверенным, что это Париж или Петербург.

Своим мастерством он ухитрялся содержать семью, пару сестёр жены и меламеда для сына, то есть моего отца, а иногда и других родственников – и при царе, и при Врангеле, и при Советской власти. Расплачивались с ним когда деньгами, а когда и натурой. Мой отец вспоминал, как иногда возле их дома клиенты деда сгружали с повозки то мешок с хлебом, то корзины с фруктами и овощами. Но вот исчезли колонисты, возникли колхозы, в том числе и еврейские, и заказы на сюртуки и фраки прекратились. Пришлось как-то переобустраиваться. Он и перестроился, перевёз семью в Симферополь, где ещё была нужда в приличной одежде. Но на жизнь всё равно не хватало. Да и частником быть в то время было непросто. И тогда он приказал бабушке снести все украшения, приобретенные ещё до революции, в торгсин. Так он сразу погасил интерес к своей семье со стороны ОГПУ, а на вырученные деньги сумел содержать многочисленных домочадцев ещё какое-то время.

Хотя умер дед ещё до войны, его долго помнили родственники и соседи – из коренных крымчан. За доброту и небольшой рост его называли Соломончик. Однажды, при очередной смене власти, в Крыму ему даже дали паспорт под такой фамилией. Фамилию в документ вписали «по памяти» – мой дед был известной личностью. К нему приходили и за советом, и с жалобами, и за помощью, хотя отзывчивость и доброта в нём сочеталась с прямоотой и принципиальностью.

Так что борьба за моё происхождение продолжалась вплоть до отъезда отца в Москву, учиться. Борьба эта была, понятно, неравной: за спиной отца были не просто перспектива высшего образования и идеология самого прогрессивного в истории класса – с этими мелочами было бы ещё можно побороться. Трудней давалась борьба с красными флагами, путёвками комсомола, митингами и ОГПУ. Но и дед был не прост – он был и хотел оставаться евреем.

Я иногда вспоминаю это, когда произношу утренние благословения.

## ВАЛЕРКА

Я никогда не слышал, чтобы дядя Сёма, отец Ани, моей двоюродной сестры, заводил разговоры на еврейские темы. Он и сам был «еврейская тема», крепкий, заводной, весёлый, картавящий во всё горло еврей, участник войны, владелец голубятни и маленького ларька промтоваров на Симферопольском рынке. Только

однажды, когда он пришёл с каким-то своим приятелем познакомиться его с мужем своей дочери, приятель этот сказал дяде Сёме: «Ты же говорил, что он не еврей!». Это для меня было открытие: оказывается, дяде Сёме было не всё равно, еврей муж его дочери или не еврей. Я был удивлен, что национальность зятя в принципе может быть предметом заботы родителей.

А Валерка носил вполне русскую фамилию. И при этом действительно выглядел как вылитый еврей. Но не в этом даже дело. Просто было видно, что он долго искал себя по всему миру со своей русской фамилией и вдруг нашёл здесь, в этом дворе и в этом доме. Когда они поженились с Аней, он мгновенно перезнакомился и подружился со всеми соседями и родственниками, сразу вошёл во все мелкие симферопольские проблемы, даже стал болеть со всей страстью за симферопольскую «Таврию».

Он был не дурак выпить и закусить в хорошей компании. И мне трудно представить, какая компания могла быть плохой для него – не только потому, что он так уж любил выпить и закусить, а и потому, что люди вокруг были очень симпатичные, свои люди.

Валерка обращался к тестю и тёще, Аниным родителям, по имени-отчеству и, кажется, даже с некоторым удовольствием произносил имена Сара Соломоновна и Семён Григорьевич, будто пережёвывал сочный, чуть перезрелый персик.

Он, вообще-то, был из Питера, Валерка, но неделями и месяцами пропадал в Симферополе – здесь, на одном из космических крымских объектов, он представлял крупный проектный институт. Он увез Аню в Питер, когда они поженились. Но командировки продолжались, и он по-прежнему месяцами торчал здесь, уже без нее и без Викусы, их дочери, как полноправный член семьи.

Валерка приходил с работы, раздевался до трусов, выходил во двор и обливался по пояс из шланга, разбивал на сковороду пару яиц, перекусывал на скорую руку и отдыхал некоторое время в теньке. Потом наступал жаркий крымский вечер: ужин в беседке, друзья, родственники, немного вина, проблемы – местные или мировые. В общем, жизнь. Не знаю, как он себя чувствовал в Питере, а здесь, кажется, был счастлив. Может, поэтому он и нашёл себе жену не в Ленинграде или Москве, где, поверьте, есть немало симпатичных девушек, а выбрал жгучую крымскую красавицу, мою двоюродную сестру.

В свой очередной приезд в Симферополь в отпуск я увидел его, познакомился и уже через пять минут не смог бы себе представить этот двор без Валерки. Он вписался сюда, в дом, где вырос мой отец, где меня баловала моя бабушка, как, наверно, когда-то, сразу после войны, вписался дядя Сёма, его тесть.

Они, вообще-то, были очень похожи, дядя Сёма и Валерка, – оба веселые, энергичные, компанейские, шумные, всегда готовые к услугам и сами готовые, без ложного стеснения, о чём-то попросить. Как бы я ни любил этот дом, и бабушку, и тётю Сару и как бы свободно себя здесь ни чувствовал, я, и даже мой отец, мы были здесь в гостях, а они, они оба были на своём месте, дома. Я понял всё это только сейчас, спустя много лет, когда и одного давно уж нет, да и тот далече – и от Питерского проектного института, и от Симферопольского двора на Пушкинской улице.

*Зинаида Палванова*

*ЛУННЫЙ УДАР*

\* \* \*

Казалось бы, не происходит  
ну ничего, ну ничего.  
О чём писать?  
Так, суета одна сует.  
Ан, нет!

Не происходит, если врать  
безоблачно, прилично,  
а если правды не бояться,  
а если грусти не бояться,  
то происходит и проходит жизнь.

Пиши, живая, не бойсь!  
Вся жизнь, как стих стихающий,  
пишись.

\* \* \*

Вновь малахитова даль морская.  
Славно беседа о фрейдизме,  
в море из номера перетекая,  
мы отдыхаем от жизни при жизни.

Солнце осеннее мягко стелет.  
Тут, с очевидной тенденцией споря,  
мы насмотрелись на тех, кто стареет  
на берегу Нездешнего моря.

Поняли всё – и домой вернулись.  
Время – ноябрь. Погляди-ка, на склонах  
победоносно войска развернулись  
рыжих кустов на террасах зелёных!..

Как хороши эти храбрые пятна!  
Вот и дошли мы почти что до края...  
Шепчет округа предзимняя внятно:  
пусть уходит, но сгорая, сгорая.

\* \* \*

Верстаю книжку  
смертельно больному.  
Нужно, нужно успеть.  
Вот и бежим наперегонки –  
я и смерть.

Я спешу, у меня одышка,  
у смерти одышки нет.  
Никому борьба не видна.  
Я с книжкой к нему тороплюсь,  
с обычной книжкой.

А с чем – она?..

\* \* \*

Их смолоду супружеское ложе  
надёжно и легко объединяло,  
а нынче цель – здоровый образ жизни –  
объединяет их, как одеяло...

По-прежнему им не хватает времени.  
Вполне довольные своей судьбою,  
увлечены диетой обезжиренной,  
увлечены вечернею ходьбою.

И мы с тобой, два голубка, взмываем  
по вечерам. И в полутьме округи,  
когда плывут навстречу нам супруги,  
мы истину ночную прозреваем,  
мы истину сквозную прозреваем:  
страсть старости – здоровый образ жизни!

### **ИЗ УРИ ЦВИ ГРИНБЕРГА**

День поник, и свет померк дневной.  
Как тоскливы дальней песни звуки!..  
Пролегла меж нами тень разлуки.  
Счастье – будто море за спиной.

Как шакалы в сумерках кричат!..  
Пустоту свою пустыня прячет.  
Не постичь нам, что всё это значит.  
Ключья двух сердец кровоточат.

\* \* \*

Эта женщина переполнена прошлым,  
оно из неё извергается по любому поводу  
в виде вспышек памяти фотографической  
в виде похвальбы почти что детской.

А в настоящем времени  
она переходит дорогу –  
как в юности, не дожидаясь  
зелёного света.

Она позабыла о возрасте,  
это скучно, вот она и забыла.  
И настоящее в виде автомобиля  
взвизгнуло перед старухой, не сбило...

\* \* \*

Хвост передачи телевизионной  
я ухватила и была поражена:  
лечение смертью –  
временной, клинической.

И всё, и медленно поплыли титры.  
Пришлось додумывать самой.

Целебна смерть. За несколько минут  
она сотрёт случайное – болезнь,  
она оставит главное – здоровье.  
Она одна поможет пациенту.

Мы подбираемся к лихому инструменту.  
У человека, жителя Вселенной,  
великие открытья на носу –  
как скальпель, в руки он берёт косу!

\* \* \*

Надежда умирает последней.  
Свидетелей этой смерти нет.

Ты знаешь, мне пришло в голову,  
ты знаешь мне пришло в сердце:  
надежда не умирает вовсе.

Днём и ночью мерцает эта звезда.  
Что-то такое знает надежда,  
что позволяет ей  
оставаться живой всегда.

**ОТПУСК В БУДУЩЕМ**

Пространство перед глазами –  
то и дело другое,  
время – всегда одно и то же,  
настоящим оно называется.  
Что если бы в отпуск мы ездили  
не в иное пространство,  
а в иное время?

Хочешь, в прошлое – в юность, в детство  
на недельку-другую.  
Даже в утробу материнскую можно –  
с визой на девять месяцев.

В будущее мы и так всё время движемся,  
дорога туда – железная.  
Но махнуть бы подальше вперёд –  
в будущий, скажем, год –  
на пару недель или даже на пару дней,  
как в Париж мы с тобой недавно!

Впрочем, отпуск в будущем –  
это, может быть, и роскошно,  
но, пожалуй, слишком тревожно.  
Мало ли где окажешься...  
И вернёшься ли на рассвете  
в родимое время?  
Настоящим оно называется.

\* \* \*

Понимать почти научилась:  
что бы тут, на земле, со мной ни случилось, –  
это мой с Тобой диалог.

Ты мне врезал как мог,  
мой жестокий, мой добрый Бог!

Мой черёд отвечать:  
делом, делом, а значит – словом.

Помолчать. Всё снова начать  
ранним утром седоголовым.

\* \* \*

Есть звезда, а имени нет.  
Излучает она безымянно  
желтоватый мерцающий свет  
без натуги и без обмана.

Терпеливо терпит она  
одинокчество, холод, обиды.  
Простодушно себе верна,  
не сворачивает с орбиты.

Что её, небессмертную, ждёт?  
Дали имя ей слишком поздно.  
Всё, сгорела... Но свет её звёздно  
прямо в сердце моё идёт.

### **ДОРОГА К ВНУЧКЕ**

Ехала к тебе невыносимо долго.  
Был пожар ужасный на пути.  
С молодой соседкой без умолку  
два часа подряд... С ума сойти!

Взмокшая, уставшая, как бобик,  
наконец приехала! Твои  
вопли радости и потный лобик,  
и глазищи! Острый миг любви,

да такой безудержно взаимной,  
что, похоже, я не знала здесь,  
на земле цветной, прозрачной, дымной.  
Вёл к тебе, выходит, путь мой весь!

Октябрёнок, пионерка, комсомолка,  
аспирантка, сторожиха, балаболка –  
сколько всякой всячины в судьбе! –  
ехала к тебе невыносимо долго.  
Наконец, приехала к тебе!

\* \* \*

Слово «месседж» нынче модно –  
сообщение, посыл.  
Так закат пылал сегодня,  
так хорош собою был!

Отгорев над головами,  
сгнула заря. Темно.  
Описать закат словами  
всё я пробую давно.

На своём трудясь наделе,  
обучаюсь уходить.  
Но попробуй-ка на деле  
прямо в землю угодить!

Но попробуй-ка на деле  
оторваться от земли!  
Траур небеса недели,  
свечи звёздные зажгли.

Месседж значит – сообщенье.  
Постигаю в тишине:  
красота – моё спасенье,  
беззащитное вполне...

\* \* \*

Я проснулась.  
Душа на месте.  
Утро вечера мудреней –  
это правда, это проверено.

Может, ночью кто-то  
берёт к себе наши души  
и чистит, и чинит,  
и возвращает утром,  
а мы называем это сном?..

И не можем вспомнить,  
что там было – во сне...  
А бывает наоборот –  
не можем забыть.

Может быть, умерев,  
мы пытаемся вспомнить:  
что там было – в жизни?  
Или наоборот: не можем забыть?  
Всё может быть...

Жизнь уходит по дню, по мигу.  
Демиург-драматург  
сохраняет интригу...

\* \* \*

Это было в юности.  
Затерзали душевные трудности.  
Мрак неуверенности в себе.  
Мрак неприкаянности в судьбе.

И вдруг я луну увидела –  
такую большую,  
такую ясную,  
такую круглую,  
такую спокойную,  
такую существующую.

Ночная весть –  
о том, что я просто есть.

Ночная весть – с небес, отовсюду  
о том, что я просто буду.

Божий дар –  
лунный удар.

### **СПАСАТЕЛЬ**

Смеюсь на берегу со всеми.  
Под солнцем правда не видна.  
Куда меня затянет время?  
Не будет под ногами дна.

Однажды я уже тонула  
среди людей, среди бела дня.  
Очами тускло смерть блеснула..  
Спасатель спас тогда меня.

Теперь мне чудится подмога –  
Спасатель есть и в небесах!  
И открывается дорога,  
и отпускает душу страх.

Но даже если всё иначе,  
мечтаю, одолев себя,  
ход времени принять, не плача,  
а вызывая и любя.

Сказать на линии изгиба,  
не под волной, а на волне,  
часам таинственным спасибо  
за время, что досталось мне.

*Виктория Райхер*  
**ОДНОВРЕМЕННО**

**«ЭРУДИТ»**

Мы все умеем делать одновременно.

Звоним по телефону и варим суп. Варим суп и моем полы. Моем полы и играем с ребенком, играем с ребенком и говорим по телефону, говорим по телефону, варим суп, играем с ребенком и моем полы. Кормим кошку, гладим кошку, учим ребенка кормить и гладить кошку, моем полы и варим суп. А зачем мыть полы? Я же сказал – учим ребенка. Когда чему-нибудь учишь ребенка, нет-нет да помоешь полы. А когда говоришь по телефону, рука сама тянется что-нибудь приготовить. Я же все равно тут стою. Сижу, лежу, ничего не делаю. Как хорошо, что ты пришел, мне как раз надо компьютер починить. Какая удача, что мы сюда приехали, нам как раз надо выбрать квартиру в этом районе, давайте посмотрим пока. Пока все равно. Пока мы все равно тут ничего не делаем. Только общаемся, говорим по телефону, смотрим окрестности, выгуливаем собаку, печем картошку – но мы же ничего не делаем все равно? Давайте поиграем в «Эрудит». Выкладывай фишки, я пока померяю расстояние между тем деревом и этим. Возможно, когда-нибудь здесь будет моя могила. А этот дом вдалеке, ты не знаешь, он продается? Мне не нужен дом, но, может быть, понадобится еще? Пока я здесь. Ты выкладывай фишки, я быстренько переверну картошку и позвоню маклеру. Какое слово у тебя там первое? «Вечность»? Я подставляю две буквы к его началу, «н» и «е».

Я тут статью прочел, о чтении за едой. Оказалось, чтение за едой плохо влияет на желудок, на мозг, на пищеварение, на координацию движений, на психику и на прикус, представляешь? За едой, оказалось, вообще ни на что нельзя отвлекаться! Пишу тебе об этом, ем салат и вытираю слезы. По телевизору показывают фильм, там героиня одновременно ведет автомобиль, кормит грудью младенца, занимается сексом и стреляет из окна. И вот что я тебе скажу: прикус у нее не очень. Наверное, она читала за едой.

А еще мы сидим в интернете. Одновременно все сразу, одновременно со всем, одновременно со всеми. У нас интернет в телефоне, в автомобиле, в фотоаппарате, в электронной книжке, в кофеварке и в очках. Включаем компьютер, пока он грузится – проверяем почту на телефоне, потом на компьютере (мало ли что), пока открываются окна с работой – читаем новости, поработали пять минут – открываем статью, прочли два абзаца, проверяем почту, открываем окно с анекдотами, пока загружается – читаем абзац статьи. Пять минут поработать, еще раз проверить почту, еще абзац, все это под чай, под сигарету, под музыку, под ребен-

ка, под нарезку салата, под вечерний разговор по телефону, ты меня слышишь, Расскажи мне еще что-нибудь.

А вот писать и думать получается не всегда. Или читать и думать. Слушать и понимать, смотреть и видеть. Даже спать и видеть сны. Я вижу сны наяву, когда веду машину, одновременно слушаю аудиокнигу, пью чай, курю и думаю о тебе. А когда сплю, я ничего не вижу. Пальцы подрагивают, мысленно трогая клавиатуру, ухо шевелится в поисках телефона, губы сжимаются, нащупывая сигарету, одеяло сползает – его стягивает собака. Она спит у меня в ногах и дергает лапами, одновременно бегая по поляне, гоняясь за зайцем, играя в мячик, жмурясь на солнце и прыгая до небес. Собака старая, толстая и глухая, она хрипит во сне у меня в ногах – и одновременно бежит, летит, ловит дичь и допрыгивает до солнца.

### ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ

Вы что предпочитаете делать с посудомоечной машиной? Я, например, люблю ее загружать. Мне нравится, когда куча грязной посуды исчезает сразу вся, и быстро кто-то неленивый это моет. А разгружать не люблю, раздражает: вилки налево, рюмки направо, тарелки по размеру... Мартышкин труд. А жена, наоборот, разгружать любит. Ей приятно, когда чистая, сияющая посуда послушно становится на места. Поэтому у нас в семье жена, как правило, посудомойку загружает, а я разгружаю. Так получилось.

Звонишь другу, рассказываешь сплетню про друга, просишь – только другу не говори, оп, через пять минут тебе друг звонит, злой, как недруг. Ему сплетню только что рассказали. Зачем, почему, друг же обещал? Так получилось.

Только тебе какой-нибудь товар понравился, он тут же исчезает из продажи. Кошки вот тоже. Нет, из продажи не исчезли. Но ронять вазы вниз со стола умеют, а возвращать на место – нет. Так получилось. Почему всю зиму грезишь морем, а летом хочешь Новый год? Почему тем, кто любит клецки, в супе попадаетея одна-две от силы? Они все плавают в супе у тех, кто их ненавидит. Почему? Почему бензин уже стоит дороже молока, а скоро будет дороже мяса? Почему Анжелина Джоли живет с Бредом Питом, а со мной не живет? Почему в стране такой бардак?

Так получилось. Извини.

Прихожу на днях к Петровичу, смотрю – Петрович умер. Я к нему – Петрович, ты сошел с ума? У нас матч с Бразилией на носу, супермодель Адrenalина Стар похудела на два килограмма, Папа Римский выпустил новый указ, бензин дороже молока, а скоро будет дороже мяса, Петрович, мы же договаривались завтра прямо с утра поехать в лес на шашлыки, и как теперь? А он лежит, величественный такой. Даже лысина ему в гробу идет. Всю жизнь был похож на сдутый гриб, а в гробу неожиданно на римского импера-

тора. Петрович, говорю, идущие на смерть приветствуют тебя, ты сошел с ума? А он улыбается еле заметно: так получилось...

Петрович, говорю, Надька плачет!

Надька плачет. Плачет, зарывается носом в доски гроба, там древесина уже плесенью пошла. Надька, говорю ей, ты же Петровича не любила, ты всю жизнь любила Митяя с установочного, Надька, ты чего? Так получилось, говорит. Я с этим иродом тридцать лет прожила, и как теперь.

Петрович, говорю, имей же совесть, она с тобой, иродом, тридцать лет прожила! Надька, спрашиваю, а чего ты с ним столько лет прожила? Так получилось, говорит...

Я голову поднял, смотрю, на небе – бог, я ему говорю – ты сошел с ума? Почему Петрович умер, хотя Надька с ним тридцать лет прожила, и как теперь? Почему супермодель Адrenalина Стар похудела на два килограмма, а скоро похудеет вообще на пять, хотя я считаю, что ей не идет? Почему я ей до лампочки вообще? Почему Папу Римского не интересуют наши проблемы, да и никого они, если честно, не интересуют, господа? Почему?

И жду, прямо жду ответа с неба: так получилось! Так получилось, блин! Вот, думаю, пусть так ответит, я ему задам. «Так получилось», зараза. Так сделай, козел, чтоб получилось иначе! Кто тут бог?

А он молчит. Просто молчит, и все. Как Петрович в гробу, как Адrenalина Стар, которой я до лампочки, как Надька, которая плакать больше не может, глаза распухли, молча в углу сидит. Чего ты, господа, спрашиваю, молчишь? Глаза распухли, плакать больше не можешь?

И тут вдруг дождик. Легкий такой, грибной. Слава богу: может, значит, плакать. Надька встала, поправила платье, пошла к Митяю с установочного. Адrenalина Стар с газетной страницы плюет на Папу Римского, шашлыки себя сами замариновали и поставили в холодильник, чтобы завтра прямо с утра поехать в лес. Я на небо поднял глаза – а там Петрович. Крылом показывает нос.

Я ему: Петрович, ты что, ангел теперь? А он смеется: так, мол, получилось. Я такой: Петрович, а мы? А он отмахивается крылом: вы же живые. Теплые, мягкие. Чего с вас взять вообще.

## **С СОБАКАМИ, КОШКАМИ, ПТИЧКАМИ И ХОМЯЧКАМИ**

Под окнами парк, в парке гуляют пациенты соседней больницы. Кто-то хохочет, кто-то играет с детьми, кто-то разговаривает в кустах.

– Ты меня слышишь? Я хотел тебе рассказать. Ты меня точно слышишь? Я очень хотел тебе рассказать! Я люблю тебя. Слышишь? У нас тут такое... Ты знаешь, да? Но это не главное. Главное – я люблю тебя! Ты меня точно слышишь?

Носится по дорожке – то ли мальчик, то ли девочка, бесполой, хрупкий, лохматый, в джинсах. Без собеседника, без телефона. Один.

– Ты меня слышишь? Я люблю тебя.

Когда раздается сирена, их уводят в дом, под защиту лестничной клетки. И оттуда, под взрывы, под детский плач:

– Ты меня слышишь? Ты меня точно слышишь?

Я люблю тебя.

Я люблю тебя.

Я люблю тебя.

*Бат-Ям. Есть гостевая комната с двуспальной кроватью и кошка. Можем принять семью с двумя детьми и каким-нибудь животным.*

*Кирьят-Оно, есть свободная комната, можем принять пару с ребенком.*

*Кармиэль, две свободные комнаты и три двуспальные кровати. Домик с садом, идеальные условия для курящих.*

*Из объявлений в сетевом сообществе «Самооборона»*

– Всем шалом, начинаем девятое совещание по разработке вспомогательных тестов для боевых частей. Ханан, оторвись от телефона, я тебе сейчас голову оторву. Нурит, ты не смотришь в окно, ты ведешь протокол. Из наших исследований стало очевидно, что (сирена) ...черт, опять не дают работать. Быстро все в убежище, что значит «соберу бумажки», какие бумажки, бегом в комнату номер восемнадцать. Кто спросил «а насколько она защищена»? Не знаю, но вот инструкция командования: «В случае сирены все перемещаются в комнату номер восемнадцать». Неважно, насколько она защищена, важно, что она – номер восемнадцать. Все прибежали? Сели на корточки у стены, руки на голову, голову пригнуть к коленям. Считаем десять минут.

Бум.

Бум.

БУМ.

– У нас дома обычно тише, да. Хотя чаще.

Это Нурит, она живет в Сдероте. С десяти лет под сирены над головой.

– Нет, это не попали. (Бум!) И это не попали, звук другой. (БУМ!) А вот это попали.

Со стены мягко сыплется штукатурка. Десять минут истекли. Пошли обратно.

*Живу в Ришоне. Могу предоставить свою кровать, сама перейду в салон.*

*Ариэль. Гостевая комната с диваном, там же на полу можно положить матрас.*

*Комната в Тель-Авиве. Одна кровать для двоих человек.*

– В этом исследовании мы хотели подчеркнуть важность тех качеств солдат, которые позволяют нам прогнозировать (сирена). Побежали!

Комната номер восемнадцать, сели на корточки у стены, руки на голову, голову к коленям. Считаем десять минут.

Свист. Бум. Бум. Свист. Вой скорой помощи. Еще одна сирена.

– Давайте прямо тут продолжим, у меня ноги устали бегать туда-сюда.

– Тебе хорошо, а мы еще спускаемся три этажа!

– Ничего, похудеешь... Так вот, те характеристики солдат, которые являются свидетельством (сирена) ...сели на корточки, руки на голову, пригнули голову.

Бум!

Ронен негромко молится, Ханан негромко матерится.

Нурит хихикает.

– Мама не разрешает мне слушать такие слова.

– А ездить сюда на службу тебе мама разрешает?

– Да. Тут безопасней, чем у нас.

Бум. Бум. БУМ. Стена трясется. Руки на голову, голову пригнуть.

– У меня уже шея болит!

– Сделать тебе массаж?

– Убери руки. Нахал.

– Ну а чего, я только массаж, я же не предлагаю тебе...

Бум!!!

– Хватит трепаться, быстро всем лечь у стены.

– О, а вот теперь предлагаю.

– Пошляк. Мне мама не разрешает...

Бум!

Черт, черт, черт. Нельзя показывать им, что я боюсь. Они же дети.

– Лена, у тебя дома есть животные?

Руки трясутся. Нельзя, нельзя, нельзя.

– Есть. Собака.

– А как вы затаскиваете её в убежище?

– Нурит, Лена в Иерусалиме живет!

– Ой, верно. Хорошо вам в Иерусалиме. С собакой никаких проблем.

– Это точно. Куда пошли? Какие «десять минут»? Кому сказали, здесь и сидеть!

– Лена, мы на минуточку. Мы сейчас.

*Мы в Араде, до нас не достреливают. Можем принять пожилую пару или двух женщин. Желательно – некурящих (мой ребенок – астматик).*

*Петах-Тиква. Можем принять семью с ребенком и собакой.*

*Хайфа. Есть отдельная комната с двуспальным диваном. Будем рады принять женщину с ребёнком или двумя.*

Нурит хихикает, Ханан и Ронен увлекают ее в коридор. Лена осторожно выглядывает наружу: там солнце, пыль и тишина. Может, выйти? Сирена. Вот зараза, а эти герои где?

Бегут обратно. Что-то тащат.

– Вы с ума сошли, где вы шляетесь, я же сказала...

Бум!

– Быстро под стену, руки на голову... это еще что?

Огромный кремовый торт.

– Лена, у тебя же сегодня день рождения!

– Оу. Да.

– Мы хотели тебя поздравить!

*Гуш Эцион, поселение Элазар. Есть комната для взрослых и комната для детей.*

*Хайфа, одна небольшая комната. Могу принять одного-двух человек.*

*Мы живём в Самарии, в поселении Римоним. Готовы принять семью с детьми. Есть диван в салоне, раскладушка, маленький диванчик... как-нибудь разместимся.*

Достают коробку свечей и начинают втыкать свечи в торт. Сорок штук. Воткнули десять, опять сирена.

– Легли, быстро! Руки на голову, голову пригнуть!

Бум.

Тишина.

Встали.

Еще десять свечей. Двадцать одна, двадцать две. Тридцать девять.

– Ханан, почему ты купил такой маленький торт?

– Это был самый большой торт в магазине! Я не виноват, что ей так много лет!

– Я тебя убью, «много лет»!

Сирена.

– Без тебя убьют...

Легли. Встали. Запасливый Ронен вынул спички, зажгли свечи. Сорок штук.

*Есть комната в Тель-Авиве с одной кроватью.*

*Живу севернее Явне, у нас уже нет сирен. Могу положить пару человек на полу на матрасах.*

*Клиль, деревушка в Западной Галилее. В доме есть ещё две гостевые спальни. Семью-две можно принять с комфортом, человек десять – вповалку.*

– Дорогая Лена, ты лучший в мире командир, мы поздравляем тебя с днем рожденья! Давай загадывай желание!

Сирена.

– Может, хрен с ней?

– Я тебе дам хрен с ней! Быстро лечь!

Упали под стену. Руки на голову, голову вниз. Бум! Стена трясется. На столе торт, на торте горят праздничные свечи. Сорок штук.

Какое бы мне желание загадать, вот уж действительно.

*Живу одна, есть место для женщины с ребенком.*

*Нетания, свободен салон с раздвигающимся диваном.*

*Мы тоже с юга, но в Эйлате пока не бомбят. Примем людей, можно с собаками, кошками, птичками и хомячками.*

– В пятницу утром в отделе должен дежурить один офицер и один солдат. Из офицеров приеду я. Кто из солдат?

Нурит дожевывает торт и облизывает пальцы.

– Давайте я. Мне все равно, я привыкла. У нас все равно сирены чаще, чем здесь...

Бум!

– ...раньше были.

– Нурит, тебя мама не отпустит!

– Отпустит, если я скажу, что ты уехал домой.

*Иерусалим, семья с двумя детьми и собакой, можем разместить еще одну семью.*

Домой.

Хуже всего – когда сирена застает в дороге. Надо остановиться, вылезти из машины на пустое шоссе, лечь на землю и ждать.

Бум! Далеко.

Радио говорит, что прозвучала сирена в Иерусалиме. Там дети дома одни.

– Ханочка, ты меня слышишь? Не надо плакать, бегите в папин кабинет. Закройте дверь, Астру возьмите с собой. Что значит «не хочет»? Тащите силой.

Собачий лай, вой сирен. Далекие взрывы. Вернуться в машину – уже все равно. Домой, быстрее домой.

Ты меня слышишь?

Не надо плакать.

Я люблю тебя.

Я люблю тебя.

Я люблю тебя.

Ты меня точно слышишь?

Домой.

## ДЕНЬ ЛЕМУРА

– А вы знаете, как определить пол лемура? – обратилась заведующая отделом приматов к толпе детей.

На мой неосведомленный взгляд, определить пол лемура довольно просто. У лемуров довольно большой, гм, пол. Этот пол настолько велик, что, когда лемур сидит, его пол лежит некоторым образом отдельно от него. В смысле рядом. Если лемур – мальчик, конечно. Если лемур девочка, то рядом с ним, сидящим, ничего не лежит. Мне казалось, что этого достаточно для определения пола.

– Не знаете? – хитро сощурилась заведующая отделом приматов.

Дети выжидающе молчали. Взрослые молчали с нарастающим интересом.

– Очень просто! Лемуров-мальчиков сразу видно по черным точкам на груди!

И точно. У всех лемуров на груди – белая манишка. Только у девочек она чисто-белая, а у мальчиков – с черными точками по краям, будто эту манишку защипывали с боков, как тесто в пирожке. Лемуров-мальчиков защипывали грязными руками, поэтому у

них на манишке пятнышки. Которые сразу видно, поэтому и лемуров-мальчиков сразу видно – примерно как негритянского боксера легче всего отличить по голубой каемке на трусах.

Это нам страшно повезло: мы оказались в зоопарке. Зоопарк и сам по себе прекрасное место, но рука провидения привела нас туда в очень особенный день. Можно сказать, в день лемура.

В Иерусалиме в вольер лемуров запросто можно зайти: гость идет по аллее, а вокруг прыгают хозяева. И в день нашего визита они тоже прыгали. Но как! Я много раз была в этом зоопарке и много раз видела лемуров. Они казались мне довольно флегматичными созданиями, грациозными, но не слишком общительными. А тут – толпы лемуров оживленно бегали по лужайке, играли, жевали фрукты, приставали к посетителям, кувыркались и летали над нашими головами. Толстые серые тушки, серо-полосатая раскраска и черные «маски» на большеглазых головах – точно толпа застенчивых грабителей, которых за хорошее поведение всей тюрьмой вывезли на пикник.

В роли начальника тюрьмы выступала заведующая приматов, рассказывающая гостям о причине такого веселья. А сейчас я заранее прошу прощения у тех из моих читателей, кто лишен черных точек на белой манишке. Сейчас нам всем предстоит тяжело вздохнуть.

Оказывается, самка лемура может забеременеть только один день в году. Точнее, одни сутки. Раз в году, в течение двадцати четырех часов, у нее длится то, что мы называем «опасными днями» (правда, в данном случае это правильнее назвать «опасными часами»). Все остальные дни у нее совершенно безопасны.

Когда специалист по приматам нам это рассказала, женский голос в толпе негромко, но отчетливо сказал: «Блин».

Я было тоже мысленно сказала «блин», но тут мне позвонила моя подруга Дина, филолог с исключительно трезвым взглядом на мир. На ее невинный вопрос «как дела?» я немедленно поделилась интимными подробностями из жизни лемуров. А она ответила: послушай, но если они могут забеременеть всего один день в году, значит, им и хочется этого всего день в году! Проблемы контрацепции для них, конечно, не существует – но и темы секса как таковой не существует тоже. Ну, раз в году.

Причем, что характерно, для всех сразу. У них за это отвечает коллектив.

Мда. Наш вид при таком раскладе долго бы не протянул. И дело даже не в том, что мы остались бы без рулад, баллад и соловьиных рощ (хотя одно это свело бы жизнь в мышиную нору). Но вы представляете, во что разнузданное человечество превратило бы землю за те двадцать четыре часа, когда ему, наконец, *дают*?

Так вот, про лемуров. Оказывается, они, единственные из приматов, могут сами решать, каким будет пол будущего ребенка! Ле-

муренка то есть. В ситуации, где нужны самцы, рождаются самцы, там, где требуются самочки – соответственно. Человечество для себя эти вопросы тоже худо-бедно регулирует, но только на макроуровне и за десятки лет. А лемуры – в каждой маленькой стае и каждый раз. Кого хотят, того и рожают. А кого не хотят – того, следовательно, нет. И земля цела.

На самом деле, оно и понятно. Если у тебя всего один день на зачатие, на самотек пускать опасно. Мало ли, что там получится... с непривычки-то.

Впрочем, нудноватое человечество и тут бы переругалось: если, скажем, муж хочет мальчика, а жена – девочку. Кто будет решать? Какие-нибудь несчастные пять девочек станут железным поводом для развода: пойді докажи, дорогая, что у тебя это случайно получалось. Все пять лет. То есть раз.

У лемуров-то все без вопросов решает жена. Кого жена решила, того и рожаем – и я не уверена, что самец лемура вообще в курсе, что мы тут что-то «решаем». Его раз в год возбуждают, удовлетворяют и оставляют в покое на год. За это время у него рождается отпрыск нужного пола, а он себе может, не отвлекаясь, жевать бананы и качаться на полосатом хвосте. Вместе с отпрыском.

Да, у лемуров царит матриархат. В обществе, где фактически отсутствует тема секса, поневоле будет матриархат. И лемуры сами, в рамках своей иерархии, решают – у кого из самок раньше рождаются дети. Сначала беременеет главная самка в стае, после нее идет клиентура помельче. Когда мало корма или стоят холода, самые слабые самки не беременеют вовсе. Поэтому ни с голодом, ни с перенаселением у них тоже нет проблем.

(В этом месте сжали зубы сторонники принудительной стерилизации. Впрочем, законопроект провалился бы на стадии определения, кто именно у нас теперь лемур.)

Удивительно стабильное общество эти нежные приматы. Секс раз в году, матриархат, девочки дружат с девочками, мальчики – с мальчиками, большую часть времени тишь, гладь да железная иерархия. И никаких проблем с контрацепцией. Красота.

(В соседнем с лемурами вольере живут мандрилы – здоровенные обезьяны с надменными лицами и ярко-красным задом. Так вот, у них – никакого матриархата. На наших глазах один из юношей-подростков, забывшись, начал дразнить кормящую самку. Она немедленно дала ему в пятак, юноша визгливо возразил, на крики озабоченными прыжками прибыл патриарх и мощным тычком отправил юношу за бугор. После чего, не глядя, нашарил позади себя одну из жен и быстро доказал всей округе, кто здесь самец. Обиженный юноша подвывал, но не спорил, восхищенные самки молча кормили детей. У этих тоже явно не было проблем с контрацепцией – правда, решались они немного в ином ключе.)

Мы провели у лемуров почти все наше время. Цокали языком, слушали лекцию и любовались непривычно оживленными хозяевами, которые в прямом смысле слова не давали пройти. Нам да-

же удалось одного из них погладить. Праздничный обед был в разгаре, и «наш» лемур, увлекшись разглядыванием Муси, уронил банан. Муся подняла банан и подала обратно, лемур с серьезным видом взял – и не отодвинулся, когда она дотянулась ладонью до его серой шерсти. Мы с Димой осмелели и погладили тоже. Лемур нас понюхал. Он был нежно-шерстяным на ощупь и немного пыльным, как старая детская шубка, давно висящая в шкафу.

А Ромочка трепала лемуров, как хотела. Оказывается, они воспринимают детенышей человека просто как детенышей – и не возражают, когда те их трогают (если дотягиваются, конечно). В данном случае дотянуться было несложно: лемуры сидели везде и сами лезли в руки. Роми, ростом чуть выше крупного лемура, свободно перемещалась между ними, гладила, теребила за хвосты, что-то восторженно вещала – в общем, вела себя как дома, где «киску можно трогать, только нежно». Ребенок, выдрессированный трогать животных «только нежно», очень тактично обращается с лемурами. Они сочли ее своей. Детеныш человека бегал среди лемуров и был от них совершенно неотличим.

– Жалко, что у нее нет серого полосатого хвоста, – вслух подумала я, глядя как Дима, перегнувшись через кусты, добывает Ромку из пестрых лемурьих объятий. – Как было бы удобно вытягивать ее за хвост из всяких неудобных мест!

Стоящая рядом со мной работница зоопарка серьезно отозвалась:

– Нет, нельзя было бы вытягивать за хвост. Хвост – это продолжение позвоночника, за него нельзя тянуть. Так что ее хвост был бы, в нашем понимании, бесполезным.

Подумала и добавила, присмотревшись к сероглазой Ромочке, бегающей за серым лемуром:

– Хотя красиво, конечно...

## ИТОГО

### *Посвящается аспарагусу*

Когда я заболеваю, у меня сразу портится настроение. Такой побочный эффект любой болезни: не то чтобы прямо депрессия, но, честно говоря, почти она. Кашляю и страдаю.

Пожаловалась папе.

– А ты делай, как я, – предложил он. – Стоит мне захандрить, я сразу начинаю подводить итоги жизни.

Я удивилась. Мне казалось, итоги целой жизни мне еще рано вато подводить.

– Ну что ты, – с жаром отозвался папа, которому в этом году исполнилось восемьдесят семь, – итоги можно когда угодно подводить.

– Папа, – говорю, – мне же еще не так много лет!

– Ну и что, – отвечает папа, – сколько есть, столько и подводи. Неважно, за какой период. Просто думай – вот это я успела, вот

это и это у меня хорошо, вот эта и эта беда меня минула... И станет легче. Вот увидишь.

– Но послушай, – все-таки спорю я. – Возможно, с тобой это и так. Но стоит мне начать подводить итоги, как сразу становится очевидно, как много в жизни я еще не успела! И вот этого, и того, а это вообще неясно, как начинать. У меня еще куча дел! И что с ними делать?

– Делай, – ответил папа.

\* \* \*

Стою в магазине, выбираю продукты. Утро, магазин почти пустой.

– Простите, – раздается тихий голос, – вы не можете мне достать с верхней полки вон ту коробку?

Тихий голос принадлежит худенькой старушке в платке и чуть ли не в халате. Явно набросила что-то на плечи и вышла в магазин. Тот факт, что человек попросил меня что-то достать ему сверху, много говорит о его росте. Старушка не достает не то что до верхних – до средних полок.

Я трезво прикидываю свои возможности, встаю на цыпочки, вытягиваю руку, подпрыгиваю – и в прыжке достаю-таки вожаделенную коробку. Точнее, сшибаю на пол. Поднимаю, подаю старушке. Старушка смеется, благодарит и убредает к дальним стеллажам, где продолжает набирать себе что-то незаметное – там булочку, здесь баночку йогурта и кусочек сыра.

Я смотрю на нее и понимаю, что старушку надо предложить подвезти. Мало-помалу, но со всеми баночками и булочками у нее образуется здоровенный баул, который она с явным трудом несет до кассы. Встаю за ней, плачу за свои продукты и выхожу следом. «Вот, – думаю, – сейчас предложу».

Но не успеваю. Еще паркуюсь, я заметила рядом со своей машиной огромный серый «крайслер». Весь какой-то перламутровый, гордый и сияющий. «Бип», – говорит «крайслер», заметив старушку. Старушка поправляет платок, запикивает баул в багажник, садится за руль, бойко выкатывается с тесной стоянки и уезжает, на прощание издав в честь меня лихой гудок.

\* \* \*

Еду домой, на тремпиаде беру попутчицу – американку Тову. Тове семьдесят лет, она носит смешные очки и джинсовые шорты, у Товы короткая стрижка и цепкий сердитый взгляд. Садится рядом со мной, снимает с руки часы. Подносит к уху.

– Я только что купила батарейку к этим часам, а она уже села. Третья подряд. Первая проработала семь лет, вторая – два года, третья – двадцать минут. Говорят, к старости жизнь ускоряет свой темп, но не в такой же степени!

Това трясет часы. Часы страдают, но молчат.

– В Израиле мне очень тяжело с необязательностью. Люди обещают что-то и не делают, при этом уверены, что делают! Я работала на Уолл-стрит, привыкла, что если тебе говорят «а» – это «а», а не «б», «в», «з» и все что угодно. А в Израиле ты выучиваешь весь алфавит, пытаешься просто сменить батарейку в часах...

– А кем вы работали на Уолл-стрит? – я сгораю от любопытства.

– Брокером. Жуткая работа. Никакого смысла, сплошные деньги. Я приехала в Израиль, чтобы жить в маленьком месте. Нью-Йорк – это ежедневно мимо тебя проходят семь миллионов человек. Я хотела жить там, где остальные семь миллионов будут жить где-нибудь еще. Приехала в Нетанию, в тихий маленький район. За два года у меня во дворе построили восемь зданий... Теперь я живу в поселении и очень довольна. Купила дом в самом старом месте поселения, чтобы здесь уже точно ничего не начали строить.

Она задумывается.

– Вообще-то, с этой точки зрения лучше всего жить на кладбище. Вот где довольно редко строят.

– Зато часто копают, – я киваю на похоронную процессию за окном.

– Что поделать, – вздыхает Това. – Всюду жизнь.

Уже выходя из машины, она замечает моего ребенка. Окидывает его серьезным взглядом из-под очков и машет рукой.

– Пока, цыплак!

Встрепенувшийся цыплак радостно машет ей в ответ.

– Вот, – говорит мне Това таким тоном, будто я с ней спорю. – Завтра поеду и куплю себе новые часы.

\* \* \*

В одном иерусалимском дворе много лет висели качели. Обыкновенные качели: две палки и между ними доска. Висели долго, никому не мешали – до тех пор, пока во дворе не решили строить современную детскую площадку, с мягким покрытием и сложной системой горок и лестниц. Качели в систему не входили. Их снесли.

На это никто особо не жаловался, потому что новая площадка оказалась красивой и удобной. Но потом в муниципалитет пришло письмо от Сары К. «Я каждый день выходила из дома, – писала Сара К., – чтобы сто двадцать раз качнуться на качелях. Так велел мне врач, для стабилизации давления и укрепления вестибулярного аппарата. Мне девяносто три года, я живу в этом доме с тех пор, как его построили, и тридцать лет каждое утро качалась на качелях. А вы убрали качели, и мне негде качаться! У меня уже поднялось давление, и я плохо себя чувствую. Вы считаете, это положительный итог обновления детской площадки?»

Муниципалитет признал, что этот итог нельзя считать положительным. Теперь в том дворе, сбоку от новой детской площадки, снова стоят качели. Старого образца: две палки и между ними – доска. На этих качелях каждое утро качается Сара К.

\* \* \*

– У нас на лавочке работает клуб пенсионеров, – это опять рассказывает папа. – Одному товарищу там девяносто шесть, другому – девяносто три, а третьему – девяносто пять, но он всем врет, что восемьдесят девять. Его уже разоблачили, но он не признает

ся все равно. У них там фейс-контроль: останавливают стариков у подъезда и предлагают им «поговорить». Меня ни разу еще не ловили. Я всегда хожу мимо них быстрым шагом, в темных очках и только с мамой.

\* \* \*

– Человек, – говорит моя супервайзер Мариза (ей вот-вот исполнится девяносто, но она не очень любит уточнять, когда именно – может быть, и в прошлом году), – рождается либо с эмоциональным талантом, либо с когнитивным. И задача каждого – всю жизнь развивать ту часть, которой ему не досталось. У меня, например, от природы сильный интеллект. И я всю жизнь развиваю свои эмоции.

– И как? – спрашиваю я. – Получилось?

Мариза задумывается и признается:

– Еще не до конца. Но я учусь.

Мариза считает, что работать головой – это легко. Все, чего можно добиться, просто сев и подумав, – это прекрасные несложные задачи. Сложнее с теми задачами, которые не решаются мыслительным процессом. Но зато можно сесть и подумать, нужно ли тебе вообще их решать.

\* \* \*

В магазине видела консервную банку с красивой этикеткой. На этикетке надпись: «Аспарегус целый, чищенный и белый». Не этикетка – поэма. А если смотреть с точки зрения аспарегуса, то даже вполне себе итог.

Прекрасный итог, одно удовольствие подводить: ты просто живешь и осознаешь, насколько же ты целый, чищенный и белый. Или такой подход провоцирует завышенные требования к себе? Жаль, что об этом нельзя спросить аспарегус.

Точнее, спросить аспарегус можно о чем угодно. Но вряд ли он ответит.

Я покупаю аспарегус целый (чищенный и белый) и учусь ни о чем его не спрашивать. Я согласна с Маризой, что работать головой – это легко, мне еще далеко не девяносто лет, я кашляю и делаю дела, время идет все быстрее, но батарейка в часах еще работает. А если она сломается, мы купим новые часы. Часов на свете – бесконечное количество, и на всех идет наше время. Если подумать, это вполне себе итог.

*Марьян Беленький*

## *КЛЯТВА*

*С чего начинается Родина?  
С картинки в твоём букваре...*

В нашем букваре было «Ленин и Сталин друзья, Ленин и Сталин братья». Когда я вырос, я понял, что это правда. В нашей хрестоматии по украинской литературе был отрывок из поэмы Шевченко «Гайдамаки» со словами: «Бий ляха, бий жида!» Учительница Нина Петровна заставляла это выучить на память и вызывала всех к доске. Все евреи в классе отказались, и она всем поставила двойки. Только одна Роза Шварцман вышла к доске и, краснея и запинаясь, прочла текст. Нина Петровна поставила ей четверку. Недавно я Розу встретил. Она работает в отделе пропаганды Еврейского агентства. Меня туда на пушечный выстрел не подпускают. И я их понимаю.

*...С хороших и верных товарищей,  
Живущих в соседнем дворе.*

В соседнем дворе жили пацаны, которые приходили в наш двор отнимать у нас, малышни, игрушки. Все это продолжалось до тех пор, пока я не начал пересказывать прочитанные книги. Я быстро понял, что адаптация к современным условиям приносит оглушительный успех. Меня не только перестали бить, но даже угощали – вначале мороженым, а потом пивом и сигаретами. Граф Монте-Кристо бежал из Лукьяновской тюрьмы, переплывал Днепр в районе Труханова острова. Пираты нашли клад как раз под пивным киоском на углу Волошской и Нижнего Вала. (Через пару дней я обнаружил, что киоск был сдвинут, а там, где он стоял – выкопана яма). Необитаемый остров Робинзона находился прямо посреди Днепра. А все вещи он брал с проходивших мимо грузовых барж. Конечно, я понимал, он был никакой не Робинзон, а Раввинзон. По-нашему – Рабинович. Но об этом я никому не говорил. Приехав в Израиль, я узнал, что Крузо, Карузо, Круз – популярная фамилия среди сефардских евреев. В иерусалимском телефонном справочнике я нашел двадцать три Крузо. Кстати, еще более популярные сефардские фамилии – Кастро и Франко.

Лучшими друзьями мушкетеров были подольские авторитеты Паця и Чурочкин. А роль Миледи играла Динка – продавщица из молочного, жена мясника Зюни. Потом они уехали в Америку. Волшебный театр Буратино располагался в подвале нашего дома, за мешками с картошкой. А ключ от театра был у сумасшедшей Мани, которая жила рядом с уборной, воняла и тряслась.

За успехи в деле пропаганды мировой литературы меня даже взяли в компанию к Витьке, который накануне вышел из тюрьмы и учил пацанов виртуозному искусству карманного воровства. У него была татуировка на пальцах. Если пальцы сложить, получалась фраза «Дай ебать». Психомоторные навыки у меня сохранились. И

сейчас мог бы выудить у фраера из заднего кармана «лопатник» при помощи рыболовного крючка и лески. Задний карман брюк подрезается заточенным пятакон. Но я по этой специальности работать не стал, у меня были другие интересы – я хотел прочесть все книжки.

Дорогие читатели! У меня к вам большая личная просьба – не держите ничего в заднем кармане брюк!

*...С той самой берёзки, что во поле,  
Под ветром склоняясь, растёт.*

Березки у нас во дворе не было. Ее заменяла дворовая уборная, из которой днем и ночью, зимой и летом текла вонючая жижа. Над этой жижей круглосуточно кружились стаи откормленных жирных переливающихся мух. Уборная была одна на весь двор, где жило полсотни семей. Так что строки Высоцкого «На тридцать восемь комнаток всего одна уборная» воспринимались бы нами как описание комфорта. Когда заходишь в уборную, нужно было постучать дверью, чтобы крысы разбежались. И они бегали прямо по ногам. А зимой нужно было сидеть с голой жопой при минус двадцати. По квартирам тоже бегали крысы. Маленьких детей нельзя было оставлять – крысы могли напасть.

В каждой комнате висели липкие ленты-мухоловки, которые нужно было менять несколько раз в день. Перед приходом гостей мухоловки снимали.

Родина начиналась с байковых кальсон, которые все мужчины носили зимой. В этих кальсонах целый день находились на работе в жарко натопленных помещениях, в них же спали. Белье меняли раз в неделю, в бане. Видимо, все люди сильно пахли, особенно зимой, да и летом, но это мог заметить только человек из другого мира. По субботам мы с отцом ходили в баню. Мать завертывала белье в газетку и тщательно следила, чтобы на ней, не дай бог, не было портретов руководителей партии и правительства. Наш дед ушел в баню с газетой с портретом Кагановича. Забрали его прямо в бане. Больше его никто не видел.

Жили мы восемь человек в маленькой комнате в коммуналке. Спал я на раскладушке, уроки делал за обеденным столом, накрытым газетой. Если бы кто-то попытался нам объяснить, что так жить плохо, неудобно, его бы не поняли. Так жили все вокруг.

Разумеется, вы, дорогие читатели, жили совершенно иначе. У вас была отдельная квартира с душем и туалетом. А икру и сервелат вам по субботам привозили домой. Так что извините меня, пожалуйста, за мои неправильные воспоминания. Но ушли мы из коммуналки, только когда мне исполнилось двадцать один год и я вернулся из армии. В 1971 году. Отец стоял в очереди на квартиру двадцать пять лет. Если бы он за это время уволился или умер, мы бы квартиру не получили.

*...Со старой отцовской будёновки,  
Что где-то в шкафу мы нашли.*

В шкафу я нашел какую-то пожелтевшую скатерть с полосками и кисточками.

– Это талес, – сказал отец, – спрячь и никому не показывай.

Отец работал в артели, выпускающей посуду, и приносил домой тарелки, чашки, блюда. Все это мы обменивали на Житнем базаре на сало, картошку, творог, мед и другие общественно-полезные продукты.

– Запомни, – учил отец, – если сегодня ничего у государства не взял, значит, день прожит зря. Кто не ворует у государства, тот ворует у своей семьи. Тебе нужно хорошо учиться, чтобы устроиться на хорошую работу. А хорошая работа – там, где есть, что взять.

Родина начиналась с бутылок, которые мать приносила с работы. Она работала на химфармзаводе им. Ломоносова и каждый день приносила домой пару бутылок спирта. Я его продавал в классе ребятам, чьи отцы выпивали. Пол-литра спирта – за три рубля, а в магазине бутылка водки стоила два восемьдесят семь и три двенадцать. Так что у нас брать было вдвое выгодней. Об этом узнала директор школы, вызвала меня к себе, заперла дверь и, жутко краснея, сказала, что маме нужен спирт для компрессов, а в аптеках он дорогой. С тех пор моя успеваемость резко повысилась. На праздники учителя получали от отца сервизы.

Все это я потом записал в рассказе, опубликованном в журнале «Костер». Это был рассказ о тяжелой жизни американских рабочих, которые, чтобы не умереть с голоду, таскали с завода посуду и продавали. А их ловила полиция и бросала в капиталистические застенки. Спустя полвека я встретил в Израиле свою редакторшу из «Костра». Узнал я ее по фамилии, ей было под восемьдесят. Вот что она рассказала. Однажды в журнал пришло письмо от мальчика из Питера: «Уважаемая редакция! Я хочу, когда вырасту, пойти работать в КГБ. Что для этого нужно?» Ее вызвал главред: «Маша, надо ответить этому придурку, а то он на нас настучит».

Патриотическая лирика в нашей семье успехом не пользовалась. Услышав «Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», отец комментировал: «Идиёт! Сиди дома, у той Гренаде без тебе разберутся. Хотя если привезти оттуда пароход апельсин и продать на Житнем базаре...»

Родина начиналась с очередей. Огурцы и помидоры продавали только в сентябре, нужно было отстоять несколько раз, взяв по три кило в руки, чтобы закрутить в банки на зиму.

Родина начиналась с разговоров про жидов. «И як отым еврэям нэ стыдно, що вони уси жыды». Статья в газете «Вечерний Киев»: «За хищения привлечены И. Иванов, А. Петров и Абрам Соломонович Шейтельман».

Родина начиналась с вранья. Учительница Полина Ароновна, сильно картавя, говорила, что в царской России ничего не производилось, даже иголки завозили из-за границы. А в подвале школы стоял токарный станок производства Путиловского завода, 1913 года, так в 60-х он еще работал.

*...И с клятвы, которую в юности  
Ты ей в своём сердце принёс.*

Это была клятва свалить с родины при первой возможности.  
Я ее выполнил.

*Инна Лиснянская*

### *ВОЛЯ И ЗАПАДНЯ*

\* \* \*

Прибывают волны света,  
Разрывают темноту,  
Я разута и раздета,  
Ставлю музыку не ту,  
Ставлю ту, что видит дали,  
Ставлю – сердцу на разрыв.  
Остальное – всё детали,  
Музыкальный перерыв.

\* \* \*

Я тереблю коровья вымя –  
Всего три ложки молока,  
А дальше – время, дальше – имя,  
И облака, и облака...  
О как мои попытки жалки,  
И я клянущ тщету свою:  
На свежевывожженной лужайке  
Корову старую дою!

\* \* \*

Ленивица, довольно тебе спать,  
Ты разные глаза свои протри,  
И застели лохматую кровать,  
И кофе себе чёрное свари!  
Комфорка с кофеваркой ждут тебя,  
И размышленья тоже тебя ждут.  
На всё про всё в начале сентября  
Даю тебе одиннадцать минут!

\* \* \*

Целый день сижу и думаю,  
И, конечно, надоело –  
Черепушка стала дурую,  
И душою стало тело.

Это мне преобразование  
Очень дорого досталось:  
Факт – моё воображение,  
А итог – моя усталость.

\* \* \*

*Сергею Макарову*

Вечер. И в окна щедро  
Веет морская соль.  
Лечат морские недра  
Внешнего мира боль.  
В воздухе чёт и нечет,  
Воля и западня.  
Время успешно лечит  
Только ожоги дня.

\* \* \*

Поэты – соперники,  
Но не собратья,  
Растим мы бессмертники  
В южных объятьях.  
На что мы отчаемся,  
Сами не знаем.  
Мы в слове встречаемся  
И умираем.

\* \* \*

Мы не птицы певчие,  
А поём весь день,  
Аж до боли в печени,  
А умолкнуть лень.  
У меня, у дурочки,  
Замолчать нет силушки,  
У моей у дудочки  
все забиты дырочки.

\* \* \*

Море и земля,  
Люди и города,  
Не расставалась я  
С вами никогда.

Даже моя злость  
Делалась добром,  
А что потом стряслось,  
Я расскажу потом.

\* \* \*

Фантастика есть быль,  
Научная подсказка.  
Идёт, глотая пыль,  
Усушка и утряска.  
И несколько минут  
Вся жизнь твоя – пирушка,  
Когда в душе уют –  
Утряска и усушка.

\* \* \*

Я даже в царской не нуждаюсь мантии,  
Сама себе – царица и пророчица,  
Профессию одену в графомантию  
И воспою всё то, что мне захочется.

\* \* \*

Луна себе на горе  
Спустилась в водоём,  
А это было в море,  
В стране, где мы живём.  
Нам о луне безвестье  
Поставили в вину –  
Нет, никакою сетью  
Не выловить луну.

\* \* \*

Бес в ребро, седина в виски!  
Говорят, на Марсе красные пески.  
Говорят, на Марсе золотые льды –  
Только не хватало эдакой беды!  
Микроорганизмы ходят ходуном,  
Небеса на Марсе возлежат вверх дном.  
Говорят, что звезды в космосе не те,  
Говоря серьезно – дело в слепоте.

*июль 2013*

*Елена Макарова*

## *ПОВЕЩЕНИЕ\**

*Возьмемся за руки и пойдём  
в разные стороны.*

Из сокровенного

*И одна у нас, доченька, мечта –  
собраться вместе, лечь на печку,  
да и помереть в одночасье.*

Из народных дум

*Курей завезли.  
Очередь в два кольца,  
А посредине гвоздик.*

Из Веры Ивановны

Евреи похожи на птиц. Кто на орла, кто на воробья. Израильский писатель Бенцион Томер (зови меня просто – Бенци) похож на воробья. Жарким августовским днем мы сидим с ним в саду под не очень-то развесистой низкорослой пальмой и, постепенно испаряясь, наполняем воздух словами. Кажется, сад продувается не ветром, а микроскопическим капиллярным душем, при этом вся растительность пересохла, а мы обильно выделяем пот.

Пять месяцев тому назад Бенци пережил клиническую смерть, а я пять месяцев тому назад приехала в Израиль. Мы одновременно начали вторую жизнь и теперь составляем избранное из первой.

### **Истории, которые приятно рассказывать, но лень записывать**

– Гуляем мы как-то с университетским профессором, кстати, замечательным поэтом, поздним вечером по Иерусалиму. Вдруг он останавливается и делает вот так, – Бенци топчет подошвами траву, – топчет-топчет... Я спрашиваю, что случилось, а он отвечает вопросом на вопрос: Бенци, у тебя есть деньги, можешь одолжить до завтра? Есть, я только что получил стипендию. И у него что-то оказалось. Он взял такси – в Тель-Авив и обратно. Едем, он говорит, сейчас все увидишь, Бенци, и все ногами топчет. Доехали до моря, вышли на берег, профессор снял ботинки и мне велел снять. Прошли мы пару шагов по песку. Он говорит, стой. Что это, Бенци? Песок, отвечаю. А там что? – указывает рукой на валуны у берега. Камни, отвечаю. А что под камнями, если подынешь камень, что там? Что там водится, что в песке водится, Бенци, я задаю тебе наводящие вопросы. Ну что, змеи, ящерицы... Правильно, правильно, Бенци, вот это я от тебя и хотел услышать. Так, а теперь скажи, а если ты в Иерусалиме подынешь камень, что под ним? Что там под каждым камнем, Бенцион Томер? Я тебе скажу: в Иерусалиме под каждым камнем найдешь Пророка. Надо будет это записать, в конце концов, – заключает Бенци. – И еще у меня есть рассказ, почему я не

\* Из будущей книги «Архивы эпохи застоя».

живу в Иерусалиме, объяснительная записка. А ты знаешь, между прочим, из кого вышли наши лучшие еврейские писатели? Из сапожников и портных. И знаешь почему? Потому что у них руки заняты, а языки свободны, так они целыми днями сочиняют.

### Почему я не живу в Иерусалиме?

Один еврей из местечка после войны решил поехать посмотреть на Израиль. Посмотреть и рассказать уцелевшим евреям, что же это за птица такая. Хорошо, собрали евреи деньги ему на дорогу, проводили и стали ждать. Долго его не было, евреи стали спорить между собой, одни считали, что он никогда не вернется, другие, что он человек слова, вернется. Победили другие. Посланный вернулся. Израиль такой, Израиль сякой, яблоки с арбузы, арбузы с тыквы, а есть там и тапузимы, и эшкалиоты, такие фрукты, каких вы, евреи, в глаза не видывали, а одежды, а вина, а женщины – все еврейки, и все красавицы... Так что же ты вернулся? А, отвечает он, лучше я буду в местечке тосковать по Израилю, чем в Израиле – по местечку.

Бенци в Израиле с тринадцати лет, прошел Пальмах, писал стихи, был дипломатом, в 60-х сочинил самое известное свое произведение – пьесу «Дети тени», про польских евреев, из коих вышел. В начале 60-х я была в лечебном интернате, где впервые узнала о том, что существует страна Израиль. От Инны Левенштейн, мы с ней были единственными еврейками в классе. После отбоя мы шушукались, и Инна нашептала мне, что когда она вылечится, папа увезет ее в Израиль. Я ей завидовала. Однако папа увез ее в Америку, а я приехала в страну моей кратковременной интернатской мечты и тоскую здесь, как еврей из рассказа Бенци, о своем местечке. Как там мои грязные дождливые Химки, мой канал, по берегу которого я возила коляски с детьми, школьная библиотека за железнодорожной линией, куда я каждый день являлась в восемь утра, – подземного перехода с черными лужами и стенами в щербатой облицовке еще не было, и нужно взбираться на железный мост с картин Дейнеки, – зимние ступеньки с наледью, весенние ступеньки с бурой жижей, огромная толпа, растапливающая шагами лед.

Истории Бенци компактные, как Израиль, а мои пространные, как СССР.

Представь себе, Бенци, пятиэтажку на окраине Москвы, на пересечении двух магистралей – Окружной дороги и Ленинградского шоссе. Типовые застройки хрущевских времен, коротко – хрущобы. С пятиметровыми кухнями и смежными комнатами, поделенными дверью в произвольном месте, узкий коридор, крошечные ванны и уборные. В таком доме я прожила двадцать шесть лет. Рядом с каналом, который строили зеки, рядом с магазинами, винным и продуктовым. Винный закрылся при Андропове. Каждый год помещение ремонтируют – в нем не осталось ничего, кроме кафельных стен и каких-то прилавков – то ли их собирают, то ли разбирают. Такая же загадка – с полем между двумя магистралями. Середину поля обнесли забором, законопатили со всех сторон. Вскоре над этим стратегическим объектом вознесся холм чернозема, на следующий год

верхушка холма поросла скрюченными тонкими ивами, как на островах разрушенных церквей, затем на холме воцарилась черная поджарая сука. Она лаяла на прохожих, идущих с автобусной остановки домой, теперь уже кружным, мимо забора, путем. А у холма появился сторож, пенсионер из соседнего дома, тот самый, что расстреливал финок-коминтерновок в подвале Лубянки и рисовал портреты Сталина летом, во дворе, на открытом воздухе, потому что у его жены была аллергия на краски.

Что же там будет, что же ты сторожишь, расспрашивали нашего героя соседи-пенсионеры, но эту тайну он или поклялся не раскрывать, или не знал – ему это надо? Блатная работенка, сука лает на прохожих, а он спит себе или забивает козла с друзьями.

Итак, жрать нечего, выпить нечего, лампочки кончаются, а сигареты просто-напросто исчезли. Тоска собачья. С этой-то тоски и развелось страшное поветрие – писательство. Дом начал писать. Кто во что горазд. Кто стихи, кто рассказы, кто памфлеты, кто куплеты, кто рацпредложения, кто жалобы, кто письма в организации. В России писателей больше, чем читателей, а когда такая тоска, что ни выпить, ни закусить, писатели плодятся, как опенки, гроздьями.

Началось с первого этажа, перенеслось на второй, охватило сразу три квартиры из четырех, затем на третий, там двое из противоположенных квартир занедужили прозой, пламя творчества охватило средний подъезд и распространилось на остальные.

Где пишут, там и читают, иначе зачем писать? Прочтешь одним, послушаешь у других, все веселей. Безобидное это дело оказалось не безобидным. Из-за известной напасти – всякий факт исказить до неузнаваемости. А поскольку событий у обычного люда не очень много, сочиняли они все больше по-соседски, друг про друга.

#### Пример 1. Сосед с первого этажа

Вернулся из армии не в себе. Сам не свой, что ли. Сначала, когда еще было что выпить, он пил, а потом, когда занялась перестройка и все стало можно говорить, в газетах и толстых журналах замелькали статьи о нашей армии, сосед решил написать, что там над ним вытворяли. Статью он показал соседу с третьего этажа, журналисту. Тот одобрил. Поощрил на новые подвиги. Но тот про армию больше не хотел, лучше про любовь. Писал про любовь и носил соседу-журналисту на экспертизу. Меж тем женился. И сосед-журналист влюбился в его жену. Она в него. Они любили её, она их. Оба писали. Журналист стихи:

*Дом спит. Она магнит. Меня знобит. Чурбан-сосед. Её берет. Меня тошнит.*

Сосед с первого этажа – прозу: «Он шел по улице и курил взятку. Он знал, что она где-то там, на третьем этаже, что он своими мерзкими стихами, своими лживыми статьями про перестройку оплетает её, наивную девочку, как паук муху».

Произведения при себе держать трудней, чем чувства. Соседи обменялись текстами. Не будь андроповского антиалкогольного закона, они, даже если бы подрались, выпили бы и помирились, а тут они подрались и не помирились. Девушка бросила обоих и ушла домой к родителям.

## Пример 2. В динамике

Вступление. Мы же друг другу не самиздат читаем, за который нас бы раньше власти взгрели, а сейчас даже поощряют, у нас смута в умах пошла с этой гласностью. Мы теперь ничего не прячем в корзине рядом с унитазом, чтобы в случае чего на мелкие клочки и смыть, мы теперь полноценными личностями стали, по всем вопросам можем и должны открыто высказываться, и из этого снова выходит скандал.

Кто-то, потом будет известно, кто именно, задел в поэме за больное место дочь соседки-парикмахерши с четвертого этажа, заметив, что она *«прекрасная душой, с распущенной косой, от остановки шла, когда весна цвела. Вернулась дочь домой, отец ей дал ремня. – За что он бьёт меня?! – Не шастай среди дня!»*

## Пример 3. Вредоносная правда

Тощий зобатый сосед, заработавший деньги на машину в Мозамбике и разбивший ее по пьянке в Химках, ту самую, на которую столько уродовался в жарком климате, при острой пище, которая дала ему язву кишечника, от души пожалел дочь парикмахерши и прочел стихи эти ее мужу, дабы разжалобить его, дабы его вразумить, что негоже детей бить, ведь в стихах все доходчивее, иначе зачем их бы и писали, стихи? Вместо этого он получил неприятность в виде письма к его жене о его чувствах к вышеуказанной дочери – непонятно, но все так и было, на что жена мозамбикца встала на дыбы и написала пасквиль в форме сатирического стиха на дочь парикмахерши и прочла этот пасквиль не ей, а ее заклятой врагине, бухгалтерше кооператива, но та тоже не растерялась и прочла жене мозамбикца якобы стихотворение ее мужа, которое принес сосед из третьего подъезда, к которому ее муж ходит иногда курить, с таким началом:

«Я пахал в Мозамбике за эти гвоздики!»

Бухгалтерша, потрясая мелкими кудряшками, клялась, что она лично видела, как ее муж нес парикмахершиной дочке букет гвоздик, красных, с кулак, и что об этом у нее есть соответствующая запись: «22 июня, в день нападения фашистской Германии на СССР, сосед из кв. 42 нес гвоздики, букет по 3 рубля штука, аморальной дочери парикмахерши из кв.16. Это не день встречать барышень цветами!»

И жена мозамбикца в ярости помчалась к мужу, и пальцами в африканских кольцах сотворила ему такую шмазь, что дети тотчас проснулись, слетелись на скандал и заголосили. А папа, схватившись за язвенный живот, который, как понервничает, словно кто дерет изнутри, бросился в смежную комнату за сигаретами, чтобы как-то перебить боль, но, сигарет не найдя, плюхнулся горячей щекой на подушку, а уж над ним голос жены, громкий, что гонг, и совсем ему заглохло, и он, проклиная все писания и всех писателей иже с ними, подхватился и побежал на улицу, а с улицы увидел свет у журналиста, а значит, родителей журналиста нет, поскольку они у него лампочки экономят и свет зря по вечерам не жгут, а когда их нет, журналист свет жжет без зазрения совести, он-то в редакции пару лампочек всегда выкрутит!

Мозамбикец застал журналиста за постылым делом разоблачения соседей снизу, то есть прямо под ним. Они со склада выносят ящики хозяйственного мыла, а его родители это мыло у них скупают и распространяют на производстве по ценам черного рынка, всю эту историю он вскрыл, и теперь ему нужен совет, так что как раз вовремя мозамбикец пришел. Как поступить, сделать просто материал о грозящей катастрофе в плане сангигиены, обо вшах и крысах, расплодившихся в столице, или о спекулянтах моющими средствами, тогда могут пострадать родители и соседи снизу. И мозамбикец как-то забыл про язву, поскольку здесь дело было посерьезней коллик в животе, и он посоветовал журналисту разобраться в этом деле с юристом, пусть и евреем, может, у того найдется выпить и покурить, так одним махом семерых прикончим.

Еврей меж тем тоже не теряет времени даром и тоже хочет прочесть и поделиться. Но слишком витиевато пишет, подлец!

«В процессе оскудения сознания в жизни нашего общества на развитом этапе перестройки сосед из третьего подъезда, кв. 29, утром обрубил или отпил верхушки тополей. Такая акция может быть произведена лишь по решению общего собрания ЖСК за подписью всех жильцов. До подписания соответствующего документа верхушки тополей в 24 часа должны быть водворены на место спила или среза...»

Пока они слушают резолюцию еврея-юриста и пьют каберне, натуральный краситель, но для язвы лучше, чем скандал в семье, потому что главное – это нервы при язве, родители журналиста пишут отповедь сыну, Павлику Морозову нового политического этапа, когда про мыло не считается доносом, за продажу мыла по ценам черного рынка не убьют, и все равно неприятно как-то, к тому же взгляд на Павлика Морозова как на героя гласность изменила и перевела его из хороших мальчиков в плохие, а родители журналиста всю сознательную жизнь числили его в хороших, а это долго длилось, с 37-го года до начала перестройки, и теперь им надо срочно переменить свое отношение к сыну, потому что он тоже пытается заложить родителей из-за сбыта мыла хозяйственного, то есть их сын идет по стопам плохого героя, который был хорошим для всех, пока не пришли времена переосмысления и раскаянья, но с этими временами ушло мыло и лампочки, исчезли продукты повседневного спроса, когда нечем стало их же собственному сыну-правдолюбцу и клеветнику трусы отстирать, и за все хорошее, пусть даже за хорошее малое – трусы чистые, он готов опозорить их на всю страну. Все в доме пишут от скуки, а один он для печати, а слово – самое опасное оружие, и какое это оружие, они только теперь поняли, так как и отец матери журналиста с чьего-то слова пропал без права переписки, а ведь тоже это как недемократично было, одним можно писать, хоть с утра до ночи, а другим – запрет на слово, потому что переписка – это когда словами можешь что-то сообщить, а без права переписки – нет. Без права переписки значит смерть, то есть лишиться права писать все равно что умереть. Все вскрывается теперь, и из всех язв кровоточит и гноится, и скорей бы этот этап прошел и кончился, и пока жена об этом мечтает, ее муж пишет с нижним соседом разъяснение про мыло, должен же честный человек отмыться, и, если нет мыла, приходится отмываться словами.

У соседа одна проблема, у него сын сидит за воровство или за наркотики, а если еще и папаша загремит из-за любви к гигиене, это будет совсем скверно. Почему люди в других странах продают и покупают свободно, а здесь нельзя брать со склада и продавать людям, чтоб у них было. На этом складе СКЗМ одних веников – 246! Всего там с таким запасом, что если завтра война, так можно год на складе сидеть сытым, обутым и вымытым, да еще газеты выпускать – чтоб от излишка бумаги избавиться. Сосед-кладовщик совместно с отцом журналиста задумали опубликовать списки единиц хранения на складе СКЗМ, но он писать грамотно умеет только потатарски, а по-русски умеет ставить галочки и роспись, но потатарски теперь никому не нужно здесь, так они по-соседски взяли стратегию – опубликовать секретные данные, это будет бомба почище сынових писулук про ящик хозяйственного мыла. Конечно, все надо обмозговать. Чтоб кладовщика не распознали как разносчика информации, кто-то должен подмахнуть свое имя под письмом, а если у соседей спросят, так все знают, что кладовщик неграмотный, даже если бы хотел, строчки бы не написал, такие вот трудные пути правды, как по ним шагать с высоко поднятой головой, если, говорит кладовщик, мы все в грязи, а отмыться нечем. И сосед, отец журналиста, с ним соглашается, замечая как бы между прочим, про мыло и лампочки, лампочки в особенности, потому что свечи тоже из всех магазинов исчезли. Сосед смекает. Лампочки будут, говорит шепотом, свечи будут, говорит шепотом, ты только напиши за меня про складской инвентарь, а я тебе отплачу. И опять одно тянет за собой другое, шага не шагнешь без нарушения закона, это больше всего и сердит. Не то, что мы все в прошлом заблуждались, а что и в настоящем сегодня свободном вынуждены множить ошибки, пусть не те же самые, пусть другие, главное, мы не можем остановиться и жить честно. Это морально травмирует.

Взять жену мозамбика! В Мозамбике все было, и квартира нормальная, и зарплата, и отдых, и кондиционер, негры, правда, мешали, если бы Мозамбик оставить, а негров выселить куда-нибудь вместе с цыганами и евреями, это была бы не жизнь, а пальчики оближешь, квартир больше, народу меньше, не кучились бы друг у друга на голове. Ну что с этого негра взять, скалится и танцует и размножается, как саранча. И все это враки – никакой гласности нет и не будет, например, у нее идея всех выселить, кто не наш, а напиши она это в газету, напиши она это хоть про один только дом, где на 56 квартир еврейских 10, и у большинства трехкомнатные, а у них вот двухкомнатная, не считая татар. От мыслей зудит под бигудями, снять их ко всем чертям, не разыскивать же мужа по людям с железной головой! И если он опять пошел к еврею, если он опять к нему намылился... Почему так невесело здесь, почему так здесь неинтересно, ни в ресторан пойти, ни... В грязи родились, в ней и издохнем. Эх, взять бы и написать чистую правду, не как писатели, чтобы гонорары прожирать по заграницам, а так, с души жажнуть по-нашему, с матюком, – и пока она звонит во все двери, и все ей не открывают, бляди, а только зырят в глазок и отвечают из-за двери, что мужа ее здесь не было и не будет, и отвечают невежливо – последние негры в Мозамбике себя так не ведут. Как тут расслабишься, пусть даже в сауну пойдешь, пусть ты даже за три цены отпа-

ришься и помолодеешь, дальше-то что? Господи, как за границей живут, отчего им там все так легко, а нам все здесь так трудно? Неужто потому что они там живут одними нациями, а мы расплодили инородцев? И пока она из подъезда в подъезд шныряет в шелковом халате в крупных цветах и тапочках мягоньких, складываются у нее в уме первые слова неизвестно чего.

«Мамочка моя родненькая, как всю эту гадость без тебя сносить, пожалюсь я тебе на тот свет про наш дом гребаный, про еврея грязного и татаров паршивых, про черножопых и армян, про засорение атмосферы, про латышей, что нам все море засрали, про бездельников всякого рода, про эпидемию дьявольскую, когда все вечера вместо кино и ресторана они пишут друг про друга, и мой супруг с язвой пишет теперь стихи, от кого поднабрался, кто главный застрельщик, такого не бывает, чтобы все разом принялись бумагу марать. Кто-то здесь подзуживает. Знать бы только, кто именно. Я б его своими руками на куски разорвала, пусть бы кончился этот источник, и мы бы зажили человеческой жизнью, как все за границей».

С этими словами застыла она у двери еврея, нажала на липкую кнопку, и еврей открыл, красный, значит, пьют, значит, он здесь, евреи в одиночку не пьют, им компания нужна. Зазвал мужа с журналистом. Про журналиста она у соседа со второго этажа читала, какой он гад, чужую жену сманил, но это еще не худшее. Худшее, это что он пишет и заражает всех в доме. На столе пустые бутылки из-под каберне крашеного, воняет куревом и кислотной, а они ее и видеть не видят, пишут втроем, еврей диктует, они строчат.

«...И необходимо немедленно принять решение: либо восстановить спиленные, в скобках “срезанные”, верхушки тополей на место спила, в скобках “или среза”, или признать этот свершившийся факт спила, в скобках “или среза”, полезным и на очередном внеочередном субботнике по уборке территории удалить из палисадника последствия в виде крон тополей».

– Да это ж посрезали с ясеня и клена, тополь никто не трогал, а его бы и надо. От пуха астма разыгрывается, дома по полировке проведешь – на подушку насоберешь.

Хватает со стола писанину, крошит на винегрет и кричит не своим голосом, как кликуша на паперти: «Я вам эту лавочку, писатели, позакрываю, вы здесь до тюрьмы допишетесь, в документе ясеня с тополем попутали, кто ж поверит про остальное!»

А им хрен по деревне! У них еще экземплярчик есть, они пьесу на троих писали, каждый свою речь, а потом соединили и смеялись, как на Чарли Чаплине, – про тополя они под завязочку срезюмировали, для очистки, что с общественной пользой вечер провели. А пьеса, ты сядь, не дергайся и будешь смеяться, тебе тоже надо настроение как-то выправить – это муж подлизывается, потому что боится с ней идти спать, она ненормальная совсем делается, а у него сил нет на это, только на творчество кое-как наскребает силенок.

Что прикажете делать, еврею глаза выцарапать, что ли? И Россию у нас отнял, и, мужа, гляди, прикарманит, все его к ней внимание истребит! Кипит душа, и все же надо послушать, мало ли чего там.

**ГОЛОС КООПЕРАТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ.** Надоело за-прещать, пришло время разрешать.

БУХГАЛТЕРША. Нам все можно, кроме того, что невозможно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Нам все полезно, кроме того, что бесполезно.

ГОЛОС КООПЕРАТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Всех кошек и собак на мыло!

*Входит Горбачев.*

ГОРБАЧЕВ. Члены кооператива «Дружба», какие у вас текущие трудности?

БУХГАЛТЕРША. Хотим гласности в отношении бывшего винного магазина.

ГОРБАЧЕВ. Еще, товарищи, смелей высказывайтесь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. Загрязнение окружающей среды.

ГОРБАЧЕВ. Хорошо, еще смелей, сегодня нам некого бояться, кроме самих себя.

ГОЛОС КООПЕРАТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Мы сами себя никак не боимся. Мы мирового империалиста боимся, что он испортит наше сознание.

ГОРБАЧЕВ. Этого не бойтесь. Мы можем смело сказать, что на сегодня всеми нами выработано новое мышление. Как у вас с ним?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬША. У нас пишет весь дом. В результате гласности.

ГОРБАЧЕВ. Купите кооперативом бумагу и отпечатайте книгу. Это хорошее начинание. Но не забывайте о вдумчивой работе на местах.

ГОЛОС КООПЕРАТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Трудности текущего момента как преодолевать?

ГОРБАЧЕВ. С оптимизмом и верой в конечную цель перестройки. Только так.

Не смешно совсем, и жена мозамбикца потянулась, зевнула громко, и они втроем заразились женским апатичным настроением и тоже зевнули – как все меняется, почему им было так смешно, а стало совсем ни капельки?

А она отчитала драматургов по первое число, история, мол, ничему дураков не учит, вот они тут хихикают, а завтра гласность кончится, и от этой бумажки дети останутся сиротами, а она передачи носи, и нагнетать пошла, и распалилась, у нее распаленное настроение не прекращается, а наоборот, возрастает с каждым шагом перестройки.

Снесли бы лучше обрубки на помойку, чем писать-то, – и она дернулась, чтобы и пьесу истребить, но еврей опередил ее, спрятал в карман. Вот тогда она ему и дала про ихнюю нацию, а еврей ей паспорт в нос, что он не еврей, написано у него «русский», но ведь видно, блядь, что ты жид, а он ей, это неправда, а она ему – снимай штаны, а он ей – уйдите, пожалуйста, по-хорошему, а она ему – еврей, не по-нашему отвечаешь, ты нас боишься, это ты, гад, пьесу писал, ты хочешь моего мужа с товарищем под суд отдать, ты нарочно Горбачева туда захал, чтоб дали на всю катушку, юрист, в жопе глист...

Изматывающий сюжет, Бенци. Что делать человеку с такими вот друзьями-героями в стране иной ментальности? Как перевести их на язык иврит, и для чего это, собственно, делать? Хорошо смеясь расставаться со своим прошлым, и некрасиво быть занудой, красиво улыбаться на улице прохожим и говорить доброе утро шоферу автобуса, хорошо тоже иногда позвонить домой, в Москву, и слу-

шать, как никто там не берет трубку, потому что это уже не твой дом и нечего туда звонить, и когда ты держишь трубку у уха и слушаешь эти пи-пии-пии, время останавливается, место действия прекращается, и ты не понимаешь, ты ли это, и если ты, то где ты?! За окном может шуметь прибой, если звонишь из Рамат-Авива, гудеть ветер, если звонишь из Гило, и все это необременительно для кармана, но обременительно для души. Спросишь, что тебе тосковать о суке на пьедестале, а я тебе отвечу словами твоего же рассказа: лучше в местечке тосковать об Иерусалиме.

### «Отпусти народ мой!» – рассказ о том, как нас отпустили

И все это Вера Ивановна, на которой ничего не сходится, дареные панбархаты на булавках, одна булавка юбку на талии держит, другой – лифчик к глубокому вырезу прикреплен, чтобы когда Вера Ивановна слишком уж склонится над анкетами, чтобы ничего у нее не было видно, грудей, если уж быть точными, и чтобы купюры плотно прилегали к исподнему и не шуршали при резких движениях. Начальница ОВИРа закрытого для посещения иностранцев города Химки должна держаться, и все на ней должно сидеть – и серьги, и костюм, а все народонаселение Химок должно сидеть и не двигаться. Так оно и было, до поры, и было хорошо. Все, что есть *там*, не нужно нам здесь, а то, что нужно, показывают в кино и по телевизору. И какую бы цель ни указал ты в графе цель поездки – она оказывалась или слишком личной, или слишком общественно важной, чтобы именно тебя послать *туда* ее добиваться. То есть всякая твоя цель нецелесообразна, и, что бы ты ни написал в этой графе, лишь бы выпустили, Вера Ивановна все равно не выпустит. Пристальный ее взгляд узрит другую цель, пусть неизвестно какую, но другую, и лучше попридержать этого непоседу в закрытом городе по месту прописки, чем упустить его пусть и с благородной на вид задачей. А что если он проговорится там про закрытые заводы, которые с орудия массового истребления перешли на производство сосок и презервативов, – и все равно на все население не хватает, и завод тут не за что винить, не был он рассчитан на такое производство, нет у него таких мощностей, чтобы всех граждан удовлетворить. Главное – укреплять обороноспособность, чтобы граждане спали спокойно ночью и ничего не боялись. А кто все равно боится, пусть идет в центральную аптеку за успокоительным. Нет успокоительного, так он прочтет на стене слова Ленина «Победа социализма неизбежна!», успокоится и уснет на месте.

Эх, если б только мог мой народ знать, где он окажется в скором времени, какая грандиозная ломка сознания ему будет почти что завтра предстоять... А что бы он мог сделать, кабы и знал? Мылом, сахаром, солью еще можно запастись, а вот мясом и молоком никак невозможно, таких холодильников размером чуть ли в нашу уборную, как я потом в Америке увидела, ни у кого дома нет. И зачем им нужны такие холодильники, если у них в магазинах все есть, хоть каждый день туда ходи, и все равно все есть. А у нас если выкинут что, сразу разберут. Поэтому надо брать побольше, а для побольше и нужны американские холодильники. Но куда их ставить? Некуда нам их ставить, значит, не нужны.

Главу ОБИРа холодильники не волнуют. У нее все есть. А голова все равно разрывается. Как своих не выпустить, а чужих не впустить? У главы нормального ОБИРа одна задача, как не выпустить, а у Веры Ивановны – две. За невыпуск отвечает левое полушарие, за невпуск правое. Двойная нагрузка на мозги. Иностранцы – при машинах, и не успеешь глаза спросонья покрасить, как вжик – свернули с Ленинградского шоссе направо, ты еще не все на себе заколол и зашпилил, а правое полушарие наливается тяжестью.

Будь Вера Ивановна скульптором, она бы с первых дней перестройки воздвигла на центральной площади города, на месте плиты в честь будущего установления памятника к шестидесятилетию октябрьской революции, памятник Горбачеву.

Хотя работы не убавилось, а прибавилось и секретность все еще не снята. Это только граждане города думают, что им дали полную свободу, а им дали частичную, но с иностранцами стало проще. ГАИ с утра не подымает по рации, ну, подумаешь, прошмыгнул иностранец, что он увидит так вот сверху, да ничего, пусть хоть в бинокль глядит, пусть хоть с самолета, и даже смешно стало Вере Ивановне – чего мы их боялись, они ж не кроты! А на поверхности народ шпионов выявляет сам, без всяких органов. Да и что бы они на шпионили сегодня – соски с презервативами! Нет, ну правда, порой волосы дыбом встают от одной только мысли о том, как мы жили раньше.

И как тяжело было быть плохой, как иногда даже неловко было смотреть в глаза населению, особо если человек пожилой, интеллигентный, еще из сферы искусств, ты ему – нецелесообразно, а он почему да почему, ты не можешь ответить, что из-за секретности города, это-то и есть главная тайна, а он, бедный, сидит перед тобой и молча ищет на себя компроматы, хотя анкета у него что чистое стеклышко, член партии, не судим, никто из близких по прямой линии не привлекался, никаких родственников за границей нет, и стаж работы на одном и том же месте больше десяти лет – все, каждая буква за, а положение города против, и это ты под страхом смертной казни не можешь выдать, и умоляешь даже иной раз не огорчаться, попробуем вторично, снова все документы соберем, а фотографий и этих будет достаточно, не исправляется у человека настроение, это еще если брать целиком благонадежных, которых ты никак бы не хотел расстроить, а подозрительные, у которых из всех пунктов один неблагополучный, а явное нельзя, когда вся анкета против, а человек такой приятный на вид, и тоже с подарком, и какая эта мука брать подарки, зная, что не сможешь отплатить добром на добро, и, Бог мой, дарят-то часто совсем от безумия, такое дарят, мамочки мои, самое свое святое готовы отдать, одна даже дама, которая собралась к дочке в Париж, десять лет ее не видела, и хоть честно сразу ей скажешь, нет и не пытайтесь, а она откуда-то фамильные золотые часы выудит – и дать-то как следует не умеет, вот держит их на ладони, так я уж ей помогу, облегчу и часы не приму, а она в слезы, только отпустите, у меня единственная дочь, и тут, чтобы враз все это прекратить, нужна большевистская строгость отказа, твердое как сталь «нет», но она все равно кладет приглашение на стол, все равно настаивает, чтобы я приняла документы, а там она будут действовать через Центральный, и за одно то,

чтобы я выдала ей бланки на заполнение, она готова отдать фамильную драгоценность. И берешь, и ума не приложишь, как ей объяснить, что все это впустую!

Куда как приятней брать теперь! Берешь и выпускаешь! Но и опасней брать теперь, столько народу валит, что не каждому в лицо успеваешь посмотреть, раньше часами убеждал, что нельзя, все говорили, да что тут, Вера Ивановна, чикаться – нет, и все, но как же нельзя, мы же имеем дело с людьми, они могут до смерти огорчиться, и бывали такие случаи, скажем, патологические – или выпустите, или я все равно здесь жить не буду. Я говорю, если ты жить здесь не будешь, значит, ты вообще жить не будешь, тебя с секретностью никто не отпустит! Нет у меня секретности! Правильно, у тебя лично нет, но у нас, намекаю прозрачно, секретность общая. Улыбаюсь и очки снимаю, чтобы он мог прямо в зеркало моей души глядеть, общая, повторяю, у нас с вами судьба, общая у нас с вами и секретность. Я в Карловы Вары и те с такими сложностями выехала, а в капстранах не бывала никогда. Тем более ПМЖ! И по-хорошему я с ним, и со всей строгостью, а он зубы сжал, подбородок выставил и как плюнет прямо на мой рабочий стол. «Выполняйте свои обязанности, это, кричит, КГБ решать, а не вам. Вы тут мелкая сошка!» А, вот как ты заговорил. Молча анкеты достаю из сейфа, объясняю спокойным тоном всю процедуру, еще и карандашиком трудные моменты подчеркиваю, чтобы убедился он, что я впрямь конторская крыса, чтоб никогда не догадался, от кого его судьба зависит, пусть думает, что я его анкету в Центр свезу. Да если б я все это туда возила, они б с перегрузкой отказов за год не управились, с такими мы на месте кончаем. ПМЖ в Америку с завода Лавочкина?!

Получил он, как и полагается, отказ по истечении срока подачи, и руки на себя наложил. Хуже того – указал настоящую причину самоубийства – не пустила его Вера Ивановна в Америку.

Сколько ж после этого посыпалось на наш город нареканий! Не ведем разъяснительную работу среди населения, мало толковых агитаторов и содержательных политинформаций. Главе ОВИРа следует поставить на вид, и чтобы впредь из Химок подобных сигналов не поступало. Но это тоже перегибы, мы, конечно, должны направлять сознание народа, но мы не можем указывать, что писать перед смертью. Не надо доводить человека до смерти, но если уж он доведен, пусть пишет, что хочет, я считаю. И считаю еще, что лично я проявила выдержку, этот плевок я глубоко переживала в душе, а ведь он именно туда и плюнул, другой бы на моем месте не стерпел, а я даже отказ ему послала в указанный срок, чтобы долго не мучился. Ведь главное мучение – это томиться в ожидании отказа!

Теперь люди тоже ждут, но с оптимизмом, теперь я их документы свободно могу тасовать, кому уж очень приспичило, у того беру, а кто поспокойней, тот и так получит, в общем порядке.

И чего только не несут! С одной стороны, не жалко, там накупят, там все есть. С другой стороны брать столько, сколько несут, опасно. Несут-то мне одной, это потом я между всеми распределяю. Коллега из Центра подал мне отличную идею – день рождения каждый месяц. Посидеть в домашней обстановке, за рюмочкой, никогда у нас не было так демократично поставлено, и ты их только помани, мигом примчатся. С вафлями к чаю, никакого спиртного.

И все бесконечно грустно, Бенци. Двадцать лет подавать на выезд, да хоть куда-нибудь, сидеть в кабинете Веры Ивановны, смотреть на нее просительно... А вдруг на это раз смилостивится? Но нет. «У вас дети есть, занимайтесь их воспитанием».

Не будь Веры Ивановны, я, может быть, и не уехала бы. И не испытывала бы этот страх, что не смогу стать частью того мира, в который пересадила себя вместе с мужем и детьми. Трудная трансплантация. Снова и снова вспоминаешь ту жизнь, вспоминаешь, как что-то, чего никогда не было, и спрашиваешь себя, может, и впрямь не носил ты подарков Вере Ивановне, просто сел в самолет и оказался вот тут, где ты сидишь, Бенци, и слушаешь весь этот бред. Песня про подарки Вере Ивановне еще не спета, нет.

Продуктовые: кофе, чай, икра, рыбка красная. Талоны на сахар, в летний период на варку варенья. Сахар в пакете как-то вроде неудобно дать, может обидеться.

Дары природы – грибы сушеные, ягоды, фрукты, мед. Специи в заграничных баночках. Конфеты. Вообще все заграничное в упаковках, включая супы, концентраты, кремы. Винно-водочная продукция, весь ассортимент, от чешского пива до коньяка «Наполеон». Сама Вера Ивановна спиртное не употребляет.

Денежно-вещевые. Деньги любые, какие есть. Вещи – телевизор, видео, стерео, микроволновая печь, радио с наушниками, наушники без радио, одежда, обувь импортная любых размеров, в семье подрастающее поколение и много родственников.

Предметы культа. Крестики золотые, серебряные, позолоченные, на цепочках, медальончики. Святые книги, Библии солидные и карманные, где есть прямо все, ну все-все-все, потому что сын Веры Ивановны любит оттуда цитаты. Вера Ивановна не успевает и заглянуть в эту старинную премудрость, но призналась недавно, когда религию снова разрешили и даже поощрили, – что когда лежит эта книжка на тумбочке в изголовье, она легко засыпает и сны ей снятся легкие, а как возьмет ее сын да и забудет положить к ночи на место, так не уснуть, вздремнет, и такие кошмары начинают мучить, что-то в ней есть, определенно, прямо не хуже Кашпировского помогает, даже лучше, потому что на телесеансы надо настроиться, чтобы подействовало, а у меня дома телефон, сами понимаете, дымится, а книжка каши не просит, лежит и молчит, никакого внимания не требует, а все снимает с тебя, всю накипь. И что еще интересно, зависит от кого. Казалось бы, везде одно и то же написано, но бумага разная, буквы где совсем как бисер, а где нормального размера, обложки все разные, один раз взяла я самую красивую обложку, настоящим золотом поверху написано, а сон не берет. Что ж это, думаю, все не сплю и не сплю?! Видно, человек подарил с дурным глазом.

Вера Ивановна впадает в откровения неожиданно, и если уж впадет, а это от просителя зависит, иной сразу расположит, а иной уж слишком на отъезд нацелен, с таким никаких откровений, – но стоит кому-то ковырнуть душу, пропало дело для всей очереди с хвостом на улице. Это неразгаданная тайна – вошел человек в кабинет и как умер. Сначала думают сочувственно. Наверное, у того, кто вошел и не вышел, случился приступ, не всякому легко дожидаться своей очереди, а уж как дойдет, так он в кабинете забывает-

ся, иногда не помнит точно, зачем пришел, и в словах путается, и вещи забывает, а потом робеет за ними вернуться – словом, много извинений можно найти тому факту, что посетитель вошел туда и будто умер, но все же через час-другой очередь начинает лихорадить, и в хвосте обнаруживается пробел, и самый нетерпеливый отпадает от хвоста и, расталкивая народ, прет прямо в кабинет, но тотчас возвращается, ничего не добившись, поскольку «гражданин, разве вы не видите, что я занята, идет прием».

И очередь уже озлобляется и желает смерти тому, кто у Веры Ивановны застрял, перестает совершенно сочувствовать, а Вера Ивановна все еще рассуждает про чудесное и уму непостижимое, потому что никто не делает ей точечный массаж или сеанс аутотренинга, и, если б не умение с интересными людьми расслабиться, ее бы давно инсульт на месте разбил – двадцать первых лет никого не впускай и не выпускай, а последние три почти всех впускай и почти всех выпускай, основные же душевные ресурсы сейчас расходуются на мотивировку отказов, и это теперь уже не отсебятина, а решается на совещаниях в Центре, так что самой Вере Ивановне остается лишь отчитываться за отказы перед тем, кому отказано, потому что сейчас публика все берет на карандаш, вчера ты сделал вот такую-то ошибку в мотивировке, а через месяц узнаешь в «Огоньке», в отделе читательских писем, что нарушил права человека, закон такой-то и такой-то, и могут за это снять, а это что же значит для существа Веры Ивановны, это значит оказаться ненужной людям, да и хуже того еще. И посетитель на это руками машет, что вы, Вера Ивановна, не вы, так кто же, а она, зная, что проситель – хороший окулист, в довершении беседы о чудесах между прочим интересуется про импортные линзы, женщина в моем возрасте... А вы и в очках хороши, прелестная!

Комплименты должностному лицу?! И она надевает очки, и распрямляется, и убирает ноги под стол, и посетитель пугается внезапной перемены настроения, бормочет «контактные линзы, контактные линзы, это, пожалуй, можно устроить», и Вера Ивановна расплывается в женской улыбке и опять достает ноги из-под стола, и закладывает их одну на другую, и обещает его документики держать наготове, и, как только выяснится с линзами, она свезет папочку в Центр. Ах, как интересно просто так без цели общаться с человеком, купаться в словах, плескаться в них рыбкой, и невзначай задеть хвостиком за что-то такое, и тем завершить прием данного лица, и еще Вера Ивановна находит интересную связь между разговорами о библиях и пользе, всегда так, если начинаешь с отвлеченностей, завершаешь конкретикой.

Драгоценности и украшения. Берет все. Проверено.

Книги. Предпочитает с картинками, без картинок идут книги обменного фонда и книги авторов с надписями. «Дорогой Вере Ивановне с благодарностью на всю жизнь», «Дорогой Вере Ивановне с вечной признательностью», от всего сердца, от всей души, от всего нашего народа.

Сувениры из-за границы, или из «Березки», или что-нибудь уж очень редкое местного производства, медвежья шкура, оленье рога, нэцкэ из китовых костей.

Предметы искусства – картины, гравюры, скульптуры. Скульптуры, разумеется, малых форм.

Предметы гигиены. Мыло, шампунь, желательный для жирных или в крайнем случае нормальных волос, а также импортные моющие средства для мест общего пользования.

Нет, это просто невозможно, как много человек потребляет, стыдно дальше писать эти списки, и не только за Веру Ивановну, за все человечество. Зачем ему столько, почему не ввести ограничение, почему вместо лозунгов из произведений марксизма-ленинизма не взять цитаты из Франциска Ассизского, про цветочки, птичек и кусочек хлебушка?

Только подумал, и твой голос услышан – вводят карточки на сахар и мыло, даже на дрожжи вводят лимит, чтобы не все тесто пышно всходило, а ровно столько, сколько нам того надо. Лозунги про изобилие в одну ночь исчезают, и начинается цениться истинное – свобода и независимость, акцент с физического перемещается на духовное.

Почему все исторические процессы такие долгие, а жизнь такая короткая? Кажется, вот оно, еще чуть-чуть, самую малость, последнюю пятилетку в четыре года одолей, и все. Но как ни спешишь, как ни прешь историческому процессу наперерез, как из последних сил ни выбиваешься – процесс не поддается и доводит тебя до могилы. Нет, такого лучше не представлять, особенно на ночь, ты же не можешь каждый день расстраиваться, ты не один, в конце концов, и разыгравшееся воображение может стать опасным для окружающих. Вон Сен-Симон с Фурье и Оуэном не выполняли пятилетку в четыре года, они всего-то вообразили новый мир, и теперь мы в нем живем. Мысль – материальна, у нее есть цвет и запах.

Вера Ивановна цвета мысли не различала, хотя кто-то сказал, что у нее редчайшая по цвету аура, но в зеркале ее не видно, а иначе как в зеркале невозможно увидеть, что у тебя над головой. Что в голове, она знала, главное, чтобы этого не знали другие, – и поэтому она носила прическу с высоким начесом, где, как в люльке, покоилось записывающее устройство. Что касается нюха, то он ее никогда не подводил. И она, под предлогом выезда за рубеж (визы еще никто не отменял!), пригласила на очередной день рождения семейку, которая, как подсказывал ей нюх, явилась причиной зловредной эпидемии, разразившейся в кооперативном доме «Дружба».

Застолье застоя: «Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало», или: «Гуляет, погуляет – устанет, перестанет».

Застолье перестройки: «Оттерпимся – до чего-нибудь дотерпимся»; «Оттерпимся – и люди будем».

«Пословицами русского народа» в двух томах будет ли наш отъезд ускорен? Похоже, подарок удался. Вера Ивановна во главе стола фиолетовый том листает, синий на очереди. «Не учи сороку вприсядку плясать, ученого учить – только портить...» Какой же у нас народ мудрый, радуется Вера Ивановна и гости вместе с ней. Забыли и кушать, а кушать есть чего – все подарочное, все, как в старые времена, здесь есть, и икра не на поверхности желтка золотится, а лежит в блюдечках, как жемчуг ненанизанный, и рыбка жи-

ром истекает, нототения, и картофель отборный укропчиком присыпан, а время не сезонное для укропа, февраль, и кура-гриль тут, и шпроты, и сервелаты, и карбонаты – даже неприлично сегодня такой день рождения закатывать, но Вера Ивановна лихая, гулять так гулять! Для веселья большой выбор напитков и пословиц, вот эта, например, просто в масть: «Пьем да людей бьем: знай наших, поминай своих!»

Давай, Веруля, за тебя выпьем, разливайте, граждане, я тост скажу.

И пока выбирают напитки, а коллега Верулин из Центра набрасывает в уме слова поздравления, хозяйка представляет гостей.

Подруга детства, Олечка, врач, никогда не откажет, ночью прибежит, если что, это Элла Семеновна, внучка Долорес Ибарури, испанка настоящая...

Веруся, давай потом, очень поздравить тебя хочется!

И Веруся поправляет прическу, а прическа у нее особая, волосы над головой собраны в пышный пучок, и внутри него как бы что-то находится инородное, и, чтобы это что-то случайно не выпало, у заправка целый забор из заколок. Вера Ивановна кокетливо голову откинула, привычным жестом пальцы в волосы завязила и улыбается обворожительно мужику рыжему, носатому, усатому, специалисту по Ближнему Востоку в определенном разрезе, и тот громко пальцами щелкает, тишина мол, гости, торжественная минута настала.

И что он говорит про Верулю, все чистая правда.

Все чокаются, закусывают, по второй, закусывают, а после третьей уж языки и развязываются. Кто справляет себе день рождения ежемесячно, тот уж эту систему изучил. Вера Ивановна не пьет, пригубляет. И две дамы с ее работы тоже не пьют по состоянию здоровья, зато часто отлучаются курить на лестничную клетку.

Вера Ивановна, настоящая подвижница, настоящая идеалистка, живет в двухкомнатной квартире, в спальне у нее и правда Библия лежит на тумбочке в изголовье, и больше ничего. В комнате, где мы гуляем, диван да стол со стульями, в кухне мойка, холодильник, куда же она все деваает, по каким углам дары рассовывает? Например, все, что ей нанесли сегодня, на наших глазах, ящики, свертки, где они? Неужели это и есть явочная квартира, о которых мы знаем понаслышке?

Зазвонил телефон, и Вера Ивановна из коридора прибежала взволнованная – надо на полчаса ей отлучиться к маме, в больницу, и сосед по лестничной площадке вызвался свезти, надо же, такая неприятность в день рождения, но подружки Веры Ивановны даже и не расспрашивают, что с мамой, видно, та привычно тяжело болеет, и Вера Ивановна что-то отовсюду спешно выгребает, а у парня уже ключ от машины наготове, и берет Нина Ивановна из вазы три гвоздики, – да бери все, Верочка, маме будет приятно получить большой букет, и пока она возится с цветами, молодой человек уже испарился со всем, что было в коридоре.

Вера Ивановна уехала, а мы сидим. Что же там с мамой? Сообщение о тяжелой болезни как бы упало с вилки на скатерть, и все делают вид, что ничего с вилки на скатерть не упало, и продолжают веселиться, центр веселья образован. Специалист по ближневосточным проблемам много поездил по миру и каких только женщин

не видал, а каких только у него не было, хорошо, что мы все взрослые, а уж больше всех, конечно, он любил свою жену, а она с ним развелась и ребенка у него оттяпала – и он стихи стал писать, на фарси, по-русски о любви так не скажешь, Восток – страна любви, эротика даже в большей мере.

А подруги вместе с внучкой Долорес Ибарури тоже заводят про границу, они все там были, по долгу службы. Венгры скупые, поляки – жадные и воры, немцы и французы расчетливые, итальянцы – обманщики.

Сколько нам еще сидеть в этой компашке, пора уж припереть Веру Ивановну к стенке, чтоб сказала, сколько и кому надо дать в Центре, и чтобы после уж больше никогда не отмечать ее дней рождений, забыть все эти недоразумения нашей полувековой жизни.

– Израильские женщины, скажу я вам, это не то, что здешние, прошу прощения, еврейки. Надеюсь, я за этим столом никого не обидел? – и смотрит на молодую кормящую мать, но, не дождав-шись ответа, продолжает: – Израильтянка приз красоты взяла, у них глаза, шеи, грудь – давайте выпьем!

И только выпили за глаза, шеи и грудь израильтянок, щелкнула дверь, и Вера Ивановна, в сопровождении соседа и в совсем другом, не напряженном состоянии, вступила в родную обитель, где сегодня собрались по известному случаю ее друзья, и шампанское взбурлило, и пробки полетели к потолку, и начался праздник, какие только возможны у нас и не бывают у них, потому что они там дружить не умеют, а мы здесь если что и умеем, то только это.

Народ повалил валом, Вера Ивановна едва успевает рассаживать да холодцы разлаживать, поправляя прическу, она пьет до дна, для смелости и снятия напряжения, – операции под кодовым названием «мама в больнице» хоть и отлажены, но каждый раз перед началом она волнуется, есть такие дела, которые сколько ни делай, никогда к ним не привыкнешь, как аборт, например, или зубы лечить, – все равно нервничаешь, когда идешь, зато потом какой камень с плеч, валун целый долой – и уже следующее задание Центра проводишь душевно, с чистым сердцем даже.

Пользуясь новым настроением Веры Ивановны, я прижимаю ее в кухне к холодильнику, с тарелками пустыми и рюмками на них, и задаю ей один вопрос, потому что домой хочется очень, уехать еще больше хочется, Вера Ивановна, кому надо дать? Вы – кристальная, про Вас и подумать такого невозможно, а вот в Центре берут, кому именно надо дать?

Вера Ивановна моим вопросом ничуть не смущена, только люди ждут посуду, потом поговорим, ладно? А ты мне только ответь, почему ты меня ТОГДА обманула.

Да нет, Вера Ивановна, я вам потом отвечу, люди ждут посуду.

И Вера Ивановна относит посуду и возвращается на кухню, потому что профессиональное ее любопытство я уже целый год как терзаю. А если точнее, то двадцать лет, с того дня, как она отказала мне в поездке в Чехословакию, потом во Францию, потом в Польшу, потом снова в Чехословакию, – между нами восстановились интересные отношения. Такие же ровно интересные, как со всеми представителями культуры и искусства, потому что к ним, как я говорила, у Веры Ивановны душевная слабость, и то, что она при таком вот

человеческом расположении должна была мне по служебному долгу гадить, – сегодня, в новые времена, она по-новому переживает. Как уж она радовалась, когда меня впервые, по службе, отпустил за границу московский МИД, не она, и не в соцстраны, а в саму Америку – и думала она, что теперь все, теперь и она меня выпустить может, а тут я возьми и привези запрещенные к ввозу документы из дружественной Чехословакии, ей с Шереметьева органы звонили, справлялись. И сообщили, между прочим, что произведено изъятие. Она мне позвонила с домашнего, чтоб меня, не себя, подстраховать, пригласила домой на чашечку кофе с коньячком, спросила, что там в аэропорту стряслось, может, смогу помочь, ты ведь такая в некоторых вопросах непрактичная, а ты мне что ответила? Что ничего не случилось! Ленуль, я к тебе была всей душой, читала твою статью в «Огоньке» и плакала, неужели такое могло быть, чтобы детей в газовые камеры... У меня, знаешь, Ленуль, в голове не укладывается, как посмотрю на эти личики, на эти бабочки из концлагеря, сон как рукой снимет. Ой, Ленуль, а у нас, у нас-то что творилось, и многие знали, и делали это сознательно, вот что страшно, Ленуль, так ты скажи, если у тебя опять вышли с ними неприятности, ты все-таки очень неосторожная, а мне ведь тебя снова отправлять надо... Что у тебя с ними было? Как я тебя в Израиль отправлю?

Вера Ивановна по панбархату ладонями водит, против ворса, один у нее парадный костюм, из химчистки в химчистку, так и носим, и кофточка моя свободного буржуазного покроя ей импонирует, и я готова сей же момент кофточку с себя, но Вере Ивановне неловко, будто бы она выцыганила, ну что вы, Вера Ивановна, вы просто очень непосредственная, и я уже кофточку мысленно складываю, на следующий визит, туда же и магнитофончик портативный, на который мне в кухне намек дан, что вот хочется ей иногда погрузиться в мир музыки, в наушниках, чтобы волшебные звуки заглушали усталость, и как хорошо, что мы пришли на день рождения, когда еще так от души потрепешься, и даже ей хочется один секрет мне вот сейчас раскрыть, что и она, Вера Ивановна, в последние годы начала сочинять что-то ей самой непонятное, в японском стиле, один переводчик ей томик стихов подарил, и она заболела Японией, в коротеньком стихе, даже без всякой рифмы, столько настроения, и я поддакиваю, конечно, с удовольствием прочту это ее «что-то отрывистое, как ветер пролетел или как лист на землю осенний опустился, без рифмы», – и Вера Ивановна смотрит на меня с таким неприкрытым уважением, как двадцать лет подряд глядела, и сильное это чувство к представителю культуры она смогла пронести по дороге застоя к вершине перестройки, и то, что она меня вынуждена была не пускать, не сделало меня врагом в ее лице, как обычно бывает, когда к своей собственной жертве испытываешь нехорошие чувства, потому что она заставляет тебя поступать против совести, и я посоветовала Вере Ивановне об этом обязательно сочинить танку или хокку и как бы между прочим вернула ее к исходному положению, а именно кому дать все-таки, и Вера Ивановна на эту настырную ложку дегтя ответила медовым голосом, мол, кисулечка, зачем мараться, неужели ты мне не доверяешь?! Вам-то я доверяю, но паспорт выдают в Центре, и всем известно, что там берут.

Мараться?! Никогда. Одним горжусь – ничего не брала, пусть в любой час дня и ночи придут, пусть руки мне веревками свяжут, пусть все вверх дном перевернут... Вера Ивановна аж пятнами пошла от этого признания, столько воли и правды вложила она в заключительные слова: – Ленуль, поговори с мужем, я его с тех пор как-то побаиваюсь, ну ты помнишь, когда он на меня по телефону накричал за отказ, не будем и вспоминать это проклятое время, так поговори с ним, Ленуль, сына надо как-то определить в менеджмент, кстати, какого числа вы планируете выезд в гости?

Вера Ивановна не называет страну вслух, а «гости» произносит с вопросительной интонацией, глядит в упор, советский наш сверхчеловек, сколько дел успела спроворить на кухне под ля-ля, а дату никак вот не запомнит, хотя сколько раз в анкетах проставлена, да ведь валом валят, где удержать все в одной горемычной головушке, а компьютеров не ставят, но это она так, между прочим, она знает, конечно, что я компьютер привезла из Америки, с принтером, у нее такого нет, в комитетах стоят, по три штуки в одной комнате, без них просто не уследить за всеми, и Вера Ивановна опять уносится в эмпирию раздумий, а я твержу про дату выезда, а она – не успеем, боюсь, а я – тогда и мы не успеем стихи прочесть и вашего сына к менеджменту приладить.

На этом разговор прервался – пора к гостям, – и она села демократично не во главе, а на углу, семь лет без взаимности, что было замечено специалистом по ближневосточному региону, но Вера Ивановна и не взглянула в сторону шулки, не разыграла.

– Эпидемический дом у вас, – Вера Ивановна не шутила.

С чего, в разгар непосредственного веселья, среди дружелюбного застолья, Вера Ивановна начинает темнеть, как на службе, и со сладких мыслей о загранице сбивает на мысли о нашем доме, где происходит что-то ужасное, судя по модуляции ее голоса. Нельзя с органами в кошки-мышки играть, даже в период свободы мысли.

А что если Вера Ивановна про эпидемию завела, чтобы нас еще раз прощупать?

– Да что за эпидемия, Верочка?

– Все пишут, – выдохнула Вера Ивановна и под прическу полезла, что-то там подкрутила, судя по движению пальцев.

– На тебя пишут?

...Нет, ни в коем случае не надо этого переводить на иврит, ни на какие вообще языки переводить не стоит наше унижение. Лучше выпить снотворного, переспать перестройку. И пусть отравленный мозг утекает за границу, хотя и жаль временами, зато вместе с серым веществом утекает и человек, его содержащий, освобождается жилплощадь, и оставшимся становится просторнее вдыхать и выдыхать, мы же не жалеем, когда переполненный вагон метро покидают излишние граждане, мы физически этому радуемся, так как дышать – это врожденная потребность человека, как еда и сон, и если уж еды не осталось и сна не вызвать без снотворных – дышать мы обязаны, и потому на отъезжающих лучше смотреть, затаив дыхание, – в этом и есть суть нового мышления. Каждый имеет право на выезд и въезд. Многие хотели бы к нам въехать, но пережидают, пока те, кто выезжают, освободят место. Особо нетерпеливым гражданам, пре-

следуемым ЦРУ и ФБР, наша дружелюбная предоставит квартиру вне очереди. И был уже такой почин, правда, единичный пока. Даже черномазым нужны мыло и шампунь, а не пустая вода с хлоркой.

Ну что нам было делать, как не переться за визой к Вере Ивановне?! Тем более день рождения – хороший повод для хорошего подарка. Казалось бы, хочешь ехать – плати и езжай. Нет, это неинтересно! Из этого сюжета ничего не проистекает, а нам нужно, чтобы проистекало, иначе не о чем потом рассказывать и писать, а мыто и живем, чтобы рассказывать, а рассказываем, чтобы выжить. Иначе как оправдаться перед миром?!

– В вашем доме пишут, – заявляет вдруг Вера Ивановна. – И этот дилетантизм в литературе обойдется вашему дому втридорога. Люди наши обидчивые и подозрительные, считается, что это от недостатка ласки, в детстве, мол, им недодали. Так добавьте себе в зрелые годы, пощадите друг друга в писаниях, – говорит, а сама в прическе возится, что-то у нее там отказало, может, блок питания мозга ослаб, и из-за этого она еще больше нервничает, но поди вычитай причину в ее новых глазах с линзами! Раньше настроение ее распознавалось по очкам – очки сняты, надеты, а если надеты, как именно, на лоб, ближе к носу, сидят на хрящике или на самой косточке носа, смотрит сквозь стекла, или поверх, или, может, сняла и играет с дужками, чешет ими за ухом, у виска или в носу – но это при глубочайшей интимной связи с подателем бумаг, – словом, когда специалисты по Вере Ивановне изучили все нюансы игры в очки, она сменила их на линзы. Новое мышление требует и новых форм организации производства, прежде всего – прямого взгляда на вещи, в данном случае одушевленные, никаких очкопротираний байковой тряпочкой, никаких уклонений взгляда в сторону. А от этого слезятся глаза, и вот интересно, одни тотчас бросаются утешать, а другие, стопроцентные эгоисты, каменеют, предполагая отказ. И за это Вера Ивановна их наказывает продолжительным копанием в бумагах на столе, хотя дело лежит прямо перед ней – и решено положительно. Глаза-то у нее слезятся не потому, что отказ, а потому что линзы отечественные. А ей нужны заграничные. И этого посетители никак уловить не могут, сколько ни намекай. Господи, когда мы, наконец, помолодеем? Годы застоя наложили на наши женские личики печать неудовлетворенности. И какой труд надо вложить в себя, чтобы расцвести, чтоб всякие мелочи радовали, а большие неприятности не сильно огорчали?! Это и есть психологическая перестройка, самая, может быть, тяжелая, но крайне необходимая. Потому что еще множество вещей осталось от застоя, да те же очереди, в которых женщины теряют привлекательность и стареют на глазах. На их месте Вера Ивановна лучше в за границу бы не поехала, чем целыми днями стоять, но здесь она не советчик, теперь у нас каждый делает, что хочет. И вот эту-то конечную фразу она произнесла вслух, чтобы как-то прервать общее молчание.

– Теперь у нас каждый делает, что хочет.

Во времена застоя за этим утверждением обязательно бы последовало «но».

Нет, ну какое все же унижение быть зависимыми от каждого Веры Ивановниного чиха, а с другой стороны – не день рождения этот,

осталась бы я в Химках с «Русскими пословицами и поговорками» в двух томах, сочиняла бы разнузданные пасквили, за которые вроде бы пока не сажают, а теперь мне отсюда жалко всех, даже Веру Ивановну.

– Но это не означает, что мы, со своей стороны, не будем критиковать перегибы и перехлесты, – вставляет Вера Ивановна свое «но», зря я расслабилась. – Особенно если они переходят все грани и становятся эпидемией.

– Ты говоришь о вещах антиперестроечного содержания, направленных против гласности? – приходит на помощь внучка Долорес Ибарури.

Вера Ивановна затрясла головой. Что там в ее голове происходит? Переволновалась из-за мамы? Хочет, чтобы виновники заговорили первыми? Может, выпить за ее здоровице?

А она уже чуть не плачет, это тоже чувство, нам известное, когда, например, за границей и не знаешь языка, а очень высказаться хочется, так тоже чуть не плачешь, но мы-то не за границей!

– Ребятки мои хорошие, головушка моя бедная! Сколько в моей голове хранится ваших жизней, ваших тайн, ваших судеб, все ваши чаянья, все неприятности и несчастья у меня вот здесь, сто тысяч в одной голове, и она разламывается и трещит, – и правда послышался треск, из недр прически вырвалось сипение, но Вера Ивановна уже расходилась в речи, уже не обращала внимания на чуждый механизм в мозгу, – в одном моем сердце сколько схоронено, и не винтиков, живых людей, а у каждого – личность, а у каждой личности – тайна, и никакие, поверьте, никакие, – горло у Веры Ивановны пересохло, и она залпом осушила бокал шампанского, – знаки внимания не покроют ту затрату нервных ресурсов, те бессонные ночи, когда ворочаешься и ворочаешься и сон не идет. Но вот пришла гласность, – Вера Ивановна паузой отметила удачный переход от сна к бодрому политическому моменту, – и мы со всей прытью бросились разоблачать прошлое. И во что это на сегодняшний день выливается – в грязь, которую мы, не стесняясь, льем друг на друга. Некоторые считают эту грязь гласностью. Возьмем ваш дом. Пока вы разоблачаете недостатки в нашей бывшей системе, за вашими спинами мелкотравчатые мещане ковыряются в грязном белье. Эта история с мылом, зачем ее обнародовать, мыла от этого не прибавится. Из-за куска мыла сын родителей порочит, а ты, Вера Ивановна, выгораживай! Одних отмоешь, другие пишут: срубили верхушки тополей. Да ведь это только к лучшему. Свету стало больше, сами знаете, как у нас с лампочками, опять требуют восстановить срубленные верхушки деревьев – ну как я могу таких склочников за границу послать, какое мнение сложится о наших людях за рубежом, могу ли я лично поручиться за распоясавшихся лжеписателей? Да при особом положении нашего города! Хотелось бы знать, где локализуется этот гейзер, этот вулкан, эта фудзияма инфекции! Потому что вы-то к сожалению и можете пострадать в первую очередь, в силу профессии, и даже я буду бессильна. Никто не поможет, если сам себе не поможешь, – Вера Ивановна прополоскала горло водкой, потянулась было к прическе, но вовремя сама себя одернула, и очков у нее теперь не было, чтобы снять, снова надеть, для перемены декорации, для

краткого переключения с последующим еще более глубоким погружением в тему, и все-таки она и с этим моментом справилась и пошла на дно, где и находился главный подводный камень. Личность Михал Сергеича. – Да, он не святой, и теперь мы имеем право открыто подвергать критике любого гражданина страны, но критика должна быть конструктивной и базироваться на фактах. Да если я вам сейчас вслух прочитаю пьесу, которую сочинили члены вашего кооператива «Дружба», вам стыдно станет. Это не литература, а политическая диверсия. Во вверенном мне городе, где из-за этой пьесы на меня пальцем станут указывать как на врага перестройки и лично Михал Сергеича, которого я уважаю и не позволю...

Что тут скажешь, чем утетишь? Горе да и только. Раз мы – будущие представители Химок за границей, да еще в Израиле, мы и должны проявить себя с лучшей стороны. Выдать писателей поименно. Покончить с этой инфекцией! Если б она шутила, но она не шутит. Никто из присутствующих, во всяком случае, не смеется, и все смотрят в нашу сторону.

– Вера Ивановна, смотрите на это как на материал, стоит ли так бурно реагировать на пустяки, пишите свою книгу – от застоя к гласности...

– Ты мне еще указывать будешь? С вашим домом вечная война! То иностранцы, то эта эпидемия... Что же вы так надо мной измываетесь-то!

И вот этот совершенно бестолковый разговор, который и описывать-то тоска, топчется на месте, и все эти балагуры Ближнево-восточного региона с докторами и внучками Долорес Ибарури, которые чего только не плели в отсутствие Веры Ивановны, молчат и опрокидывают рюмку за рюмкой, продолжается их рабочий день, собирают материал для отчета. Кто здесь за кем следит?

Нет, этого не понять даже людям дружественных нам стран. А на столе уже стоит белый сугроб с разноцветными свечками, их так много, что так вот с налету годы не сосчитать, тем более в темноте, наступившей от одного дуновения Веры Ивановны.

– Свет, включите свет, – раздался голос Долорес Ибаррури, и свет включили, и все нашли свои бокалы, и снова чокнулись, и Вера Ивановна пошла за чайником, и началась заключительная фаза празднования – в сугроб был воткнут острый нож, под сахарным снегом лежала шоколадная земля.

Вместо ответа от Веры Ивановны – отпустит она нас на этот раз или нет – мы получили папку с ее первыми литературными пробами – выходит, эпидемия, вспыхнувшая в нашем доме, достигла Куркинского шоссе, по которому мы шли с мужем, топча подошвами свежий снег.

Среди темных пятиэтажных коробок выделялась наша – изда- лека ее можно было принять за шахматную доску. В квартирах писателей горел свет. У подъезда, на темном крыльце, курил журналист, часто и жадно затягиваясь дымом. Тощую сгорбленную от язвы фигуру мозамбика мы разглядели не сразу, тут же оказался и старичок с черной сукой, который никогда не приближался к жи- довскому кооперативу «Дружба». Его пролетарский дом был на-

против, и те, кто хотел с ним поговорить, шли к его подъезду, перед которым стояла скамейка, им лично в зеленый цвет выкрашенная в 1965 году и которая, как он говорил, облупится только после его смерти.

Черная сука носилась вокруг нас, старичок пел свою песню про золотые времена, когда был Хозяин и порядок, ругал нынешние, когда нет Хозяина и нет порядка. Может, ребята его раскололи, и он, боясь быть услышанным пролетарскими соседями, пришел сюда, чтобы раскрыть «военную тайну» объекта, который он сторожит, а при виде нас сменил пластинку?

После Веры Ивановны все казалось подозрительным – и что дом ночью не спит, и что сторож покинул свой пост, и что стоят они здесь, наверное, битый час, небось вышли покурить и застряли – мозабмикец хоть одет тепло, а журналист в эластичных трениках и куртке легкой.

Позвали мы их к себе, чайку попить на кухне. И этот увязался. Только вот как с сукой быть, он без нее ни на шаг. Так в нашей квартире оказался расстрельщик коминтерновок, в годы застоя я бы на порог его не пустила. Пока закипал чайник, журналист, отозвав меня в комнату, твердил одно: приняли в поле на троих, за забором, там такое, что закачаешься.

Он икал и качался, и зрачки у него были расширенные. Зачем мы позвали их к себе? Наверное, что-то еще волнует нас здесь, в наших Химках, которые можно с уверенностью принять как за модель державы, так и за любую точку ее.

*Иерусалим, 1990*

\* \* \*

Скамейка, покрашенная в 1965 году, так и не облупилась. Умерла Вера Ивановна. Умер Бенци. Незадолго до смерти он делился со мной горькими мыслями об Израиле. Он, сражавшийся в Войне за независимость, участник легендарной обороны Гуш-Эциона, советник министра иностранных дел, предрек Израиллю страшное будущее.

Где этот твой Ирзаиль, спрашивает меня чернорабочая из Молдавии, глядя на карту. Поставь на него палец, чтобы я увидела. Ставлю. Не видит. Где он? Под пальцем.

Бенци умер, Израиль еще живет, хоть и под пальцем.

Но вот не стало Веры Ивановны – и не стало СССР. Начальница ОВИРа г. Химки распустила страну. Дала свободу и ей, и себе самой. На вершине Фудизиямы она сложила хокку:

*Со всех сторон  
Пух на меня летит.  
Пора рубить тополя.*

Ей понравилось сочинять. Заграничной пилкой для ногтей, которую кто-то дал ей в последний путь, Вера Ивановна выцарапала в скале двадцать пять хокку. Японцы перевели их на японский и включили в антологию мировой литературы. Вот некоторые из них в обратном переводе с японского на русский.

*Погостила и ушла.  
А сколько следов  
Осталось в судьбах людей!*

*Раздалась в груди,  
Раздалась во всех местах.  
Меняю одежду, как кожу змея.*

*Кто это, скажи!  
Себя я вдруг не узнала  
В перестройках буден.*

*А я – такая простая  
Только проглянет ромашка,  
Хочется оборвать лепестки.*

*Весеннюю песню в полях  
Не слышу я. Сижу в конторе.  
Идет приём.*

*На могильном холме  
Расцветут незабудки.  
Это – глаза мои.*

*И история будет без меня,  
И уезжать будут без меня,  
Счастливого пути!*

*Под одеялом одна.  
Пустая подушка рыдает  
На струнах тоски моей.*

*Мне приснился ОВИР:  
Я стою в очереди  
Получать отказ.*

*Утром встаю бодря.  
Нет горячей воды.  
Не надо, раз мыла нет.*

*Все улетают с земли,  
Пропитанной потом моим,  
С паспортом от меня.*

По свидетельству историков, дух Веры Ивановны отлетел в утро 24-го дня седьмой луны. Русскоязычному читателю, возможно, будет интересно узнать дату отлета духа Веры Ивановны по грегорианскому календарю. Что ж, в добрый путь!

Я еще здесь.

Хайфа, 2013

# АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

---

*Рита Бальмина*

## НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ

\* \* \*

*Памяти Аркадия Хаенко*

Мы, как ангелы, спелись на уровне рая,  
А потом разлетелись, словами играя.  
Песен сольные сны и стихов наваждения  
По кургану весны – к адресам восхождения,  
В город парных миров или порт красоты,  
Где был жив и здоров и востребован ты.  
Даже в нищем квартале с латинским названием  
Мы себе присуждали награды и звания,  
Среди дружбы, вражды и приятельств-предательств,  
Места, времени, лжи и других обстоятельств –  
Так давно, как в кино: перспектива кривая...  
Время курит в окно, о тебе забывая.

### ИЗ ЦИКЛА «ОБОРВАННЫЕ МЫСЛИ»

В пророчествах дневного света  
Попробуй не ожесточиться  
Ты, обопсевшая волчица,  
Которой степью вся планета.  
Луна безликая лучится,  
Февраль на стёклах пустоцветы  
Изобразил морозным цветом,  
На километры за граница  
Видна сквозь магию кристалла.  
Ты у окна бесшумно стала  
И вой подлунный подавила:  
Всё было – ничего не стало...  
Из чаши памяти устало  
Хлебнёт бессонницы сивилла.

Под скрип заиндевевших веток  
Рождает образы былое,  
Сплетая доброе и злое  
Своих пустых дырявых сеток.  
В них интервал плетений редок,

А строчек горькие алоэ  
Не перебьются пастилой и  
Слащавостью пустых конфеток.  
И возникает давний спор,  
И потом катится из пор  
Над обрамленьями портретов,  
Смотря из прошлого в упор...  
На этих лицах с давних пор  
Луна бликует фиолетом.

Из кабинета глянет хмуро  
На графику морозных окон:  
За ними крон пушистый кокон.  
Урода-валуна фактура –  
Есть склеп: надгробная скульптура  
Старуха слеповатым оком,  
Точней, бельмом зрачка глубоким,  
И линзой (камера-обскура),  
Той, что не видит дальше носа,  
И населением раскосым  
К забвенью приговорена.  
Её соседей-эскимосов  
Не озадачивай вопросом:  
Где поэтесса Бальмина?

Она давно живёт одна,  
Разорена её берлога,  
В бульварной прессе некролога  
Не удостоилась она.  
А может, тяжело больна,  
Едва жива и молит Бога  
Послать ей смерти хоть немного:  
Нейдёт какого-то рожна?  
Снаружи вьюги вой лихой.  
Старуха стала шелухой,  
Бесплотной сгорбленной фигурой.  
Она, укутавшись дохой,  
Переживает век глухой  
Забывтой миром старой дурой.

Склонившись над клавиатурой,  
Она дрожащими руками  
Толкает вверх сизифов камень  
С неимоверной кубатурой.  
Груба гранитная текстура:  
Напоминает стены камер,  
Поребрики под каблуками...

И мышц крепчает крепатура:  
Ведут корявые, кривые  
Вчерашних строчек мостовые  
В памятные времена –  
На них она, завалы выев  
И побеждая энтропию,  
Как цензор, правит письмамена.

\* \* \*

Я не охотница до того  
и не охотница до этого:  
не Диана-охотница,  
не Диана, не принцесса,  
не принцесса, не Золушка,  
хотя зол уже много накопилось.  
Я просто бабушка  
в красной шапочке,  
которая всё чаще и чаще  
чувствует себя серым волком  
в тёмной чаще –  
тем, на которого охотятся.

\* \* \*

Мои покойные учителя  
говорили, что я подавала  
большие надежды.  
Подавала, подавала –  
да так с подносом  
и пробегала всю жизнь  
на третьих ролях.  
Видела Париж и не умерла,  
жила в Нью-Йорке  
и не разбогатела,  
не повысила статус.  
Статус, статус...  
ста тусовок  
безликой деталью была –  
узкого круга читателей  
super-star.  
Старость – когда скрипят  
старые ости-кости  
и никаких надежд.

## ИЗ ЦИКЛА «НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЗВЁЗДЫ»

\* \* \*

Под переломным знаком Зодиака  
Раскалывалась кость, судьбу корёжа...  
Но если рассуждать двояко,  
Мне нравится Нью-Йорк, Серёжа,  
Когда меня ты полупьяно хочешь,  
Пока укутываешь покрывалом  
Бессонной бесконечной ночи,  
В которой вялой страсти валом.  
А за окном игрушечной гирляндой  
Подвешен мост... Щека твоя так близко.  
Прижми к щетине – стану безоглядной,  
От ласки ошалевшей одалиской.  
Зачем наждачный подбородок ищет  
Банальных таинств на моей фигуре?  
Отныне опасайся хищных  
Ночных ближневосточных гурий  
За вкус соблазна на сосках-черешнях,  
Которыми случилось причаститься  
И обрести в нагих объятьях грешных  
Вербального бессмертия частицу.

\* \* \*

Дурным пророчествам перечая,  
Я так желала новой встречи,  
Тебя хорейми маня,  
Что ты явился взять меня.  
Мрак над Манхэттеном навис.  
На «Максиме», скользящей вниз,  
Мы мчались сквозь гремящий ливень,  
И не было меня счастливей...  
На облако меня увёз ты,  
Судеб неправильные звёзды  
Перечеркнули небеса,  
Луна кривилась однобоко,  
А утром выпала роса  
У век Всевидящего Ока...  
Оно глядело рачьим взглядом:  
В его зрачке отражена,  
Твоя покойная жена  
Сидела рядом.

\* \* \*

Погода кажется плохой,  
 Когда плохое настроенье:  
 По лужам светопреставленья  
 Скачу подкованной блохой.  
 Мне радостно, хоть места нет  
 Возле тебя в ковчеге Ноя,  
 А ливневая параноя  
 Захлёстывает Новый Свет...  
 И ты надёжно ограждён,  
 Мой романтический герой,  
 Уныло льющейся хандрой  
 От моря счастья под дождём.

\* \* \*

Прощай, лирический герой,  
 Я не умею быть случайной  
 Шалавой из дешёвой чайной,  
 Хоть и приходится порой.  
 Прощай. Ты слишком виртуален  
 И до того невольник чести,  
 Что в интерьерах страстных спален  
 Нам больше не сплетаться вместе.  
 Прощай... С неистовством торнадо  
 Хочу, хочу тебя опять!  
 С другими бабами не надо  
 Так легковесно поступать.

\* \* \*

Прости, мой ласковый фантом,  
 Ты перечитан между строк,  
 В которых стонущий порок  
 Уже за взорванным мостом.  
 Раз не дано предугадать,  
 Кем встанем из одной постели,  
 То о душе, а не о теле подумать –  
 Тоже благодать...

\* \* \*

Он предъявил мне жизни изворот  
 С печальной и трагической развязкой,  
 И текст раззявил удивлённый рот  
 Над фабулой с её трясиной вязкой.

Но нарратив сметает, как цунами,  
Итоги жизни, прожитой Мисимой,  
И свињи бисер мечут перед нами,  
И пахнет пористостью апельсинной.

\* \* \*

Пророчества молча висят на крестах  
С запёкшейся правдой на мёртвых устах,  
А я все живу, я – седая Сивилла,  
Из ангельских перьев гнездо себе свила,  
Развесила строки на ветках рассвета.  
Вдали от клеветов кривого навета,  
Бессудных расправ и заплечных рубах...  
Но ложь не обсохла на ваших губах...

\* \* \*

Я вышла из пены, а ты из запоя.  
Мы стали степенны обое-рябое.  
Мы классики класса простите-подвиньтесь.  
В тебе ловеласа осталось на винтик,  
Во мне светской львицы осталось на кошку  
Давай же в астрал уходить понемножку.

## **HALLOWEEN**

плесни мне млечного пути  
из звёздного ковша  
грозит в сомнамбулу войти  
безлунная душа  
спеша во тьму едва дыша  
зажав кастет в горсти  
под шаткий шорох камыша  
к просторному прости  
туда где длится тёмный бал  
где каждый первый каннибал  
до третьих петухов  
сюда нас зомби загребал  
и кровь сочится из хлебал  
вампирских пятак.

*Тригорий Певзнер*

## ПОЛУСТАНОК

\* \* \*

Грызясь с женой, промокнув в луже  
иль принимая душ из тучи,  
я знаю: в целом будет хуже,  
но временами – всё же лучше!

\* \* \*

Свой бисер больше не мечу,  
молчу, не лезу в драку.  
И на Итаку не хочу.  
И не хочу в атаку.

Порою плачу, но плачу,  
бурчу, что впредь не стану,  
что то, что было по плечу,  
теперь по барабану,

что нерв задет, что нос забит,  
что перекрыты краны...  
Рубец на знамени зудит  
на месте бывшей раны.

\* \* \*

Я танцую на канате,  
вижу бездну с высоты.  
Это просто, раз – и нате:  
снизу – бездна, сверху – ты.

Я пляшу без остановки,  
избегаю взглядом дна.  
Знать бы всё же: без страховки,  
иль страховка не видна.

Глуби, хляби, нежить, небыль...  
Кто-то ногу волочит...  
Добрый Боженька на небе  
держит лонжу и молчит.

\* \* \*

Взор небесный. Ноги до пят.  
Дева прелестна. На перемене вопят  
семиклашки, плюются из трубочки,  
за косу дёргают из-за плеч –  
пытаются, в общем, как-то внимание к себе привлечь.

Она поправляет косу, отмахивается едва.  
Практикант-биолог, тот, что поставил «два»,  
чтобы скрыть пожар, пожирающий изнутри, –  
её ответ был явно на твёрдое «три»! –  
так смотрел на неё при этом, что не понять  
мог бы только слепой! И уже не унять  
в пальцах дрожь. Вместо учёных книг  
она держит раскрытым с этой двойкой дневник.

И разноцветноглазые дрозофилы,  
разбившись по две,  
ежесекундно скрещиваются у неё в голове.

\* \* \*

Наклонись и умойся, зачерпнув из ручья.  
Светом стянута в кольца мошкеры толчея.  
Выбрав нужную ноту, горло пробует птах.  
Непонятное что-то промелькнуло в кустах.  
Зачерпни и умойся, не мешай мурашам –  
мураши-комсомольцы тащат брёвна, спеша.  
А поверх всех козявок и поверх головы  
запах утренних яблок от лежалой листвы.

\* \* \*

Почти не нарушая тишины,  
нашёптывает ветер в тишине.  
На небе каша, и луна в кашне.  
За облаками звёзды не видны.  
Сквозь воздух, невесомая почти,  
течёт чуть слышно времени река,  
где звёзды отражаются слегка,  
а наших отражений не найти.  
Ночь. Дождь порой расплачется во сне.  
На стёкла капли капнут и стекут.  
Часы клюют секунды на стене  
и сплёвывают шкурки от секунд.

\* \* \*

Утром звёзды невесомей,  
хрупок воздух, хрусток снег.  
К жёлтой бочке тёти Сони  
направляюсь в полусне.

Дворник возится у дома,  
чем-то мрачно шерудит.  
Я бреду, звенят бидоны  
у меня и впереди.

Арка. Угол. Боком бочка.  
Как обычно, без конца  
к бочке тянется цепочка  
чёрных пугал без лица.

Воротник у пугал поднят,  
и откуда-то над ним  
пар на выдохе выходит  
(а из некоторых – дым).

У меня в кармане трёшка  
и бидоны в двух руках.  
Тётя Соня – как матрёшка  
в телогрейке и платках,

из обрезанной перчатки  
пальцы мёрзлые торчат...

Память держит отпечатки  
через годы, через чад:

алюминиевый ковшик  
в тёти-Сониной руке.  
Двух бродячих драных кошек  
хриплый мяв невдалеке.

...Я пришёл, похоже, рано:  
нет движения пока,  
и висит под носом крана  
сталактит из молока.

Точно в церкви при иконе,  
по утрам придя в свой храм,  
теплит свечку тётя Соня,  
греет свечкой стылый кран.

Кран оттаял постепенно,  
льётся в ковшик молоко.

В молоке вскипает пена,  
поднимаясь высоко.

И, на эту пену глядя,  
недоверчив и брызглив,  
закипает вредный дядя,  
предвкушая недолив.

Но, глуха к карманным фигам,  
тётя Соня, мир в душе  
сохранив, погасит мигом  
пену в дяде и в ковше  
до разумного предела.

Приструнит слегка народ.  
А со мной – другое дело:  
мне добавит от щедрот.

Потому что суть – не млеко,  
а улыбка на лице,  
потому что человека  
уважаю в продавце!

...Я сдержать не в силах вздоха.  
Для чего во мне живёт  
позапрошлая эпоха  
и покоя не даёт?

Что мне это время оно?

Но всю жизнь я в нём. Пешком,  
с облупившимся бидоном  
за морозным молоком.

\* \* \*

Полустанок. Изъеденный ветром песчаник  
стен, заборов бетон и акаций побелка.  
Светит спелая дыня вверху над бахчами.  
Старый пёс молодому вещает ночами,  
мол, была там у Белки со Стрелкою стрелка.

За домами погост. Десять метров ограда.  
В остальное вливается степь без границы.

Оказавшимся здесь вместо рая и ада  
та же степь, что при жизни, наверное, снится

\* \* \*

Ближе к вечеру злей комары.  
Ртутный блеск обретает вода.  
Свет спокойнее. Из-за горы  
парапланов плывёт череда.

Тени резки и плавки мокры.  
Краски гуще. Вода солона.  
С парапланами из-за горы,  
осмелев, выплывает луна.

Тарахтит катерок по делам.  
Возле уха комарик звенит.  
А луна, как ночной параплан,  
поднимается дальше в зенит.

Солнце медленно тонет в ночи,  
безысходно уходит ко дну.  
Но последние солнца лучи  
поджигают в зените луну,

как зенитки – ночной самолёт,  
и луна начинает гореть.  
Вот уже от луны только треть...  
Вот и весь небосвод просмолён...

\* \* \*

От кромки волн невдалеке  
на мелкой гальке, на песке  
застенчивый, полупрозрачный,  
в невзрачной серой паре фрачной  
кузнечик греется. Другой,  
за ногу зацепив ногой,  
слегка подрагивает рядом.  
А я притрагиваюсь взглядом  
к камням, к кузнечикам, к песку.  
Я складываю по куску  
картинку дня. Гляжу и вижу  
сперва яснее то, что ближе –  
кузнечиков. Потом бугор –  
скалистый брег, сосной покрытый.  
Ряд ближних гор. Ряд дальних гор.  
И неестественно открытый –  
не то что облачка – намёка  
на облачко не сыщёт око –  
меж солнцем и землёй простор.

\* \* \*

Реже хочется гурьбою...  
Привыкается вполне  
с болью, Богом и собою  
в тишине наедине.

Боль прилежная, как спица,  
лунный облик нарочит.  
Замечательно не спится,  
время в дырочку сочится.  
Бог сочувственно молчит.

\* \* \*

Это время на переломе,  
эти щупальца в каждом доме,  
репортажи из райских врат.  
Не спасающие пароли,  
от фейсбука до фейсконтроля  
всюду пристальный Старший брат.

Это кнопочное поколение,  
перекрёстное опыление,  
расползание всех прорех.  
Ускоренье устареванья,  
относительность расставанья,  
смена климата, смена вех.

Фиге тесно уже в кармане,  
демография, мусульмане,  
ветхой памяти решето.  
Все судимы, и каждый судит...

Апокалипсиса не будет.  
Что-то будет. Не знаю что.

# ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

---

*Зинаида Палванова*

## *В ПРОСТРАНСТВЕ ЭТОГО СНИСКА*

В сентябре Александру Петровичу Межирову исполнилось бы девяносто... Мое отношение к нему, ясное дело, неисправимо ученическое. Так бывает, когда кто-то в детстве был старше тебя, и ты на всю жизнь сохраняешь это чувство «младшинства». А тут не просто старшинство, а ещё и война, которая коснулась моего поколения через отцов. Или безотцовщину... Дмитрий Сухарев в стихотворении о другом поэте-фронтовике, Борисе Слуцком, написал, словно математическую формулу вывел: *Ведь мы студенты, а они – солдаты, / И этим обозначены места.*

Отдавая сердечную дань давно уже ставшим классическими «Коммунисты, вперёд» и «Артиллерия бьёт по своим», я особенно люблю у Межирова стихи, в которых он отстаивает право на внутреннюю свободу. Нелёгкие вопросы задаёт поэт себе и современникам: *Всё долбим, долбим, долбим, / Сваи забиваем, / А бывал ли ты любим / И забываем?..*

Знаменитое пристрастие Межирова к азартным играм и к цирку делало его для меня ещё более ярким и таинственным...

Мне повезло: однажды Александр Петрович был моим гостем.

Это было осенью 1990-го, первого года новой жизни – жизни в Израиле. Что было к этому времени в моём новёхоньком – израильском – прошлом? Праздничная пора приезда и первых дней у друзей в Иерусалиме, полгода в центре абсорбции для матерей-одиночек в Кфар-Сабе, обустройство в Тель-Авиве, начало работы в журнале «Алеф»... А летом, сразу после переезда на первую съёмную квартиру, появился у меня друг. Симпатичная женщина из Сионистского форума дала ему мой телефон с указанием помочь мне «абсорбироваться». Он позвонил, сказал, что давно живёт в этой стране и готов по мере сил участвовать в решении моих проблем. Договорились о встрече.

Седоголовый, голубоглазый, загорелый человек приехал за мной на маленькой «субару» и повёз на выставку. Что это была за выставка, уже не помню, но хорошо помню, что потом было колесо обозрения, потрясающий вид на Тель-Авив, на всю мою новую жизнь. И соседство на пугающей высоте с почти незнакомым, но уверенным в себе мужчиной. Сердце моё, помнится, малость дрогнуло...

Звали его Арье, что в переводе с иврита значит Лев. Вскоре выяснилось, что он не просто Лев, он – морской Лев. В море этот инженер-электронщик чувствовал себя в буквальном смысле слова как рыба в воде. Никогда в жизни я не заплывала так далеко. С ластами и с ним мне было совершенно не страшно...

В Тель-Авиве, на улице Каплан, было тогда что-то вроде ЦДЛ, центрального дома литератора. Мы с моим сыном жили рядом с теат-

ром «Габима», это в двух шагах от Каплан. И конечно, едва устроившись на новом месте, я отправилась в этот дом – к братьям по перу. Так началось моё знакомство с писателями, приехавшими в семидесятые, – с Эфраимом Баухом, Ильёй Бокштейном, Давидом Маркишем... И вот однажды Давид обратился ко мне с просьбой приютить на несколько дней приехавшего из Москвы поэта Межирова. Я сперва растерялась. Александра Петровича я почитала издавека, любила его стихи, слышала перед отъездом из Москвы об ужасной ситуации, в которой он оказался... Но квартира у нас небольшая, в одной комнате – сын, в другой – я сама. Потом сообразила, что сына можно на это время переселить ко мне, ведь в моей комнате есть диван, подаренный недавно добрыми израильянами, помогавшими нам, новым репатриантам, наладить быт в новой стране. Таким образом, поэту можно предоставить комнату. Так мы и сделали.

Его привезли к нам какие-то симпатичные интеллигентные люди, тут же уехавшие. Я протянула Александру Петровичу руку, назвала себя. Мы познакомились, то есть он познакомился со мной, потому что я-то много раз видела его в Москве, в писательском доме, в том самом ЦДЛ, и прекрасно знала в лицо. И раньше лицо его было особенным – серьёзным, малоподвижным, значительным. А теперь оно показалось мне откровенно трагичным.

Чуть ли не в первый вечер Межиров предложил пойти погулять с Инной Лиснянской и Семёном Липкиным, гостившими в ту осень в Израиле и жившими неподалёку. Было ли ещё такое в моей жизни – прогулка сразу с тремя большими поэтами?!

Гуляли мы не по ярко освещённым улицам, а в полутьме тель-авивских переулков, недалеко от Музея искусств. Шли медленно. Запомнилось чувство нереальности происходящего. А ещё запомнилось чувство, что, как они для меня – старшие, так и для них есть старшие, и это те, о ком они говорили, – Ахматова, Мандельштам, Заболоцкий...

Я рассказала Арье о высоком госте. Мой друг решительно сказал, что он такого поэта не знает, но с большим удовольствием покажет ему Иерусалим.

Мы ехали в маленькой «субару». Сначала говорили об израильской погоде, о том, что видели вокруг по дороге. Потом – об удивительной волне репатриации русских евреев. И вот тут с Арье что-то случилось. Спокойная дорожная беседа осталась позади. Громко и напористо звучал монолог, смысл которого сводился к одному: евреи должны жить в Израиле. Он не понимает и не хочет понимать еврея, который не стремится в Израиль. Межиров несколько раз пытался возразить, но Арье ничего не хотел слышать. Я знала, что Арье – диссидент, отказник, сионист в лучшем смысле этого слова, но что он может быть таким нетактичным, почти грубым, – это было для меня открытием. А ведь я ему говорила, что мой гость – прекрасный поэт, что он воевал и написал о войне потрясающие стихи, что он – известный в Советском Союзе человек... Мой друг забрался, видимо, на своего конька, а конёк взял да понёс его. Когда я попыталась вставить словечко о том, что не всё так однозначно, что для поэта родина –

язык, он отмахнулся от меня, сидевшей сзади, как от мухи. Тут я нехорошо замолчала. Я почувствовала, что во мне накапливается не просто раздражение, а что-то гораздо более серьёзное...

Мы приехали в Иерусалим и сразу направились в Старый город. К счастью, Арье переключился на рассказы о древности. У него был с собой фотоаппарат. Сохранился снимок, на котором я одиноко вписана в цветущий куст. Межирова рядом со мной почему-то нет. Не помню, как это получилось. Может быть, он не встал рядом со мной как раз из деликатности по отношению к моему непреклонному другу? Не могу простить себе, что не настояла, не пустила в ход женское право на каприз... Но присутствие Межирова в пространстве этого снимка для меня несомненно. Он стоит напротив меня, рядом с Арье, а у меня – оттого, что я смотрю на него – лицо какое-то одухотворённое и несколько отрешённое. С лёгкой такой, едва заметной улыбкой...

Мне кажется, что на этой фотографии я смахиваю на Мону Лизу. Сейчас я шучу, а тогда мне было бесконечно грустно...

Думала ли я когда-нибудь, что буду принимать у себя Межирова? Не помню, что я приготовила в то утро на завтрак, но кофе на солнечной кухне мы пили замечательно долго, он расспрашивал меня о жизни до Израиля и в Израиле и был ужасно мил с этим своим суровым лицом... А потом попросил стихи. Я выдала ему все три тонких книжки, которые были у меня к тому времени. Он решил, что начнёт с первой, вышедшей в издательстве «Каракалпакстан».

В тот день я работала во вторую смену, пора уже было уходить. Александр Петрович остался дома, сказал, что за ним ближе к вечеру приедут, а пока он почитает мои стихи. Наверное, тогда он и написал записку, которую я храню до сих пор.

В крохотной записке Межиров сказал важнейшую вещь. Не мне судить, повлияло ли это замечание на мою литературную работу, но совершенно точно, что запомнилось оно навсегда.

*Зинаида Зина,*  
 «Приказ бессмысленный» никак читать  
 и читать с выжиданием, ощущая  
 зкритичность и серьёзность,  
 но, м.б., некоторую нежность  
 более о тебе и мысли  
 в любовных стихах верених.  
 Возврат за мной и приклич.  
 Взять с собой книги не рождался.  
 БУДУ ЗНАТЬ.  
 Ваш А.П. 11.90

*Александр Межиров*  
*ДО КРАЙНЕГО ЧИСЛА*

\* \* \*

Приличествуют жалобы тебе ль,  
Чья жизнь прошла, казалось бы, в забавах.  
Ты был рабом, изгоем, а теперь  
Окажешься изгнанником вдобавок.

И с ветхою котомкой побредёшь  
По городам и весям. В снег и в дождь.

\* \* \*

Рифмованная проза,  
Постылые слова,  
Придуманная поза –  
Седая голова.

Пора кончать. Без звука  
Поэзия мертва,  
Рифмованная мука –  
Седая голова.

Случайный звук – основа,  
В нём сгусток вещества  
Божественного слова –  
Седая голова.

В нём дух её нетленный,  
Идея, долг, права,  
Гипотеза вселенной –  
Седая голова.

Никак не содержаньем  
Поэзия жива,  
А только звуком ранним –  
Седая голова.

А если звука нету,  
Который был сперва,  
Пора уйти поэту –  
Седая голова.

\* \* \*

История Судьбы  
Народа и страны  
Составлена, дабы  
Взглянуть со стороны.

Со стороны видней  
Тысячелетья дней.  
Слышней часы веков  
И скрежеты оков.

Согбенный виден вид,  
Его который раз  
Темница распрямит,  
Как распрямляла нас.

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ 1944 ГОДА

\* \* \*

То лёд, то наледь, то вода  
И снова лёд зимы грядущей.  
Уйти из жизни. Но куда?  
Как жить потом под райской кущей?

Чем без тебя дышать в аду?  
С кем без тебя гулять по раю?  
Нет, никуда я не уйду,  
Пока в любовь не доиграю.

Я распахнул перед тобой  
Души перерождённой двери...  
Так что ж ты медлишь в недоверьи –  
Входи и властвуй. Жги и пой.

\* \* \*

*Лёле*

Почему ты сейчас не со мной?  
Не с тобой я сейчас почему?  
Кто несчастью тому – виной?  
Понимаю  
И  
не пойму.

Если будешь грустить – то спой  
Песню грустную  
про меня, –  
Мне и дня не прожить с тобой,  
Без тебя не прожить и дня.

**ОХОТНИК НА ОЛЕНЯ**

Свет упал во тьму,  
В ночь сместился день –  
Только потому,  
Что убит олень,  
Что суждён и нам  
Повторённый снова  
Собственный Вьетнам  
Бытия земного,  
И своя Чечня  
Завтрашнего дня.

Громов генерал  
На мосту – последний.

Он в стране соседней  
Много воевал.

Армию увёл,  
Перемог потраву,  
И над ним, по праву,  
Вспыхнул ореол.

**ВРЕЗКИ**

Я выступал о вас,  
Родных, любимых, милых,  
Десятки тысяч раз,  
Но больше я не в силах.  
Не в силах, видит Бог,  
Опять хвалить и славить –  
Я всё сказал, что мог.  
Мне нечего добавить.

\* \* \*

А он идёт походкой от бедра.  
Гип-гип ура. И жизнь к нему добра.

Пять-три, – он говорит. – На этой форе  
Дающий нищим сделается вскоре.  
На этой форе выигрыша нету.  
Гони монету.

\* \* \*

У пологих гор в алькове  
 Портленд спит. Его кровать  
 Широка. Но чёрный кофе  
 Помогает мне не спать.

Чёрный кофе пью из блюдца,  
 Ночи летние тихи.  
 Дорогой ценой даются  
 Мне последние стихи.

### КАЗИНО В РЕЗЕРВАЦИИ

Здесь резервация. Остаток.  
 Остался, Господи, прости,  
 Один мильон из десяти,  
 Период истребления краток.

.....

И рай не в рай, и ад не в ад.  
 Но в мире много есть Невад,  
 Где двери в казино открыты,  
 Где «однорукие бандиты»,  
 Перегреваясь, барахлят.

Ищи свой шанс, не зная лени,  
 Взыскай земную благодать,  
 Чтоб в этом звонком барахленье  
 Закономерность разгадать.

Но кибернетикой опека  
 Над казино учинена –  
 Шестью колодами блэк-джека  
 Распоряжается она.

Пришел кард-дилеру на смену –  
 Кибернетический расчёт,  
 И, круто взвинчивая цену,  
 Компьютер карты раздаёт.

Ищи свой шанс и помни выход  
 С шести заряженных колод,  
 И, может быть, дождёшься выгод,  
 Одна из них тебя найдёт.

\* \* \*

Было так мало сил,  
Да и не по уму.  
Как я сохранил,  
Сам не пойму.

В тот жестокий срок,  
Здесь, а не там,  
Как я уберёг,  
Не знаю сам.

Трудная колея,  
Крут склон,  
Это не я,  
Это Он.

## ПРЕКРАСНОЕ

*Из Платона*

Слишком сильно болен был.  
Или недостаточно...  
Слишком много водки пил.  
Или недостаточно...

Перечёл твои стихи  
В день чужой, ненастный.  
Слишком все они плохи,  
Слишком все прекрасны.

Всё прочёл я от и до  
По твоим по книжкам...  
А прекрасное лишь то,  
Что не слишком-слишком.

\* \* \*

Сцена рядом. Разлюли-малина  
Ложа литер «А».  
Тебя сюда  
Не литература приманила,  
А литературная среда.



*Дмитрий Сухарев*

## *И РАДОСТЬ, И СЛАДОСТЬ*

Мне нравится, что людям нравится обсуждать романы Дины Рубиной. Радостно оказаться свидетелем такого разговора. Сажу молча, благодарный уже за интерес к предмету. Вслушиваюсь не в смысл, но в музыку речей.

Раньше или позже энергия обсуждения начинает сходить на нет. И как же мне тогда бывает сладко протянуть как бы с ленцой: «А я, знаете ли, знаю Диночку с семнадцати лет».

Иные обалдевают. Начинают считать на пальцах: сколько же лет могло быть Дине Ильиничне в мои семнадцать, если знакомство состоялось «году в восьмидесятом», а сейчас мне за восемьдесят? Трудности налицо. Но быстрых разумом невтонов понемногу осеняет мысль, что семнадцать могло быть не мне, а Диночке. Ага! Всё равно сбиваются со счета, а я ничем не могу помочь. Дело ещё в том, что я поступал учиться в МГУ в том самом 1948 году, когда на моём биофаке отмечали окончательную победу Лысенко над моргановской формулой хромосомного наследования, в связи с чем отменили курс математики. Так что в цифири я вынужденно нетвёрд. А вы считайте, считайте, вас учили. Не рискну утверждать, что именно семнадцать, могло быть и семь, но точно, что не меньше семи.

Иные, запутавшись в расчетах, спрашивают в лоб: «А какая она тогда была?» Ооо. Какая она была.

Говорите, театр Ильхом, сцены у фонтана? Если это и имело место, то стёрлось напрочь. Родной город, полузабытый с детства, предстал передо мной цирковой ареной. Не древесными опилками и не речным песком была она покрыта, но летучей лёссовой пылью. В центре арены, работая хлыстом на манер цирковой атаманши, стояла Она, обворожительный семнадцатилетний подросток, а по кругу, тихо бляя, бегали ташкентские поэты. Отчего-то они оказались сплошь еврейями, и это усиливало остроту восприятия.

Было радостно и больно встроить себя в очарованное кружение поэтов-земляков. Хлыст сладко посвистывал, а лёсс, продукт истёртости земной коры, ласково грел ноги. Сложилась гармония. И грустно стало мне остаться одному на отчих берегах, когда мои новые друзья во главе с атаманшей стремительно переместились в прелестное государство Израиль.

Какая она теперь? Повторю очевидный ответ: восхитительная. Только не спрашивайте, какая она писательница. Увольте – некомпетентен. Слишком дорогую цену пришлось мне заплатить за неумение отличить Дину Рубину от Игоря Губермана. А не хватило пустяка – текстологического чутья.

Вот вам два фрагмента художественной прозы. Первый: *«Все знают анекдот о некоем коте, который был гуляка, ёбарь и все ночи пропадал на чердаках и крышах в поисках любовных приключений»*

(ИЖ-43, 2012, с. 46). Второй: «Я вот этого терпеть не могу: вчера ты коммунист, а сегодня – ты, блядь, царист!» (ИЖ-35, 2010, с. 47). Согласитесь, читатель, – кому какой принадлежит фрагмент, и ему понятно. А я дал маху и понёс ущерб. В первом нецензурное слово, любовно выбранное из богатого ассортимента русского мата, применено с точечным попаданием – и значимо, и звучно. Это фирменный стиль Губермана. У него если хер, то конкретный хер. А во втором фрагменте изощрённость иного рода – конкретность вытравлена до абсолютного нуля. Матерное словцо, самое что ни на есть расхожее, намеренно обезличено, и в этом знак качества, именно эта неконкретность позволяет абстрактной бляди с таким блеском выполнять непростую функцию усилительного междометия. Это мастер-класс Дины Рубиной.

Знал бы наперёд, соломки б подстелил. А я дал маху. И когда горячо любимая Диночка в совершенно личном письмеце тем же усиленным междометием квалифицировала мою, свою, нашу общую, хотя бы и не безупречную, но биологическую родину, я повёл себя неадекватно. В смысле родина же, а родину и мать не выбирают и тому подобное. Вошел в азарт, разразился непропорциональной, грубой, мстительной бранью в адрес прелестного государства Израиль, которое мной без церемоний было квалифицировано как худшая из этнократических тираний планеты и тому подобное.

Помяну лишь малую часть плачевных для меня последствий. К тому времени уже вышел из печати самый прекрасный из рассказов Дины Рубиной о любви. Чуть книзу от заголовка сияли сладкие и справедливые слова: «Посвящается Дмитрию Антоновичу Сухареву». Объектом авторской любви в этом чудесном рассказе стал реальный персонаж, лохматый пёс Кондрат, – действительно превосходное существо, мы были знакомы. Что же сделала любимая писательница после моего непропорционального ответа на «эта блядь...»? Яростно сняла посвящение! Рассказывают, не поленилась разыскать всех обладателей и обладательниц своего сборника, выкупила у каждого его (её) экземпляр и, облив бензином весь тираж, сожгла его в Иудейской пустыне у подножия рукотворной горы, служившей некогда обиталищем царя Ирода. При чем тут гора?! Рассказывают, что царь Ирод отличался от пса Кондрата в невыгодную сторону и был неоднозначный персонаж.

Нет худа без добра. Рассеяние тиража принудило Дину Ильиничну посетить немало хороших стран и узнать множество хороших людей. Ведь обладателями и обладательницами злосчастного сборника наверняка оказались те, кто обладал незаурядными биографиями. Замечательной писательнице хватило впечатлений на все последующие романы, включая, я уверен, только что анонсированную эпопею «Русская канарейка». Так что жизнь прекрасна, даже вполне терпима.

Сжечь весь тираж Диночка, однако, не смогла. Мой экземпляр сборника остался у меня. Перед сном я кладу спасённый томик на седую грудь, открыв его на заветной странице. Иногда плачу.

Родная Диночка! Простите мне натужный юмор. Он от смущения, а смущенье от избытка чувств, а это полный цугцванг. Будьте здоровы, будьте счастливы в любимых и в творчестве!

*Елена Игнатова*  
*МНОГАЯ ЛЕТЛА!*

Жизнь – великий драматург, и то, что кажется случайным, на самом деле оказывается развитием сюжета. Начало 1950-х, городская окраина, детский киносеанс, фильм «Слон и веревочка» о девочке, которая не умела прыгать через скакалку. Скакалка почему-то называлась прыгалкой, дети танцевали, пели и говорили стихами, девочка научилась прыгать, выполнив план по добрым делам, а мы смотрели эту историю, сидя в ботинках, мокрых после прыжков с сараев в сугробы. Узнаваемыми были только два персонажа: хулиганистый подросток и маленький недотепа с широко распахнутыми глазами. Этим славным ребенком был Давид Маркиш, и хотя фильм быстро забылся, его можно считать началом нашего знакомства. Следующие эпизоды относятся ко времени нашего прибытия в Израиль. Не все «ватики» (репатрианты, приехавшие раньше) встретили Большую алию с энтузиазмом; материалы в русскоязычных газетах были выдержаны в стиле «понаехали тут...». В этом духе была и статья Маркиша, который, помнится, уверял, что приедем не следует дорожить усвоенной в России «культур-мультикультур». Поэтому первая встреча с Давидом была отчасти комической: меня позвали в Тель-Авив на собрание, где он изложил проект, сулящий заработок этим самым «культур-мультикультур» из новых репатриантов – открыть артистическое кабаре. Например, так: гости сидят за столами, на сцене на фортепьяно играет Леонид Пташка, затем Евгений Клячкин ходит между столами, играет на гитаре и поет, следом двигаюсь я, декламируя стихи, потом опять Пташка... Вторая встреча была в каком-то клубе близ Тель-Авива, где мы выступали вместе с Давидом. Слушатели, немолодые, респектабельные, из тех, что в России заполняли залы филармоний, настроились на приятный вечер, но Давид начал с места в карьер: «Мы были народом Книги, а стали народом бухгалтерской книги!» Слушатели были изумлены: они вернулись на историческую родину, так сказать, к первоистокам, а им сообщают, что здесь уже бухгалтерия!

Давид умеет и любит удивлять, он полон идей, и вот с удовольствием слушаю очередную: не хочу ли я поселиться на горе Кармель, там будет поселок деятелей искусства, и коттеджи стоят смешные деньги?

Он превосходный рассказчик, и то, что может показаться вымыслом, оказывается правдой. Например, одна из гор на Памире названа в его честь «Маркиш». («Она невысокая», – скромно замечает Давид). Талантливый, успешный, энергичный, с замечательным чувством юмора – все это так. Но я вспоминаю одну из историй, которую рассказал Давид. После ареста Переца Маркиша его семью выслали в Казахстан. Они прибыли к месту назначения и брели по голой степи: мать с сыновьями Давидом и Шимоном, и тетушка, сестра Переца Маркиша, которая несла свою единственную ценность – настольные часы в деревянном футляре. В тех пор прошло более полувека, и мы желаем, чтобы часы отмеривали тебе еще много лет, дорогой Давид. С юбилеем!

*Елена Коркина*

### *«БЕЛОРУССКИЕ ЕВРЕИ» МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ\**

Настоящие заметки составлены с целью уведомления о большой и неисследованной теме. Последние тетради Цветаевой сохранили тексты ее переводов из еврейских поэтов, уроженцев Польши. Большинство этих текстов не опубликовано, не атрибутировано и не расшифровано.

Начну с краткой исторической справки. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а 17 сентября, по договоренности с Берлином, Красная армия перешла советско-польскую границу и в считанные дни «освободительного похода» присоединила восточные районы Польши к СССР.

В январе 1941 года Цветаева получила заказ от издательства «Художественная литература» (Отдел дружбы народов СССР, с которым она тесно сотрудничала) на переводы стихов еврейских поэтов Западной Украины и Западной Белоруссии. Судя по всему, речь шла о представительном сборнике поэтов из присоединенных областей, писавших на идише. Книгу готовили в срочном порядке и работу раздали трем переводчикам – В. В. Державину, Л. М. Длигачу и М. И. Цветаевой.

Цветаева во всех своих записях и письмах называет эту работу «Белорусские Евреи», хотя именно к таковым относился только один поэт, остальные были из Западной Украины.

Редактор Гослитиздата Зинаида Петровна Кульманова в своих воспоминаниях, написанных в 1975 году, сообщила, что Цветаева «сделала ряд переводов к готовящейся к выпуску, но так и не вышедшей книге стихов евреев-экспрессионистов, жителей присоединившихся к СССР Западной Украины и Белоруссии. Редактором сборника был Юткевич. Сборник запретили, но материалы, возможно, сохранились в архиве издательства. Юткевич умер несколько лет назад»<sup>1</sup>.

Возможно, относительно запрета сборника автору воспоминаний изменила память, ибо 22 мая 1941 года Цветаева делает поправки в свои переводы, предваряя их заголовком в тетради: «Последние поправки к Белорусским Евреям, которые сдаются завтра и пойдут без всякой корректуры», что свидетельствует о срочной сдаче сборника в печать, а не о его запрете. А в альманахе «Дружба народов», подписанном к печати 24 мая, в рубрике «Хроника» сборник упомянут в

---

\* В начале работы над этой темой я обратилась к Инессе Людковской со списком еврейских поэтов, которых переводила Цветаева. Она передала этот список поэту и литературоведу Вельву Чернину, который написал краткие справки о каждом. Пользуюсь случаем поблагодарить обоих за их участие и внимание.

<sup>1</sup> Марина Цветаева в воспоминаниях современников: Возвращение на родину. М.: Аграф, 2002. С. 125.

числе «вновь подготовляемых изданий». Отсюда становится известным и его точное название: «Из еврейских поэтов Западной Украины и Западной Белоруссии».<sup>2</sup>

Текста сборника или его частей в архивах ни Гослитиздата, ни причастных к работе над ним людей обнаружить мне пока не удалось.

Цветаева перевела около 600 строк (есть в тетради итоговая запись о том, что с 20 февраля до 26 марта 1941 г. она перевела 529 строк, но и в январе, и в апреле-мае она работала) «белорусских евреев». К сожалению, в очень редких случаях она указывает имена поэтов. Все тексты переводов очень черновые, т. е. с большим трудом поддаются расшифровке.

Вот две самые большие трудности для исследователя, который бы взялся за такую работу. А взяться за нее человеку, оснащеному арсеналом необходимых средств (прежде всего я имею в виду языки – идиш и польский), стоит. Это последняя большая работа Цветаевой. Это голоса неизвестных (или забытых) поэтов, в большинстве своем погибших во время Холокоста. И даже если темы их стихов кажутся слишком обусловленными своим временем, это не должно обескураживать нас, как не обескуражило Цветаеву.

Если эти заметки пробудят интерес к судьбе и творчеству упомянутых в них поэтов, я буду считать свою задачу исполненной.

Попробуем представить себе этапы этой работы Цветаевой. Следовать мы будем по тетрадям ее, по мере возникновения в них имен этих поэтов, давая о них справки из тех немногих источников, которыми я располагаю.

Первое упоминание этой работы в тетради Цветаевой – 19 января 1941 года:

«Сейчас – Белорусские евреи – много. Делаю – хорошо, иных – здорово. Песня об Исходе, где в подлиннике дан только материал, абсолютно не обработанный. Хуже – такие стихи:

– «Не нужна ты?» – я думал,

О бессонных ночах на постели, и как печально, как тяжело мне становится

Когда я миг не вижу тебя

Из чего я сделала (невольно):

Ты – не нужна? О что же

Вы делаете с ней,

Которая мне хлеба

И воздуха нужней

Эти поэты – совсем не связывают, ничем не пользуются, ленивые мозги с случайными мыслями» (ЧТ-33, 33)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Дружба народов, 1941, № 8, с. 387.

<sup>3</sup> Здесь и далее так зашифрованы ссылки на черновые тетради переводов Цветаевой – первая цифра означает номер единицы хранения, вторая – номер страницы тетради. Полный архивный шифр цитируемых документов: РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 33, 36, 37, 38.

К сожалению, эти первые переводы, которыми Цветаева безоговорочно довольна, утрачены безвозвратно, ибо тетради с ними пропали.

27 января 1941 года, в конце записи о С. С. Прокофьеве:

«Вот сейчас (белорусские еврей). Два дня билась над (Подстрочник: «А я – полный всех даров – Науками, искусствами, всё же – сентиментально Готов сказать глупость банальную: Такая тоска ноет в сердце От полей только что сжатых!») Только что сжатых полей не влезало в размер. Вертела, перефразировала, иносказывала, ум-за-разум заходила, – важна, здесь, простота возгласа. И когда, наконец, отчаявшись (и замерзши, – около 30-ти гр. И всё выдувает) влезла на кровать под вязаное львиное одеяло – вдруг – сразу – строки

– Какая на сердце пустота  
От сжатого урожая!

И это мне – от Бога – в награду за старание. Удача (сразу, самое приходящее) – дар, а такое (после столько мучений) – награда» (ЧТ-33, 34об.).

Следующая запись – 14 февраля 1941 года.

«Последние переводы: «Дух зла сидит с парнем под деревом» (NB! одно название) – где под деревом лежит «голая красавица и курит легкую папиросу» – да, да – «Летняя песнь», где к строке подстрочника «Мы будем есть зеленый лук» приставлен крестик х: социальный элемент! – чтобы я сделала: только зеленый лук, но я не сделала, п. ч. это – глупость: 1) зеленый лук – радость и радость – всем 2) только зеленый лук и дурак/мертвец не ест 3) этого нет в подстрочнике. Да, да.

А голую красавицу, курящую легкую папиросу, я сделала – даже изящно:

У ног его – нагая	Курильщица нагая
Курильщица лежит	Покоится в траве

– это настоящий Восток, старинный Восток – от редкости слова (курильщица) и функциональности его, спасающий нас от пошлости: курильщица – всегда курит, это ее функция, а та курит – аллегорически, чтобы передать «разложение капиталистического» строя». О, Господи! –

Обрываю. (Жаль.) Надо подмести до Мура.

Свежими вениками хозяйки  
Примутся улицы подметать

(Из того «зеленого лука» – социального)» (ЧТ-33, 37–37об.).

Следующей идет тетрадь, предназначенная только для этой работы, она озаглавлена «Черновая Евреев V (Подарок Мура)». Это советская средняя общая тетрадь, в 48 листов, в розовой бумажной обложке. Мур, вероятно, покупал себе такие для школы. Римская цифра указывает на большие утраты. И, вероятно, это потери не архивные (при его перевозках), а самые простые, житейские – вместе со всем бумажным скарбом, учебниками, школьными тетрадями Мура и т. п. эти тетради были выброшены на Покровском бульваре при очистке комнаты.

Тетрадь начата 20 февраля 1941 года. Первая запись:

«NB! Berezen – березы, Breck (берег), Snopes – снопы, и наверное Kloros клопы... (Пока мною обнаруженные русские слова в новоеврейском языке). Еще: Topoln (тополя)» (ЧТ-36, 3).

Далее следуют шесть страниц переводов, из которых два отмечены красными крестиками, что у Цветаевой означает завершённый вариант. Одно из них, стихотворение «Еще я молод, молод!...», опубликовано без указания имени автора<sup>4</sup>, второе приведу ниже, а вслед за ними идет пространная запись, на которой нужно остановиться, но пока я только скажу, что в ней появляется первое имя – Кнапгейс.

В. Чернин пишет о нем: «Мойше Кнапгейс – был такой поэт, деталей о нем не знаю». По счастью, мы знаем о нем одну деталь, причем важнейшую: он не погиб, а в 1943 году жил в эвакуации в Алма-Ате. Это известно из письма, которое Еврейский антифашистский комитет направил 6 апреля 1943 года секретарю ЦК ВКП(б) А. С. Щербакову с просьбой о срочной материальной помощи еврейским писателям, с приложением списка их с указанием местонахождения каждого<sup>5</sup>. Теперь мы с уверенностью можем установить его авторство двух опубликованных стихотворений (второе – «Песня о собаке и ребенке» – СС-2, 486, работа над которым продолжена сразу вслед за записью) и еще одного стихотворения – по-моему, замечательного в переводе – неопубликованного. Вот оно:

\* \* \*

Ветер снопы дождевые вяжет,  
Вяжет и валит, сердитый жнец!  
Ссорятся, борются по оврагам  
Целые полчища деревьев.

Треплются, мечутся в смертном страхе,  
Как ошалелые тополя.  
Тщетно шатаются, тщетно рвутся –  
Не отпускает корней земля!

Молнии ходят по небосводу,  
Блещут ножевою синевою.  
Кто-то с гиганта сорвал корону –  
Скоро расстанется с головой!

На перекрёстке Христос распятый  
В негодование раскрыл уста.  
Буря ударит – обоих свалит:  
Крест с перекрёстка, Христа – с креста.

Сизые ливни с собачьим воем  
Мчатся в далёкие города.

<sup>4</sup> Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах. Т. 2. Стихотворения и переводы. М.: Эллис Лак, 1994. С. 483–484. Далее ссылки на это издание в тексте: СС-2, № стр.

<sup>5</sup> РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 649. Л. 19–20.

Кто их догонит? Их ветер гонит,  
Как бородатый пастух – стада.

Прыгает скот в ослабевших путах.  
Не понимает он: что стряслось?  
На бугорке, с головой накрывшись,  
Смирно лежат: пастушок и пёс. (ЧТ-36, 5-5об.)

Теперь запись – она находится среди переводов трех стихотворений М. Кнапгейса:

«NB! Я отродясь – как вся наша семья – была избавлена от этих двух <пропуск одного слова>: слава и деньги.

Ибо, для чего я так стараюсь нынче над белорусскими евреями, вчера над польскими, завтра над бессарабскими, ну пусть не евреями, но вообще над слабыми, никакими, несуществующими поэтами – так же как над существующим, над Кнапгейсом – как над Бодлером? Первое: невозможность. Невозможность – иначе. Привычка – всей жизни. Не только моей: отца и матери. В крови. Второе: мое доброе имя. Ведь я же буду – подписывать. Мое доброе имя, то есть: моя добрая слава. – «Как Цветаева могла сделать такую гадость?» Невозможность обмануть – доверие. (Добрая слава, с просто-славой – незнакомая). Слава: чтобы обо мне говорили. Добрая слава: чтобы обо мне не говорили – плохого. Добрая слава: один из видов нашей скромности – и вся наша честность.

Деньги? Да плевать мне на них. Я их чувствую только, когда их – нет. Есть – естественно, ибо есть – естественно (ибо естественно – ьсть<sup>6</sup>). Ведь я могла бы зарабатывать вдвое больше. Ну – и? Ну, вдвое больше бумажек в конверте. Но у меня-то что останется? Если взять эту мою последнюю спокойную (NB! Мур – беспокойная) радость. Ведь нужно быть мертвым, чтобы предпочесть деньги» (ЧТ-36, б).

Читая эту запись, можно представить себе дружный хор профессиональных советов свидетелей такой ее работы. Мне пришлось слышать выступление Е. Б. Пастернака: «Папочка делал сто строк в день, а она – двадцать, и он убеждал ее, что эта работа имеет смысл только если ты делаешь большие объемы, чем обеспечиваешь жизнь». Да, она делала двадцать – максимум, в особо удачные дни, и не могла иначе. И такая запись – самоотчет и самозащита. Hier stehe ich und kann nichts anders.

Далее идут переводы «Песни о собаке и ребенке» Кнапгейса, его же стихотворения под заглавием «Слон ведет ребенка к звездам» и, возможно, тоже его, «Принц с улицы Смочи».

Про следующие три перевода очень неважных стихов скажу позже. А после них последовательно идут три стихотворения, помеченные в тетради именами.

Первый – Б. Шнапер, стихотворение называется «Пробуждение». В. Чернину об этом поэте ничего не известно. Нам удалось узнать тоже немного. В архиве журнала «Интернациональная литература» сохранилась рукопись его стихов – на идише, много, и на ней указан его

<sup>6</sup> Слово написано через букву «ять».

адрес: «Львов, Жулкевская, 67»<sup>7</sup>. Известно также, что в феврале 1941-го он в группе львовских писателей приезжал в Москву для участия в вечере еврейских поэтов западных областей Украины; вероятно, тогда и оставил эту рукопись в редакции. И это все сведения о нем.

Следующее имя в тетради Цветаевой – Инбер.

В. Чернин дает такую справку: «Ш. И. Имбер. Род. 1888 г. в Галиции. Погиб во время Холокоста». В архиве редакции «Интернациональной литературы» есть «Краткие биографии еврейских писателей Польши и Западной Украины», составленные в 1940 году. И его характеристика кажется среди прочих самой неформальной и яркой.

«Самуил Инбер. Поэт и памфлетист. Он был пионером европейских лирических форм в еврейской поэзии Восточной Галиции. Характерно, что, пишучи на еврейском языке, он, по своим воззрениям, должен бы быть противником еврейского и сторонником древне-еврейского. Но Инбер всегда полон противоречий. Его национализм как-то хорошо уживается с прогрессивными взглядами. В своем польском журнале «Око и око» он мужественно и остро выступал как памфлетист против польской реакции»<sup>8</sup>.

Цветаева пишет: «Инбер – Спутник», – и начинает перевод стихотворения «На трудных тропах бытия...». Оно, вместе со вторым стихотворением «Ты говоришь о Данте роке злобном...», опубликовано под именем Герша Вебера (СС-2, 479). Как могла случиться эта подмена?

Если моя догадка верна, произошло вот что: на эти два коротких стихотворения у Цветаевой ушло три страницы черновых вариантов. Закончив их и перевернув страницу, она на чистом листе пишет следующее имя – Hersch Weber, но потом решает сделанные тексты Инбера переписать набело. Так они случайно оказались под другим именем. А стихи Герша Вебера пошли вслед, своим чередом. И они очень отличны по тональности и мирозерцанию от Инбера.

Итак, согласно моей гипотезе, Самуил Инбер в переводе Цветаевой представлен циклом из двух стихотворений под заглавием «Спутник» (1 – На трудных тропах бытия..., 2 – Ты говоришь о Данте роке злобном... – ЧТ-36, 30об.-32).

И тогда следующие три стихотворения, очень молодого само- и мироощущения, по-видимому, принадлежат Гершу Веберу, о котором известно только то, что в феврале 1941-го он приезжал в Москву в группе львовских писателей. Но пора назвать источник этих сведений. Это письмо секретаря Национального бюро Союза писателей П. Г. Скосырева от 20 февраля 1941 года в паспортно-регистрационный отдел Главного управления милиции с просьбой продлить пропуска еврейским писателям Б. М. Шнаперу, Р. В. Корн и Г. Веберу, вызванным из Львова для творческой встречи с московскими еврейскими писателями и участия в вечере еврейских поэтов западных областей Украины. А продлить пропуска он просит до 10 марта потому, что они получили путевки в дом отдыха ВЦСПС<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед.хр. 349.

<sup>8</sup> РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 22.

<sup>9</sup> РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 6. Ед. хр. 593. Л. 30.

Из трех стихотворений Г. Вебера, переведенных Цветаевой, приведу начало второго – оно напоминает молодого Твардовского:

\* \* \*

Меж сутолоки вешней  
Пишу тебе посланье.  
Строчу его неспешно,  
Ложатся рифмы сами.

Несётся этот шорох  
Из юношеских далей,  
Где мы с тобою в спорах,  
Как в зарослях, плутали.

Поэзия над нами  
Сияла небосводом.  
Ты восклицал: «И в яме  
Поэзия – свободна!

Цветёт и плесень – в песне!»  
Так пели мы в то лето,  
Меж тётушкиных сплетен  
И дедовских портретов.

/вар.: Цветёт и плесень – в песне!  
О, юношеский вызов  
Меж тётушкиных кресел  
И призрачных сервизов./

...и т. д.

Затем, до конца тетради, Цветаева работает над переводами трех стихотворений Переца, который к белорусским евреям и их времени никакого отношения не имеет. Ицхок Лейбуш Перец – классик еврейской литературы, он умер в 1915 году. Это был отдельный заказ, к которому был особый повод.

В апреле 1941-го правлением Союза писателей СССР было принято решение о юбилейных торжествах в ознаменование 90-летия Переца, и Фадеев разослал письма в Союзы писателей Украины, Белоруссии и Литвы, в Академии наук Украины и Белоруссии, в Публичную библиотеку и в Гослитиздат. Предполагались переиздания его произведений, издания новых переводов, статьи о его творчестве, литературные вечера, передачи на радио и т. п. Юбилейный вечер должен был состояться 25 мая в Колонном зале Дома союзов.

И вдруг – 4 мая 1941 года – последовала отмена решения. Фадеев вновь по тем же адресам рассылает письма о том, что чествование Переца «откладывается», ссылаясь при этом на Постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР о порядке празднования юбилеев, в котором точно устанавливается, какие именно даты могут служить основанием для юбилея. «Но начатая работа должна быть продолжена», – заключал Фадеев свое письмо<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 6. Ед.хр. 593. Л. 10.

Цветаева получила этот заказ в конце марта и перевела три стихотворения Переца (СС-2, 476-479), первое из которых – «Страж» – под редакционным заглавием «Библейский мотив» было напечатано в № 5 журнала «Знамя».

И в записи об окончании этой тетради 26 марта 1941 года Цветаева подводит итог, выписывая заглавие или первую строчку перевода и отмечая количество строк в каждом (а их счетом 21 стихотворение): «За месяц и 4 дня сделано 529 строк чужих + 40 своих (есть еще, но недописанные) = 570 строк» (ЧТ-36, 47об.). Под «своими» здесь подразумеваются стихи, обращенные к А. Тарковскому.

Вторая сохранившаяся тетрадь с этими переводами надписана на обложке «Белорусские Евреи (II толстая)». Она такая же точно, как предыдущая, – средняя общая тетрадь в 48 листов, в розовой бумажной обложке.

Тетрадь начата 27 марта 1941 года переводами стихотворений Рахили Корн. Похоже, что это была единственная женщина в сборнике, и похоже, что ее всю отдали Цветаевой, ибо количественно ее стихотворений переведено больше, чем кого-либо другого. И известно о ней больше, чем о ком-либо другом. В «Кратких биографиях еврейских писателей Западной Украины и Польши» о ней приведены две характеристики – машинописная и рукописная.

Первая: «Рахел Корн, поэт, новеллист. Род. 1898 г. в селе Подлиски (быв. Зап. Украина), дебютировала в 1918 г., сотрудничала в еврейских журналах. Ее книги: Дорф (поэзия), 1923; Эрд (новеллы), 1934; Ройтер мон (поэзия). В ее творчестве на первом плане отношения между еврейским и украинским крестьянством в панской Польше. Конкретно выступает в ее творчестве социальный конфликт между помещиком и кулаком – с одной стороны, и между сельским бедняком и наемщиком с другой стороны».

Вторая, рукописная, принадлежит явно другому перу: «Рахиль Корн (Перемышль). Пишет прозу и стихи одинаково хорошо. Ее книга новелл “Земля” была хорошо принята критикой. Темы ее – черноземные, деревенские. Она пишет о деревенских бедняках и рабочих. Большая часть ее стихов была посвящена героической борьбе украинской бедноты с бывшим Польским правительством. Она – поэт революционной деревни. Милой неожиданностью являются ее женственные лирические мотивы. Но они не заслоняют ее революционной сущности»<sup>11</sup>.

Именно эта характеристика позволяет отнести к ее произведениям те три стихотворения из предыдущей тетради, разговор о которых я до сей поры отложила. Они идут подряд, первое называется «Staline», второе начинается обращением «Сестра Пассионария!..», а третье «Когда одиннадцатая – о миску – ложка звякнула...». И в списке поправок это последнее отмечено ее именем.

Р. Корн вместе с Г. Вебером и Б. Шнапером упомянута в письме Скосырева и в письме Еврейского антифашистского комитета (как живущая в эвакуации в Фергане). В. Чернин о ней пишет: «Рахель

<sup>11</sup> РГАЛИ. Ф. 1397. Оп. 1. Ед. хр. 22.

Корн род. 1898, жила в Польше, в 1939 г. бежала в СССР, жила в Москве. В 1948 г. выехала в Канаду, умерла в Монреале в 1982 г.»

Кроме упомянутых выше трех, Цветаева в этой тетради перевела еще четыре стихотворения Р. Корн: «Ты» (СС-2, 480—482, без заглавия, текст неполон – у Ц. 72 строки, в книге 68, – и не вполне исправен), «Девочка», «Письмо» и стихотворение, которое в своем итоговом списке Цветаева обозначила как «Резеда» и, переводя которое, не удержалась от нелестной для автора попутной записи.

\* \* \*

«Мои губы цветут твоим именем, как резедою,  
Мои думы над днями твоими шумят голубями,  
И влекутся к тебе через камень житейской ограды  
Руки-лозы мои, изнывая под бременем ягод.

То, что слышишь в ночах, – не ручьи. То ручьится, струится  
Моя кровь молодая к тебе, навсегда-дорогому,  
Может, больше не помнишь, как пахнет цветущее лето?  
Я всё лето несу тебе в тёмно-каштановых косах...

Мои губы цветут твоим именем, как резедою.  
Снится пальцам моим твоё тело. Идет моё сердце,  
Не устанет идти к тебе годы, и годы, и годы,  
Звуком имени милого ночь пополам разрывая

<варианты последней строки>:

Разрываясь – само и другие сердца разрывая  
и призывно сердца разрывая...

Allez! – дальше! (О эти женские, плотские, плоские Jérémiades! Мед – виноград – губы (подразумев.: груди) – всё тяжелое, круглое, сладкое, – о, измененность словаря, словарь голодающего, – уж лучше Виллон с яичницей и будэнами! Нельзя же есть человека, как еду. Сámочные стихи. Вот» (ЧТ-37, 37).

Следующая запись дает целый ряд новых имен и возможность атрибуции далее идущих переводов, ибо указано количество строк их подстрочников.

«NB! Нынче 14-ое апреля, у меня до 25-го, на всё-про-всё – 12 дней. Нужно сделать: Горовиц – 15, 19, 28, 35, Кёнигсберг – 8, Олицкий – 12, Моргентуй (!) – 72, 28. Всего – 217.

Может быть – если повезет – смогу, но тогда уже – ничего другого.

Ну – с Богом!

(Начинаю с Горовица.)» (ЧТ-37, 46).

Четыре новых имени.

Кроме последнего (Моргентуя) все погибли во время Холокоста.

Бер Горовиц. В «Кратких биографиях...» о нем говорится: «Поэт, новеллист. Род. 1895 г. в Майдане (в Украинских Карпатах). У него вышло два поэтических сборника и сборник рассказов. Перевел с польской поэзии еврейские мотивы <?>. В его поэзии воспевается тяготение еврей-

ского трудового человека к земле и его собственная любовь к земле и природе»<sup>12</sup>. По сведениям В. Чернина, он погиб во время Холокоста.

В списке Цветаевой четыре его стихотворения, третье из которых, я думаю, безымянно опубликованный «Плотогон» (СС-2, 484–485), последнее я приведу полностью.

\* \* \*

Мы, бредущие годами,  
Слишком долго мы идём,  
Всё – ночами да ночами...  
Где наш край и где наш дом?

Где же, с лампою, оконце?  
Сада дедова дубы?  
Кровля – красная от солнца,  
С синим дымом из трубы?

Где же, где же наши гнёзда,  
Жёны, варево, друзья?  
Племя, брошенное в воздух...  
Вот те ты и вот те я... (ЧТ-37, 52.)

Следующий – Кенигсберг. В «Кратких биографиях...» о нем сказано: «Давид Кенигсберг, поэт, род. в 1891 г. в Биске (б. Зап. Украина). Дебютировал в 1909 г. Книги: Сонеты, 1911; Лидер, 1913; 100 сонетов, 1920; Киндс Тоити Лидер, 1923. Перевел на еврейский язык «Пана Тадеуша» Мицкевича, Гёте, Гейне, Горация. Сотрудничал в еврейских журналах. Был творцом еврейского сонета. В его поэзии преобладает народный элемент, колорит украинской земли. Его стиль отличается простотой»<sup>13</sup>.

Как видно из этих кратких слов, Д. Кенигсберг много поработал для развития еврейской поэзии, чем и заслужил признание, в том числе и официальное – он был членом правления Львовского отделения Союза писателей<sup>14</sup>.

Согласно сведениям В. Чернина, он погиб во время Холокоста. Цветаева перевела всего одно стихотворение Кенигсберга.

\* \* \*

Не так уже урезан  
Мой пай – под небосводом:  
Предел его лазори –  
Предел моим феодам.

Я подати взымаю  
Цветком, сережкой с ивы...  
А прочие достатки –  
Вам, ищущим наживы... (ЧТ-37, 58-59.)

<sup>12</sup> Там же.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 512. Л. 45.

Одно стихотворение помечено в списке Цветаевой именем Олицкий.

В. Чернин сообщает, что было два брата – Борух и Лейб Олицкие. Второй из них не был поэтом, ибо 24 августа 1944-го в члены Союза писателей был принят еврейский прозаик Лейб Нахманович Олицкий<sup>15</sup>. О первом В. Чернин имеет подробные сведения: «Борух Олицкий, род. 1907, жил в Польше, в 1939 г. бежал в занятый Советами Гродно. Был учителем в советской еврейской школе. Убит немцами в 1942 г.»

Он, кстати, первый из всех, кого мы узнали, может быть формально отнесен к «белорусским евреям» по месту жительства.

\* \* \*

Давно уже слышу впотьмах голоса:  
То счастье с несчастьем меня, молодца,  
Никак не поделят. Всю ночь, дурачье,  
Торгуются, чей я и что во мне – чье.

– Мне – разум! Мне – сердце! Мне – тело! Мне – дух!  
Мне – совесть! Мне – память! Мне – око! Мне – слух!  
Я бедами разум его омрачу!  
Я негами сердце его развращу!

Живьем поделили, меня не спросясь!  
Эх, счастье с несчастьем, смешно мне на вас!  
Я дедом приучен с младенческих дней  
Быть счастья сильней и несчастья сильней! (ЧТ-37, 88.)

И, наконец, мы дошли до последнего поэта из списка Цветаевой, и первого настоящего белорусского еврея, из Полесья, – Моргентуя. В сохранившихся документах встречаются разные написания его фамилии – Моргентой, Моргентуау.

Справка В. Чернина сообщает: «Лейб Моргентуй (1905–1979), родился в Белоруссии. 1941–1945 – Самарканд, с 1947 г. – в Польше. В 1957 г. репатриировался в Израиль».

В альманахе «Дружба народов» № 7 (1941) опубликован отрывок из его поэмы «Полесье» в переводе Б. Лейтина. В рубрике «Коротко об авторах» дана следующая справка: «Моргентуй, Лейб, еврейский поэт (Пинск). Уже первые стихи, напечатанные в журнале, привлекли внимание читателей. В стихах Моргентуя воспето Полесье, его печальная природа и горести народа. Вместе с тем стихотворения Моргентуя полны любовью к родине. Вышла книга стихов его «На Полесской земле». Готовится ее перевод на русский язык»<sup>16</sup>.

Л. Моргентуй входил в составленный Еврейским антифашистским комитетом список эвакуированных писателей, нуждающихся в срочной материальной помощи (именно здесь его фамилия написана Моргентуау). А что касается переезда в Польшу, не совсем понятно, как это оказалось в 1947 году возможно. Дело в том, что 11 августа 1947

<sup>15</sup> РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед.хр. 679. Л. 2.

<sup>16</sup> Дружба народов. 1941, № 7, с. 367.

года он подал заявление в правление Союза писателей, цитирую: «От члена ССП Моргентоя Хонон-Лейб Лейзеровича. – Прошу дать мне творческую командировку в г. Пинск (БССР). Тема моей творческой командировки “Восстановление г. Пинска после войны”. Прошу дать возможность поехать вместе со мной также моей жене, Бромберг Д. И., как моему техническому секретарю»<sup>17</sup>.

Цветаева перевела его крупнейшее стихотворение «Полесье». Перевод прекрасный, но некоторые строфы черновика очень трудно прочесть. И второе – не такое огромное, – но как раз на тему «освободительного похода Красной армии». Его удалось прочесть полностью.

\* \* \*

День – чудесный! День – небесный! День – воистину из сна!  
Среди слякоти – веселье, среди осени – весна!  
Я унылого родного города не узнаю:  
Так и пышет! Таковы же – города во всем краю!

Что в глазах такую радость несказанную зажгло?  
Что из глаз изъяло ужас и разгладило чело?  
И куда пропали за ночь рабский взгляд и рабский вид?  
Почему последний нищий победителем глядит?

Этой вольности просторы – дело чьих могучих рук?  
Кто из каторжной неволи вывел узников и слуг?  
Не Илья на колеснице – этот мощный чародей,  
Не обещанный Мессия и не старый Моисей.

Юноши, орлы степные, к нам примчались на конях,  
В ладно скроенных шинелях, с шлемами на головах.  
Братья с Лены, братья с Дона, братья с Биры и Днепра  
Прискакали к нам под стягом жарче красного костра.

Братья с красною звездою – краше женского лица  
Под водительством седого командира-молодца  
К нам на танках и верхами, через реки и поля,  
Прибыли – как хлеб, родные и простые, как земля.

И с коней своих могучих, с танков: нраву не перечь!  
Нам сказали: вы свободны! Остальная же их речь  
Затерялась в рёве моря: это мы ревели им! –  
Ибо грёза стала явью: сном поистине дневным! (ЧТ-37, 79-81.)

25 апреля 1941 года Цветаева, как и требовалось, по-видимому, сдала эту работу. За месяц весь сборник, вероятно, прошел редактирование и внутреннее рецензирование. 22–23 мая Цветаева в последний раз приложила руку к своим переводам:

«Последние поправки к Белорусским Евреям, которые сдаются завтра и пойдут без всякой корректуры» (ЧТ-38, 22об.), – и далее сле-

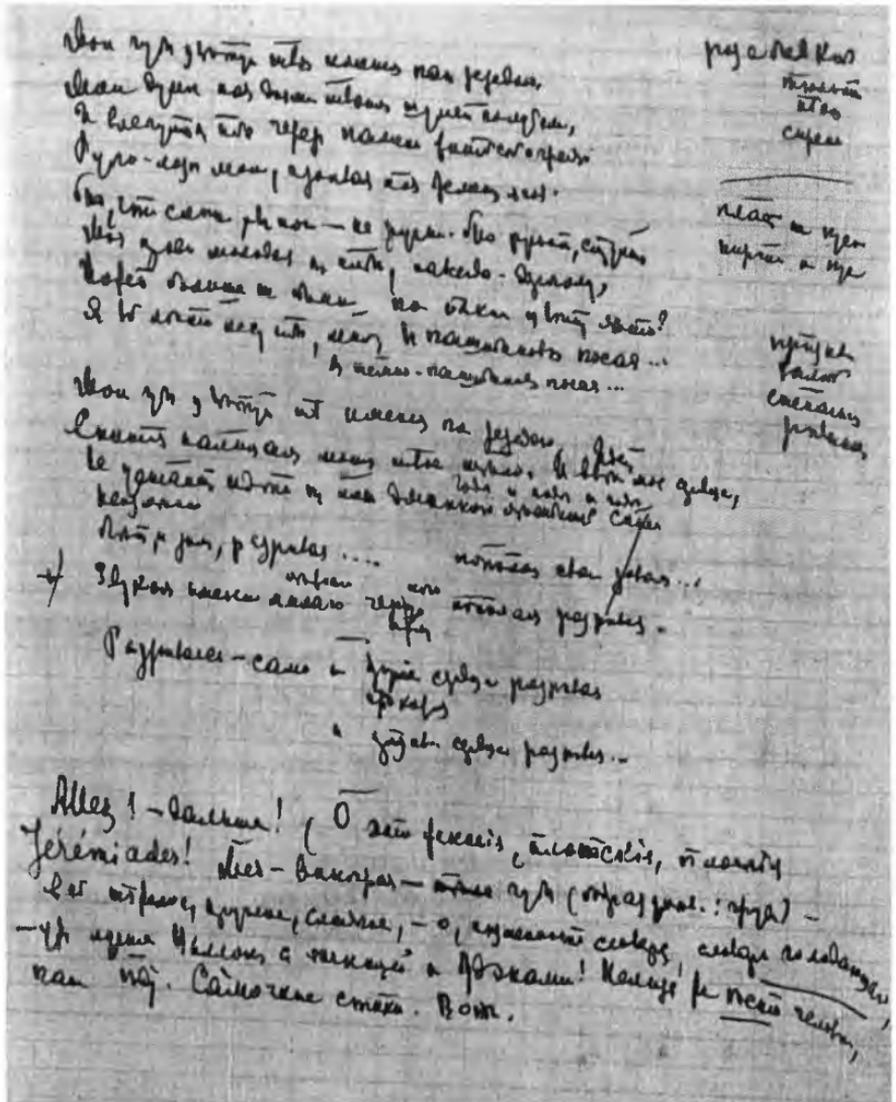
<sup>17</sup> РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 856.

дует список из восьми пунктов, из которого, кстати, и выясняется, что стихотворение «Одиннадцатая ложка...» принадлежит Р. Корн.

Подведем предварительные итоги.

Удалось выяснить имена девяти поэтов, которых в 1941 году перевела М. Цветаева. Удалось достоверно прочитать переводы семи стихотворений. Они, на мой взгляд, свидетельствуют, что хотя это сочинение на чужие темы, как вариации на тему вальса Диабелли, но все-таки это Бетховен!

январь – февраль 2013



*Владимир Фромер*  
**ПЕТЕРБУРГСКИЕ ХРОНИКИ\***

*В Петербурге мы сойдемся снова,  
словно солнце мы похоронили в нём...*

Осип Мандельштам

**ЛЕТО В ПЕТЕРБУРГЕ**

В пять лет я уже умел читать. Об этом позаботилась обожавшая своего единственного внука бабушка. Мне очень нравились бабушкины сказки, и я требовал, чтобы она их рассказывала не только перед сном, но и днем, в самое неудобное для себя время. Вот бабушка и решила, что, приучив меня к чтению, сможет немного отдохнуть от моей тирании.

В десять лет я попал под очарование свободного чтения. Уроки были запущены, в дневнике появились двойки и скорбные записи учителей, недоумевавших, что же произошло с ребенком, еще недавно таким прилежным и дисциплинированным. Я же целиком растворился в мире книг и с восторгом постигал его бесконечную многогранность.

Кончилось тем, что маму вызвала классная руководительница – старая дева, преподававшая украинскую мову и ставившая мне пятерки за то, что я знал наизусть стихи Тараса Шевченко. Вернувшись из школы, мама перестала меня замечать. От нее веяло таким холодом, что я заплакал.

Два дня она со мной не разговаривала, а потом разразилась гроза. Мне вообще было запрещено читать, пока я не выправлю ситуацию в школе. Потрясенный суровостью наказания, я взялся за ум и, хоть и не сразу, но наверстал упущенное.

С годами я несколько раз пытался вернуться к книгам, которые так любил в детстве, но, перечитывая их, ни разу не ощутил прежнего очарования.

Книги не виноваты. Все дело в школьнике, который ими жил. Когда школьник исчез, то остался голый текст, слишком ничтожный, чтобы сохранить хотя бы тень былой прелести. Но к счастью, есть такие книги, значимость которых в человеческой жизни лишь возрастает с годами. Они никогда не меркнут.

Мама преподнесла мне роскошный подарок, когда я перешел в шестой класс. Полное собрание сочинений Пушкина в одном томе. Этот огромный фолиант, который она с трудом донесла до дома, сформировал мой вкус, и вскоре я уже не мог представить без Пушкина своей жизни.

Особенно меня потряс «Медный всадник». Я не только знал его наизусть – я им бредил. Эта поэма – вершина поэтического мастерст-

---

\* Из триптиха «Калейдоскоп памяти». Сокращенный журнальный вариант.

ва, поражающая изумительной гибкостью стиха. Ее трагизм основан на конфликте эпического и лирического сознания. Но подобные тонкости мне стали доступны гораздо позже. Тогда же меня заорожило магическое мерцание текста.

С тех пор и запал мне в сердце прекрасный город на берегах могучей реки, отражающийся в ней всем своим великолепием. И я дал себе слово, что после школы поеду в Северную Пальмиру, чего бы мне это ни стоило.

Что же касается прозы Пушкина, то оценил я ее далеко не сразу. Пушкин, переходя от поэзии к прозе, разительно преобразался. Становился лаконичен, скуп на слова, краток в описаниях, полностью сохраняя при этом всю свою творческую мощь. Его проза суха, как скелет, и все же прекрасна. Но нужна зрелость души, чтобы это понять.

В последние школьные годы я открыл для себя Петербург Достоевского, совсем не похожий на пушкинский, – чрезвычайно сложный в своей уникальности холодный мир, обладающий, однако, даром обжигать душу. Это город, где туманы белым саваном прикрывают скованный гранитом, подспудно шевелящийся хаос.

Каким-то удивительным волшебством слякоть, грязь, влажный туман, желтки фонарей, угрюмые колодцы дворов, морось придают Петербургу Достоевского неотразимо-мрачное очарование.

А вот радостную ликующую природу Достоевский описывать не умел. Когда этого нельзя было избежать, он терял свой дар, писал взхлеб, сбивался на штампы или просто отделялся цитатой: «Ночь лавром и лимоном пахнет».

Гениальность его выявлялась, когда он описывал сумрачный мир дождей и туманов, где редко появляется солнце, а если даже и появляется, то не греет.

Все четыре великих романа Достоевского настояны на сомнениях и невзгодах, темных страстях и отчаянии. В «Преступлении и наказании» воздух настолько плотный, что трудно дышать.

Петербург Пушкина и Петербург Достоевского – это абсолютно разные миры, реально существующие под покровом величественного города, взаимосвязанные, как день и ночь. Я мечтал побывать в обоих.

\* \* \*

После школы я целый год проработал, чтобы скопить необходимую сумму. К тому времени я уже перестал искать в прочитанных книгах зыбкое отражение своей истинной сущности, и они как-то вдруг утратили для меня свою магическую силу.

Именно тогда меня впервые посетила печальная душевная тревога и долго не отпускала. Я уже успел пережить первую юношескую любовь, ту самую, чьи шипы оставляют в душе шрамы на всю жизнь.

Девушка, бывшая моей отрадой, с искренним чувством, которого я прежде не замечал у нее, сказала, что нашла, наконец, свой идеал. Желая меня утешить, добавила, что расстается со мной без горечи и будет хорошо вспоминать о нашей дружбе. Был пасмурный ветреный день. Накрапывал дождик, смывавший мои жалкие слезы...

В Петербург я приехал в конце июня и застал дивную атмосферу белых ночей с их хрустальной прозрачностью и сказочным мерцанием.

Обычно, когда мечты сбываются, люди испытывают нечто похожее на легкое разочарование. Со мной не произошло ничего подобного, ибо именно таким я и видел в воображении этот город.

Отчим дал мне адрес Анжелики, вдовы руководителя польской секции Коминтерна, расстрелянного в 1937 году. Он познакомился с ней в Казахстане, где она отбывала ссылку. После XX съезда муж Анжелики был реабилитирован, а ей назначили небольшую пенсию и разрешили вернуться в Ленинград.

Ее двухкомнатная квартира находилась на последнем этаже четырехэтажного кирпичного дома. Из окна комнаты, где я прожил десять дней, видна была крыша какого-то деревянного строения, окруженного высокими брандмауэрами и молодцевато выстроившимися в ряд бесконечными дымовыми трубами.

Во дворе был садик с клумбой, где ютились чахлые цветы и высокие деревья, крашенные блеклой листвой. Кирпичная кладка голых неоштукатуренных стен таких домов, составлявших целые кварталы, образовывала узоры, таившие в себе прелесть петербургской старины.

Анжелика оказалась грузной пожилой дамой с больными, отмороженными в ссылке ногами. У нее были седые аккуратно зачесанные назад волосы, выцветшие серые глаза и голос с какой-то странной хрипотцой, по-видимому, из-за чрезмерного курения.

При первой встрече, бесцеремонно меня осмотрев, она сказала:

– Ты похож на кацапа, а не на еврея. Твой отчим написал мне, что ты много читаешь. Надеюсь, ты перестанешь тратить время на подобную чепуху. Парень в твоём возрасте должен найти более подходящее для себя занятие.

Я со спокойной совестью пообещал ей это.

О себе Анжелика рассказывала скупно. Но все же я узнал, что она родилась и выросла в аристократической польской семье. Родители ее обожали, баловали и вообще были без ума от прелестного ребенка. В шесть лет она пела, танцевала и музицировала. Став подростком, увлеклась математикой и живописью. Писала рассказы, заслужившие похвалу самого Генрика Сенкевича.

Со временем выяснилось, что это красивое нежное создание обладает мужским складом ума и склонностью к авантюрам. Что на самом деле Анжелика – это упрямая, безразличная к условностям и приличиям своевольная женщина. Из тех, которые никогда не станут ангелами, даже если их поселить в раю.

Ее ждало блестящее будущее на любом поприще, но она увлеклась политикой и, разбив сердца своих родителей, вышла замуж за польского революционера, к тому же – еврея.

Ну а потом большевистская Россия, гражданская война, дружба с «Валькирией революции» Ларисой Рейснер, водоворот партийных страстей, большой террор, расстрел мужа – близкого друга Бухарина, ссылка, реабилитация. И вот теперь – одинокая старость и ожидание неотвратимого конца у разбитого корыта.

Но эта женщина никогда не унывала.

– Только старые люди знают, как нужно жить, но они уже не могут воспользоваться этим знанием, – сказала она мне как-то за утренним чаепитием.

– Ну и как же нужно жить? – тут же спросил я.

– А нужно каждую секунду ощущать себя счастливым от одного только своего присутствия на вечном празднике жизни, оттого, что тебе дано счастье видеть этот свет, эти краски, вдыхать этот благословенный воздух – ничего больше не надо. Это и есть счастье. Жизнь сама по себе бесценна. Но ты еще этого не можешь понять. Ты ведь еще мальчик.

Анжелика избегала говорить со мной о политике, но своей ненависти к Сталину не скрывала. Это была ненависть в дистиллированном, ничем не замутненном виде:

– Изверг. Он задушил социалистическую революцию, уничтожил ленинскую партию и создал рабовладельческое государство.

Помню, как я был потрясен этими словами, да она и сама испугалась, хоть и понимала, конечно, что я не пойду доносить. Сталин – уж ладно. После XX съезда его только ленивый не ругал. Но рабовладельческое государство... Мне это казалось перебором. Что я тогда понимал, в свои неполные девятнадцать лет?..

– Но ведь Советский Союз под его руководством выиграл такую войну, – искал я какие-то аргументы, чтобы противостоять ее нигилизму, казавшемуся мне невыносимым.

– Русские выиграли войну, – грустно улыбнулась она, – потому что боялись Сталина больше, чем Гитлера.

Россию она не любила, что, по-видимому, было связано с ее шляхетским воспитанием. «Это страна, – говорила она, презрительно кривя рот, – где всего навалом. Масса необработанной земли, недра ломятся от полезных ископаемых – полно газа, нефти, алмазов, древесины, золота. Но количество здесь почему-то никогда не переходит в качество. Страна – самая богатая на свете, а народ ее – самый бедный. Кстати, обрати внимание, что название каждой национальности – это существительное: немец, француз, англичанин, китаец. А вот русский – прилагательное, указывающее на отсутствие самостоятельности, на вторичность».

Она помолчала и добавила: «Дело в том, что эта страна намертво срослась со злом, и боюсь, что уже ничего нельзя сделать».

Я спросил:

– Если вы так относитесь к этой стране, то почему бы вам не вернуться в Польшу?

Она ответила туманно:

– Потому что нельзя дважды войти в одну и ту же реку.

Эрудиция ее была бесподобной. Анжелика свободно владела пятью языками и чувствовала себя в соборе европейской культуры как дома. От нее я впервые узнал о существовании Джойса, Пруста, Кафки. А вот русскую литературу она не любила, делая исключения лишь для Пушкина и Тютчева.

– Пушкин, – разъяснила она, – гармоничен. Он интуитивно различал, где добро, где зло. Достоевский же потратил всю жизнь, чтобы в

этом разобраться, да так и не смог. Ну а Тютчев – это сплав красоты и мудрости.

Достоевского она терпеть не могла за патологию. К тому же он был, по ее мнению, плохим стилистом. *И лучшего вина в ночном сосуде не станут пить порядочные люди* – процитировала она Сашу Черного. Кстати, о существовании этого поэта я впервые узнал тоже от нее.

– Анжелика, – спросил я, – а кого вы ставите выше: Мицкевича или Пушкина?

– Глупый вопрос, Володя, – ответила она спокойно. – Конечно же Мицкевича.

А однажды она сказала: «Россия – это женщина, которую все насильовали. Единственной опорой и защитницей могла стать Польша. Но она была слаба и высокомерна».

Прошли годы. Судьба моя сложилась так, что я несколько лет провел в Польше. Учился в Варшавском университете и открыл для себя богатейший мир польской культуры. Прочитал в подлиннике великих польских поэтов, о которых мне рассказывала Анжелика.

Что же касается Пушкина и Мицкевича, то она была и права, и неправа.

Я полагаю, что Мицкевич более значительный поэт, чем Пушкин. Зато Пушкин больше поэт, чем Мицкевич. У Мицкевича рассудок доминирует над чувством, а у Пушкина – наоборот. Под прессом рассудка слова становятся тугими, возникает сопротивление материала. Чувство же с легкостью делает слова податливыми, придает им любые формы. Поэтому в поэзии Пушкина слышны райские звуки, которых нет у Мицкевича.

\* \* \*

Я долго чувствовал себя свободно только в обществе некрасивых женщин. Красавицы почему-то вызывали у меня странное беспокойство с примесью легкой печали. Меня смущало, например, то, что красивая женщина все может себе позволить. Ей все сойдет с рук. Я еще не знал тогда, что не каждая красивая женщина – Прекрасная Дама. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что красота – это прежде всего гармония, а Прекрасная Дама не та женщина, у которой красивые ноги, руки или волосы, а та, у которой весь облик прекрасен.

Она инстинктивно чувствует красоту мироздания, и ее ощущение радости жизни передается всем, кто ее окружает. Она умеет с очаровательной непринужденностью показать каждому человеку, что он ей интересен, и поэтому вызывает живой отклик у всех, с кем общается.

У такой женщины обаяние и грация слиты воедино. Обаяние – непринужденность чувств. Грация – непринужденность движений.

Такую женщину не в состоянии запачкать вся скверна мира.

Кто-то, кажется, Бодлер, сказал: «Могу себе представить Беатриче и бордель, Беатриче после борделя, бордель после Беатриче, но не Беатриче в борделе».

Интуиция такой женщины намного точнее, чем мужская уверенность. Именно поэтому рядом с великим мужчиной часто оказывает-

ся великая женщина. Тот, кто встретит такую женщину хоть раз в жизни, никогда этого не забудет.

Именно это и случилось со мной в то незабвенное петербургское лето.

Ее звали Рита. Тогда я еще не знал о существовании великого романа Булгакова, но то, что передо мной королева, – понял мгновенно. Она жила в одном доме с Анжеликой, но этажом ниже, в двухкомнатной квартире, что по тем временам считалось почти роскошью. Ей было двадцать три года, но она уже успела окончить герценовский институт и преподавала российскую словесность в одной из питерских школ. Анжелика в ней души не чаяла.

Прошло столько лет, а я все еще помню тонкие черты матового лица, точеную фигуру, каштановые волосы, заплетенные в тугую косу, огромные синие глаза и, конечно же, поступь – легкую, стремительную.

Невозможно передать всю прелесть ее облика. Он, как поверхность пруда, менялся в зависимости от освещения. Утром, в солнечном блеске, ее глаза казались бездонно-синими. Вечером, при электрическом свете, они превращались в одни сплошные темные зрачки, в глубине которых то вспыхивали, то гасли золотистые искорки.

Рита была старше меня на пять лет – такая разница в возрасте с годами стирается, но тогда я был провинциальным мальчиком, наивным и нуждавшимся в опеке. Разговаривала она со мной дружелюбно-сочувственным, чуть насмешливым тоном.

О себе почти не рассказывала. Но я все же узнал, что мать Риты – актриса провинциального театра, от которой она унаследовала свою красоту, – умерла при ее рождении. Ее, как и меня, воспитала бабушка. Отец Риты, окончивший в свое время ИФЛИ, жил в Петрозаводске, где много лет читал лекции по зарубежной литературе в местном университете. Он был известным библиофилом, обладателем уникальной библиотеки. Рита ею пользовалась с детства, что во многом объясняет эрудицию этой зоркой умницы. Воспитанием дочери отец не занимался. Он, живший в мире книг, был абсолютно не приспособлен к реальной жизни, которая его просто не интересовала.

– У него в жилах вода, а не кровь, – неохотно сказала Рита в ответ на мои расспросы. – Думаю, что мама умерла не столько от родов, сколько от его душевной скудости. Когда я покинула дом, отец сразу же забыл обо мне, словно у него никогда и не было дочери.

Я забыл упомянуть о немаловажном факте. Рита была замужем.

Прошло много лет. Давно уже нет на свете никого из героев этой истории, а я, в те редкие минуты, когда прошлое ненадолго обретает вдруг власть над душой, вновь испытываю нечто похожее на зависть и раздражение, вспоминая этого человека.

Его звали Сеня. Он был инженером судостроительного завода и принадлежал к той породе людей, которые все знают, всем довольны и никогда ни в чем не сомневаются. Читал он только техническую литературу. Убедить его в чем-то было трудно, ибо доводы, которые ему не нравились, он отметал с ходу. Впрочем, общался я с этим баловнем судьбы недолго, ибо его послали куда-то в командировку.

– Как ты могла выйти за него замуж? – спросил я Риту.

– Сама не знаю, – засмеялась она. – Однажды, когда я шла из магазина домой, за мной увязался какой-то тип. Он сопровождал меня до самого подъезда. На следующий день, направляясь к подруге, я вновь его заметила. Я свернула за угол и остановилась. Когда он почти налетел на меня, спросила: «Что вам от меня нужно?» Он ответил сразу, словно ждал этого вопроса: «Чтобы вы вышли за меня замуж». Через месяц мы поженились. – Рита помолчала и добавила: – Знаешь, он лучше, чем кажется. И вообще женщины редко выходят замуж по любви, но им часто удается полюбить того, за кого они вышли замуж.

Впрочем, я, наверно, несправедлив к Ритиному избраннику.

Сеня был добродушен, обходителен, умел ладить с людьми. У него всюду были связи, и он с легкостью добывал всякие дефицитные товары. К тому же он был профессиональным автомехаником. За гроши приобрел разбитый в аварии «Москвич» и восстановил его своими руками.

Свою жену Сеня боготворил, и Рита ценила его собачью преданность. Но не думаю, что ей удалось его полюбить. *В одну телегу впрячь не можно...* Рано или поздно это приводит к трагедии.

В течение восьми дней мы с Ритой встречались ежедневно, разговаривали, бродили по городу. Она щедро дарила мне пушкинский Петербург. Петербург Достоевского она не любила, как, впрочем, и самого Достоевского.

Находиться рядом с красивой женщиной опасно. Может проскочить искра. Не любовь, конечно, но ожог. Противоположность полов вызывает магнитные силы любовного притяжения. Это и есть двигатель жизни.

Но мои отношения с Ритой были свободны от душевных страстей. Она относилась ко мне как старшая сестра, а я и помыслить не смел о чем-то дурном в ее обществе.

Белые ночи уже закончились. По вечерам небо было удивительно густого золотисто-фиолетового цвета.

Мы шли вдоль Мойки, у красноватой линии набережных камней, увенчанных железным решетчатым кружевом. Рита показала мне Зимнюю канавку, над которой, по ее словам, все еще витает тень утопившейся здесь Лизы.

– А вот и Мойка 12, – сказала она. – В этом доме умер Пушкин.

Мы остановились у продолговатого трехэтажного здания с высокими окнами. Его громоздкий выступ почти зависал над спокойной водой. Сквозь расщелины неровных плит узкого тротуара упрямо тянулись вверх тонкие стебли травы.

– После смерти Пушкина его квартира долго сдавалась внаем. Неоднократно перестраивалась. От пушкинской обстановки почти ничего не осталось, – рассказывала Рита. – А в конце минувшего века в апартаментах поэта разместилось Охранное отделение. Пушкинский кабинет заняли жандармы. Там, где умер Пушкин, мучили и пытали людей. Теперь в этом доме пушкинский музей, но я так и не решилась в него пойти.

– Почему?

– Боюсь пошлости. Мне говорили, что в квартире Пушкина вывешены портреты его злейших врагов – Бенкендорфа и этого гнусного старикашки Геккерена.

Я засмеялся.

– Это не смешно, – сказала Рита.

\* \* \*

За десять дней своего пребывания в Ленинграде я узнал о «лучезарной» советской жизни больше, чем за все предыдущие свои девятнадцать лет. Узнал, например, что такое советский массовый профессионализм. Почти каждый советский человек, чтобы организовать свой быт, вынужден заниматься самолечением, самовоспитанием, самообразованием. Он знает, как лечить людей и зверей, как воспитывать детей. Он знает множество самых разных вещей, о которых понятия не имеют люди на Западе, – это помогает ему выжить, но его профессиональный уровень крайне низок.

Меня удивило, что товары в ленинградских магазинах столь же низкого качества, как и в Черновцах. Исключение составили, пожалуй, папиросы «Беломор», которые я начал курить еще в школе. Здесь они оказались гораздо «вкуснее».

Потом я узнал, что, лучший в Союзе «Беломор» производится ленинградской табачной фабрикой имени Урицкого. А я у себя в Черновцах курил папиросы киевского производства.

Однажды, когда мы с Ритой гуляли по Невскому, она остановилась у дома номер 12 и сказала:

– Здесь наш дом моделей.

– Вот это да, – восхитился я, – как в Париже.

– Представь себе, не хуже, – улыбнулась Рита. – Художники, которые здесь работают, великолепные профессионалы. Я ведь с некоторыми из них знакома и знаю, что говорю.

– Но почему же тогда в здешних магазинах продают одежду столь низкого качества? Это ведь не секрет. Все это знают.

– Потому, дурачок, что у нас всегда так. Работу талантливых людей портят перестраховщики и бездари. Уже готовые модели одежды проходят фильтрацию всяких там комиссий да советов. Все красивое и изящное яростно вымарывается. И когда эти модели попадают в производство, в них уже нет ничего ни модного, ни красивого.

– И это все?

– Нет, не все. Потом оказывается, что нет подходящих ниток или пуговиц или что ткань плохую завезли.

– И что в результате всего этого получается, то люди и носят?

– А что им делать?

– Но я ведь вижу, что ты, например, всегда хорошо одета. Свои вещи разве ты не в магазинах покупаешь?

– Да ты что, – засмеялась Рита. – Найти что-то приличное в магазине невозможно. Легче помереть. Все, что ты видишь на мне, я сшила сама. И все женщины, которые хотят выглядеть по-человечески, так делают.

– Все шьют?

– Не все, но многие. Некоторые достают дефицит. А которые побогаче, те покупают у фарцы.

Когда мы проходили мимо киоска, где продавались пончики с повидлом, я предложил:

– Возьмем по одному?

– Да ты что, – ужаснулась Рита. – Это же не пирожки, а сплошной сюрприз. Никогда не угадаешь, с какой стороны повидло вылезет.

Я еще был в России, когда «эпоха зрелищ кончилась» и начался долгий период противостояния власти и интеллигенции. Советские люди во время веселого правления «царя Никиты» успели заразиться вирусом индивидуализма, и жизнь общества стала проходить параллельно жизни государства. Пока одни занимались диссидентством, другие устанавливали моду, которая не имела ничего общего с продукцией советских фабрик. Стремление хорошо одеваться и красиво выглядеть стало массовым – во всяком случае, у женщин, и власти ничего не могли с этим поделать. А когда тоталитарная власть хоть в чем-то бессильна, это означает, что конец ее уже не за горами.

\* \* \*

Каждый день, ровно в 12 часов пополудни, раздавался выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

– Это для того, чтобы напомнить людям, в каком прекрасном городе они живут, – пояснила Рита.

В Летнем саду мы побродили по еще влажным после легкого дождя аллеям, вышли на Лебяжью канавку и долго смотрели на маячивший впереди силуэт Михайловского замка.

– «Как звери, вторглись янычары...», – процитировал я.

Рита повела плечом и сказала:

– Павел вовсе не был злодеем. Этого несчастного человека оболгали его убийцы. Для Пушкина же в пору его бурной юности каждый венценосец был тираном.

После знакомства с Ритой я стал феминистом на всю оставшуюся жизнь, хоть со временем и понял, что мужчина только пластилин в нежных руках женщины. Мужчина строит домашний очаг, а женщина его оберегает и придает ему уют и тепло. Она определяет правила семейной жизни, и будущее семьи в ее руках. Мужчина склонен к авантюрам, а женщина к организации. К тому же женщина поддается бурным страстям меньше, чем мужчина. Для нее чувство важнее чувственности. Я, например, никогда не встречал женщины, которая сходила бы с ума оттого, что у мужчины красивые глаза.

По мнению Риты, мир был бы гораздо счастливее, если бы им управляли женщины.

– Ленин был прав, утверждая, что каждая кухарка может руководить государством. Потому что великий правитель обязательно должен быть великим человеком, а великой правительницей может стать обыкновенная женщина.

– Например?

– Да почти все российские царицы, – улыбнулась Рита. – В особенности Екатерина Вторая.

Мы как раз стояли на площади Островского у величественного памятника этой венценосной даме. Бронзовая Екатерина держит в руках скипетр и лавровый венок. У ног государыни возлежит корона Российской империи, а вокруг пьедестала расположены девять фигур выдающихся деятелей екатерининской эпохи.

– Вот фельдмаршал Румянцев-Задунайский. А это светлейший князь Григорий Потемкин. Рядом с ним полководец Суворов, – просвещала меня Рита.

Вдруг она засмеялась и, покраснев, сказала:

– Может, не стоит об этом говорить, но ты ведь уже большой мальчик...

– Я не мальчик.

– Ну, тогда ладно. Посмотри внимательно на бронзовые фигуры екатерининских фаворитов. Ты ничего странного не видишь?

– Да нет. Вроде все нормально.

– А ведь говорят, что они жестами показывают размеры своих мужских достоинств.

– Кто говорит? – изумился я.

– Острословы всякие. Обрати внимание, что один только Державин беспомощно разводит руками. А над ними возвышается русская Мессалина с лукавой улыбкой и скипетром-эталонном в державных руках. На самом же деле из всех изображенных здесь лиц фаворитом Екатерины был один только Потемкин.

Я вспомнил Ключевского, которого прочел не так давно, и сказал:

– Но ведь у нее действительно было великое множество любовников.

– Ну и что? – удивилась Рита. – Забавы амурные не мешали этой коронованной особе поддерживать порядок в империи. Ведь ни одна хорошая хозяйка не допустит хаоса в своем доме. А она была и по характеру, и по складу своей немецкой души домохозяйкой.

– Ты хочешь сказать, что амурные дела Екатерины не влияли на подбор ее министров?

– Ну да. Был такой поэт Алексей Апухтин. В его стихотворении Екатерина говорит: *«Когда Тавриды князь, наскучив пылом страсти, / Надменно отошел от сердца моего, – / Не пошатнула я его могучей власти, / И Русь по-прежнему цвела у ног его»*. Екатерина была замечательной государыней потому, что умела отделять государственные дела от дел сердечных.

– Римский император Гелиогабал раздавал государственные должности в соответствии с размерами половых членов своих придворных, – шегольнул я осведомленностью, почерпнутой из старой книги.

– Да? – удивилась Рита. – Я этого не знала.

Рита рассказала, что в начале тридцатых годов ленинградские партийные органы хотели демонтировать памятник Екатерине как «старорежимный». На освободившийся пьедестал они намеревались водрузить монумент Ленина, а статуи деятелей екатерининской эпохи заменить фигурами членов «мудрого ленинского политбюро».

Сталин этого не позволил, ибо для «мудрецов» из политбюро им была уготована совсем иная участь.

И все-таки ни одна из российских цариц не может считаться Прекрасной Дамой. Все они были обыкновенными женщинами, практичными и здравомыслящими.

Не были Прекрасными Дами и Софья Андреевна с Анной Григорьевной, но с них начинаются знаменитые писательские жены, которые правят рукописи, переписывают черновики, бегают по издательствам, подписывают договора и титаническими усилиями создают своим великим мужьям домашний уют.

А вот Наталья Николаевна была Прекрасной Дамой, и разве можно представить ее переписывающей рукописи Пушкина? Да Пушкин и не ждал этого от своей Мадонны.

Есть женщины, которые вечно томятся какой-то смутной жадной идеальной любви и поэтому никого не любят. Они лишь позволяют себя любить. Таких женщин лучше не встречать. А встретив, лучше с ними не расставаться.

\* \* \*

Однажды, когда мы с Ритой гуляли в районе Сенной площади, она остановилась у старого облезлого дома и сказала:

– В этом здании, на первом этаже, когда-то был трактир, в который частенько хаживал Александр Блок. Я иногда представляю себе, как он входит сюда небрежной походкой, вижу его спокойное отрешенное лицо. Он надолго устраивается возле трактирной стойки, медленно пьет вино и швыряет цыганам рубли, чтобы их скрипки пели не умолкая. Потом, прихватив какую-то «девочку», выходит в дождливую ночь и растворяется в темноте.

Рита обожала Блока и переживала оттого, что его стихи не входили в школьную программу. Она должна была рассказывать своим ученикам не о своем любимом поэте, а о Маяковском, которого терпеть не могла.

Я тогда Блока не любил. Да и потом мне нравились лишь отдельные его стихи. Те, в которых печаль и отчаяние слиты воедино. В целом же стихи Блока мне казались слишком вычурными и женственными.

Рита, однако, считала, что поэзия должна быть по-женски утонченной, потому что муза – женщина.

Она ревновала Блока к его жене Любови Менделеевой.

– Ну, какая из нее Прекрасная Дама? – говорила Рита. – Круглое скуластое лицо, ленивые сонные глаза, полноватые ноги, низко посаженный зад. Ты не думай, я не злословлю. Андрей Белый так ее описал в своих мемуарах.

– Да ладно тебе, – остужал я ее пыл, – Любовь Дмитриевна была дочерью гениального ученого, женой и музой одного из замечательных русских поэтов. Единственной подлинной любовью другого. И Блок, и Белый, что бы он там ни писал, любили ее всю свою жизнь. Разве такое можно назвать случайностью?

– Ну, наверно, ты прав, – неохотно признала Рита.

Я уже тогда понимал, что бесконечная многогранность жизни соответствует противоречиям в человеческом характере. Разум был бы человеку в тягость, если бы его привязанность к высокому не уравновешивалась стремлением к низменному.

\* \* \*

В мой последний вечер в Ленинграде Анжелика и Рита устроили мне отвальную. Мы сидели у Анжелики на кухне и пили вино с привкусом грусти.

Летний дождь тихо шелестел за раскрытым окном, наполняя комнаты запахом влажной земли.

Анжелика сидела в своем любимом кресле, похожая на Будду царственным величием. Рита, ладная, покрытая легким загаром, была как-то по-домашнему мила.

Обе женщины старались развеять мою печаль, вызванную предстоящим отъездом.

– Почему бы тебе не поступить в наш университет? – спросила Рита.

– Да, действительно, Володя, – поддержала идею Анжелика. – Ты ведь мальчик способный. У тебя получится.

– Посмотрим, – уклончиво сказал я, уже решив в глубине души, что так и сделаю. Я ведь не знал тогда, что мне уготована иная судьба.

Потребовалось немало времени, прежде чем я понял, что жизнь – это то, что с нами происходит, пока мы строим воздушные замки...

– Вчера слушала литературную программу Би-Би-Си, – рассказала Рита. – Сначала ведущий прочел отрывки из статьи какого-то Абрама Терца. Потом комментатор разъяснил, что большевики для того и придумали социалистический реализм, чтобы никто не мог реалистически описать социализм. Ну а после всего этого вдруг прозвучали стихи Ходасевича на смерть какого-то кота. Я изо всех сил пыталась удержать их в памяти, но запомнить смогла лишь вторую строфу. Слышимость была ужасной из-за глушилок.

И Рита прочла взволнованным голосом:

*О, хороши сады за огненной рекой,  
Где черни подлой нет, где в благодатной лени  
Вкушают вечности заслуженный покой  
Поэтов и зверей возлюбленные тени.*

У меня перехватило дыхание от несомненного совершенства этих стихов. Я ведь даже имени Ходасевича никогда прежде не слышал...

Когда Рита закончила читать свои любимые «Под насыпью, во рву некошеном...», я спросил:

– А отчего умер Блок? Ведь ему было всего сорок лет и кроме неврастении он никогда ничем серьезным не болел.

– Умер оттого, что ему нечем стало дышать. Он сам сказал об этом на пушкинском вечере незадолго до смерти, – ответила Рита.

– Друзья мои, – сказала Анжелика, я ведь была на том вечере.

– Ты никогда об этом не рассказывала, – удивилась Рита.

– Сейчас расскажу.

– Я с Блоком не была лично знакома, хотя несколько раз ходила на его выступления, – начала свой рассказ Анжелика. – Его немного знал мой муж, познакомившийся с ним на каком-то заседании у Луначарского. С ним Станислав (так звали моего мужа) поддерживал хорошие отношения. Луначарский и дал ему два билета на вечер, посвященный памяти Пушкина. Сам Станислав пойти не смог, и я пошла одна. Был февраль 1921 года. Стужа стояла лютая. Дома не отапливались. На сцене у выступающих шел пар изо рта. Увидев Блока, я чуть не вскрикнула. Узнать его было невозможно. Волосы стали пепельно-серыми. Черты лица заострились. Это было уже не лицо даже, а маска смерти. Поэт с трудом поднялся на сцену – у него уже отнимались ноги. Прочитав строки Пушкина «На свете счастья нет, / Но есть покой и воля...», он повернулся к сидевшему в зале какому-то человеку во френче и мрачно добавил: «Покой и волю тоже отнимают». Через полгода он умер. А на твой вопрос можно ответить просто: Блока убили ужасы воспетой им революции.

На следующий день я уехал из Петербурга. На вокзал меня никто не провожал – я не люблю прощаний.

## ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ, ИЛИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

За все время моей долгой жизни в Израиле, полной печальных заблуждений и непоправимых ошибок, ничто не могло отучить меня от досадной привычки оглядываться назад и помнить то, о чем следовало бы забыть. Моя память зачем-то волочила за собой груз ненужных воспоминаний, каких-то смутных образов и печальных призраков. С годами стали тускнеть и почти стерлись облики двух прекрасных дам, с которыми я когда-то подружился в Петербурге. В этом городе в невообразимо далеком году Анжелика – польская аристократка, в молодости пламенная революционерка, а на склоне жизни просто усталая мудрая женщина – сказала как-то, что больше всего на свете ей ненавистно предавшее ее тело. Видя мое изумление, пояснила:

– Трагедия женщины не в том, что стареет тело, а в том, что не стареет душа. Хитроумное лицемерие жизни обязывает женщину делать вид, что ее сердце постарело не меньше, чем ее внешность. Старое тело ни единым движением не выдает затаившегося в нем юного сердца. А оно спит под грубым покровом, как тетерев под снегом, и тщетно ждет весны, которая никогда не наступит.

Я со свойственным молодости апломбом стал говорить о том, что каждый возраст имеет свои преимущества.

– Неправда! – гневно возразила Анжелика. – В старости нет ничего хорошего. Те, кто утверждают обратное, лгуны и лицемеры.

Сегодня, оглядываясь на вереницу прожитых лет, я думаю, что Анжелика была права. Но то, что она говорила о женщинах, в полной мере относится и к мужчинам.

Неверная память сохранила ее блестящий афоризм: «Здравый смысл приходит к женщине лишь после того, как от нее уходит красота». Со временем я убедился, что так оно и есть.

Много лет я ничего не знал о судьбе Анжелики. Не знал и о том, как сложилась жизнь Риты, моей веселой и насмешливой спутницы в прогулках по Петербургу в одно незабвенное лето.

А время шло, и неожиданно история совершила один из самых крутых своих выражей. В Москве пришел к власти симпатичный, в меру упитанный лысый мужчина средних лет, энергичный и настолько обаятельный, что ему простили даже кайнову печать на лбу и антиалкогольную кампанию.

Для начала он потряс весь мир тем, что говорил без бумажки. Народ, изнуренный семьей десятилетиями идеологической деспотии, ждал перемен, и они не замедлили последовать. Долгожданные свободы посыпались на ликующих граждан, как из рога изобилия. Свобода слова. Свобода печати. Свобода выезда. Свобода предпринимательской деятельности.

Перестройка, одним словом.

И вот как раз в это смутное время у меня появилась возможность поехать в Петербург, причем на целых два года, и я ухватился за нее с радостью, ибо мне уже основательно наскучила жизнь, которую я тогда вел. Назначение в Петербург получила моя жена Марина, возглавившая местное отделение Джойнта, а я и наш восьмилетний сын Рафаэль последовали за ней.

Нам выделили четырехкомнатную квартиру на Московском проспекте, напротив парка Победы, в доме, построенном немецкими военнопленными сразу после войны. О дальнейшем можно сказать словами Радищева: «Я взглянул окрест меня – душа моя страданиями человечества уязвлена стала».

Страданиями. Я был готов ко всему, но не к такому сгущению горя. Разве можно забыть роющих в помойках стариков, зарешеченные витрины магазинов и ларьки, тифозной сыпью усеявшие улицы все еще прекрасного, но в горниле всеобщей беды потускневшего города. И как забудешь сгустившуюся атмосферу жуткого липкого страха, которая повсюду ощущалась почти физически. Страха перед мерзостью настоящего и беспросветностью будущего.

В ларьках торговали спиртом «Рояль», водкой типа «сучок» или «асфальт», импортными продовольственными товарами, срок годности которых давно закончился. Соки, сникерсы, печенье, утратившие свои полезные качества, стали опасными для здоровья. Конфеты сохлись от времени.

Все это фуфло предназначалось для народов третьего мира, которых не жалко, и завозилось в Россию отнюдь не задаром, а в обмен на промышленные богатства страны, грабившиеся без зазрения совести.

Да что там ларьки. Пооткрывались коммерческие магазины, в которых действительно было все, причем лучшего качества. Зашел я в один такой на Невском – и обомлел. Рубашка – 400 долларов. Костюм – 1500. Спрашиваю продавщицу, миловидную девушку:

– Это, наверно, иностранцы покупают?

– Ну что вы, наши, русские, – улыбнулась продавщица.

Ну да, «новые русские», новые хозяева жизни, о которых потом будет придумано столько анекдотов. Это они для себя товаров навезли на украденные деньги: античную мебель, одежду, лекарства, мерседесы. Все хорошее – для себя. А для народа – фуфло.

Один такой нувориш, бывший обкомовский работник, дачу себе в Подмоскowie отгрохал с унитазами из чистого золота. Он утверждал в интервью какому-то «золотому перу» – я сам его читал, – что сделал это для воплощения в жизнь мечты В. И. Ленина.

Удивительно, с каким рвением «золотые перья России» стали вытравливать из народа чувство гордости за свою страну и свою историю, на лету подхватывая объедки, швыряемые новыми хозяевами с пиршественного стола. Шельмовались понятия, еще недавно считавшиеся незыблемыми. Были зарезаны почти все «священные коровы». Уничтожался даже язык, на котором написано столько бессмертных шедевров. Петербург запестрел вывесками с иностранными словами, написанными кириллицей, что выглядело совсем уж дико. Напротив дома, где мы жили, на овощном магазине появилась вдруг надпись: «Гринхаус».

Кому и зачем это понадобилось?

В первое время нашего пребывания в Петербурге я очень плохо спал. Мысли гудели, как полчища мух, и необходимо было их прогнать, чтобы дать отдых голове и сердцу.

\* \* \*

Риту я нашел почти сразу, но увы, в палате для онкологических больных. За полгода до моего приезда у нее обнаружили неоперабельный рак. Процесс развивался стремительно, и, когда мы с ней встретились, уже не было никакой надежды. Жить ей оставалось чуть больше месяца, и я навещал ее каждый день.

Когда я впервые вошел к ней в палату, голова ее покоилась на подушке, глаза были закрыты. Но вот они медленно открылись. Увидев меня, Рита ничуть не удивилась, сразу узнав в немолодом уже человеке того мальчишку, которому щедро дарила Петербург тридцать два года назад.

– Здравствуй, Володя, – сказала она. – Долго же тебя не было.

Мне потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к ее новому облику.

Она все еще была хороша, хотя ее каштановые волосы покрылись изморозью и выцвели под северным небом большие синие глаза, похожие своей прозрачностью венецианское стекло. Похудевшее изнуренное лицо сохранило очарование, очень напоминавшее ее в молодости. И хотя она усохла и стала совсем маленькой, вид у нее не был ни изможденным, ни пугающим.

В тот первый день я провел у ее кровати около шести часов, и мы поговорили обо всем на свете. Вернее, говорил я, а она слушала со слабой улыбкой, время от времени вставляя свои реплики.

Я узнал, что Анжелике в 1964 году разрешили выехать в Польшу по личной просьбе Владислава Гомулки, в молодости дружившего с ее расстрелянным мужем. Ей выделили квартиру в центре Варшавы, где она и прожила до самой смерти. Рита часто ее вспоминала, потому что тех, кто уходят, трудно забыть. Легче забыть тех, кто рядом.

Жизнь самой Риты в целом сложилась удачно. Она не любила Сеню, но привыкла к нему и возле него чувствовала себя защищенной. Иногда между людьми возникает сцепление, избавляющее их от одиночества и по силе чувств почти равное любви. К тому же появилась дочь Лера – «свет в окошке» для обоих. Но Рите всегда смутно хотелось того, чего у нее никогда не было.

Каждое лето, отправляясь на курорт на Рижское взморье, одна, без мужа, она приказывала себе: забудь, что ты мать, жена и учительница. Рита объяснила это так: «Каждой женщине хочется быть верной. Проблема в том, что почти невозможно найти такого мужчину, которому стоило бы хранить верность».

– А мне ты всегда казалась ангелом, – сказал я.

– Нет такого ангела, который не мечтал бы стать падшим хотя бы на минуту, – ответила Рита со слабой улыбкой.

С началом перестройки Сеню как подменили. Его организаторский талант и страстное желание утвердить себя в новом меняющемся мире превратились в силу, сокрушающую любые препятствия.

Как же беззащитно человеческое сердце, на что только не толкает человека страсть – неважно к чему: к власти, к обогащению, к женщине...

Сеня создал несколько коммерческих фирм, работая как одержимый. И настал день, когда он потребовал от Риты развода, потому что решил жениться на своей голенастой секретарше, которая была моложе его на тридцать пять лет. Рита посмотрела в глаза этому ставшему уже чужим человеку и сказала: «Оформляй все быстро. Я подпишу любые бумаги». – «Ты ни в чем не будешь нуждаться», – смущенно пообещал Сеня и действительно перевел на ее счет крупную сумму.

«Для меня настало ужасное время, – вспоминала Рита. – С утра у брошенной какая-то младенческая беззащитность перед явью, страх сжимает горло. На дворе лето озаряет все вокруг червонным золотом – такая редкость в Петербурге, – а в душе все остается убийственно черным. Спасал сон – друг всех одиноких и покинутых, дающий на какое-то время забвение. Пробуждение же приносило отчаяние».

Тогда и вцепился в нее рак – до сих пор непобежденный враг человечества.

Лера, вышедшая замуж за виртуоза джаза, давно уже находилась в Америке, и Рита осталась совсем одна.

А Сеня, закативший свадьбу в одном из престижных ресторанов на Невском, вдруг взял да и «сыграл в ящик». Умер от разрыва сердца. Известно ведь, что пожилые мужики, бросающие своих постаревших подруг ради готовых на все юных аферисток, вступают в круг повышенного риска.

Рита пришла на похороны и перед началом церемонии попросила оставить ее с покойником наедине. Она постояла у гроба минут пять, глядя в лицо мертвецу, попрощалась с ним и ушла.

«Разлюбить кого-то, – сказала Рита, – это значит забыть, как много значил для тебя когда-то этот человек».

Почти до самого конца она много читала. Что еще делать в больнице? Кроме меня, ее навещали друзья, которых она любила. Часто при этой болезни яд, накапливающийся в крови, отравляет мозг, и больного одолевают страхи и ненависть ко всему живому. С Ритой не произошло ничего подобного. Ее здравый и ясный ум и благожелательное отношение к людям сохранились до самого конца.

Иногда я читал ей недавно изданного в России Гайто Газданова – писателя, соперничавшего в эмиграции с самим Набоковым. Его проза ей понравилась. «Он изображает человеческую жизнь в виде развернутой метафоры – как путешествия и остановки, – сказала Рита. – Главное для него – это внутреннее развитие чувств».

О происходящих в стране событиях мы почти не говорили. Только однажды, когда я сказал, что трудно переоценить значение отмены цензуры в России, она сказала с едва заметной усмешкой: «Ты помнишь басню Крылова “Ворона и лисица”? Ее истинный смысл в том, что, лишь потеряв сыр, можно обрести свободу слова. Но разве нужна свобода слова тем, у кого нет сыра?»

А конец неотвратимо приближался. Участились более сильные приступы, столь же невыносимые, как прикосновение к обнаженному зубному нерву. Ей становилось все труднее дышать. Палата была душная, маленькая, с затхлым воздухом. Две старухи, соседки Риты по палате, боялись сквозняка и не позволяли открывать окно. В последние дни она бредила и меня уже не узнавала. Умерла она ночью, когда меня не было рядом с ней.

Лера не успела приехать, и организацию похорон мне пришлось взять на себя. Последние страдания сильно изменили внешность Риты. Она не хотела, чтобы дочь видела ее такой.

Взяв две бутылки столичной, я отправился в морг. В длинном узком подвальном помещении без окон меня встретил высокий костлявый парень с залысинами на лбу и набрякшими мешками под глазами. Я протянул ему пакет. Он мельком глянул на его содержимое:

– Спасибо. Здесь без этого кранты. Приходится все время жрать проклятую, чтобы крыша не поехала.

– Умерла замечательная женщина, – сказал я. – На похороны приезжает из-за бугра ее дочь...

Я протянул ему зеленую купюру. Он кивнул головой, сунул ее в карман грязного халата и произнес:

– Не сумлевайся. Оформим в лучшем виде.

Свое слово он сдержал. Изможденное лицо Риты выглядело на траурной церемонии почти красивым.

После похорон ко мне подошла Лера и, вынув из сумки бронзовый бюст Блока, сказала:

– В последнем письме, которое я получила от мамы, она просила отдать его вам.

Бронзовый Блок уже много лет стоит в Иерусалиме на моем письменном столе.

*Аркадий Красильщиков*  
**ЧИСТОТА ПОМЫСЛОВ**

*Посох мой, моя свобода,  
Сердцевина бытия –  
Скоро ль истиной народа  
Станет истина моя?*

Осип Мандельштам, «Посох», 1914 г.

В этом году ушел Алексей Герман, а следом Герц Франк. Волшебников кино – людей с чистой совестью и великим талантом – осталось совсем немного. Юрий Норштейн, гений мультипликации, – один из них.

Выбранный им вид искусства – занятие дорогостоящее. Приспосабливаться, просить, добывать деньги на свое кино Норштейн никогда не умел. Вот и снял, к великому сожалению, считанное количество картин. Над фильмом «Шинель» начал режиссер работать двенадцать лет назад. Завершит ли его когда-нибудь – Бог ведает. Впрочем, достаточно отснятого материала по повести Гоголя, чтобы убедиться – шедевр, настоящее чудо.

В «простое» осуществил Юрий Норштейн дело замечательное: издал богато иллюстрированный двухтомник о своих работах, о взглядах на искусство и жизнь – исповедь и настоящий учебник мастерства. Мне появление этой книги видится важнейшим событием в культурной жизни не только России, но и мира.

У Шмуэля-Йосефа Агнона в романе «Простая история» читаю: «Гиршл превратился в комок нервов... Какая-то огромная печаль преследовала его, мучила опустошенность. Правда, он уже больше не кричал петухом, не квакал лягушкой и не пел песню о снеге на траве...»

Норштейн, как мне кажется, человек жизнерадостный, но ведь известно: гений и печаль безумия – всегда рядом. В фильмах своих режиссер и «петухом кричал, и лягушкой квакал». Вот и книгу свою замечательную назвал «Снег на траве». Спел, получается, свою песню. Хотя, уверен в этом, роман Агнона не читал.

У режиссера свое, «нормальное» объяснение названия: «Снег на траве – что может быть более противоположное. Но на разводке явлений и их касании, отраженных твоим воображением, бьет разряд. Тебе хочется зарыться сквозь снег в зелень и вдыхать свежесть листвы... и чтобы ледяные капли – тебе за шиворот. Искусство – это мгновенность мирочувствия; в этот момент исчезает материальная последовательность времени, прилежная упорядоченность. Ты словно удаляешь куски времени, соединяя несоединимое».

О снеге на траве в Иерусалиме снял свой последний, трехминутный фильм Герц Франк. Фильм, вдохновленный японской поэзией. Об этом же пишет и Норштейн: «Снег на траве – очень сильный образ. Снег на зеленой траве, который через два часа растает. Исчезнет.

Эта легучесть и есть поэзия. Не изощренная. Простая, самая простая. Которая объемлет все».

И все же с темы безумия начинается Норштейн первый том своей книги: «Есть старый анекдот, который имеет отношение к мультипликации. Пациент психбольницы что-то пишет и пишет, а сосед по палате спрашивает его: “Ты что делаешь?” – “Письмо пишу, не мешай”. – “А кому пишешь?” – “Себе, себе пишу, отстань”. – “А что ты себе пишешь?” – “Не знаю, письмо я еще не получил”. Делать кино – это писать себе письмо, которое ты получишь после титра “Конец фильма”». И тут же: «“День был без числа”. Николай Гоголь. Записки сумасшедшего».

«День без числа» – это когда холодный снег падает на живую зелень травы. Не так ли?

Обычно читаю книги с карандашом, отчеркивая самое интересное, значимое, на мой взгляд. Книга «Снег на траве» носит характер подлинника и так прекрасна, что не решился испачкать текст пометками.

На первой же странице: «Моей Франческе посвящается». Это жене – художнику Франческе Ярбусовой. Норштейном сказано: «Фильм делается братством». Здесь особое, счастливое братство, помноженное на любовь, семью и детей. Благодарностью – жене, операторам, спонсорам, помощникам – пронизана вся книга. Случается это крайне редко в том мире кино, к которому сам принадлежу.

Давно заметил, что честность, эффективность успешного человека в работе напрямую зависят от его общей культуры, от понимания нужд настоящего искусства. Норштейн пишет об этом так: «Государству не до культуры и науки. То, что оно принимает за культуру – гламурняк или ор на площадях, – не дает возможности человеку оказаться наедине со своим жизненным пространством, а только это и есть культура. Без государственной и спонсорской поддержки культура сегодня подохнет, уже подыхает. И тогда для меня загадка: чем страна собирается жить дальше? Человек меряется бесконечностью соединений с пространством жизни. В свою очередь, это пространство возвращает человеку силы и смысл его существования».

Деятельное добро разлито и по тексту, и по иллюстрациям в книге.

Вот он вспоминает – не о себе, о коллегах: «Какая была дивная группа. Они были влюблены друг в друга: Овсей Дриз, Серебряков, Алина Спешнева (его жена и художник) и Володя. И, конечно же, Цифиров и Сапгир – авторы сценария по стихам Дриза. Все они играли в фильм, как дети. Они были пьяны фильмом, они отпивали его по глотку, как вино, передавая чашку друг другу. Дегустаторы кинематографа, единомышленники, единотворцы».

Добрый человек видит в рабочем братстве спасение. Сколько раз убеждался, что в атмосфере склоки, недовольства, злости, вражды – настоящее дело не рождается. Думаю, это относится не только к творческим коллективам, но к народам и государствам.

Добрый человек живет инстинктом доброты, далеким от рассуждений и теорий. Он и в искусстве работает так же. Норштейн пишет: «Чувство и творческое ощущение выше, чем мысль. Мысль способна убить тайну, но не превзойти ее».

«Замысел не равен результату», – замечает Норштейн. Да, замысел всегда шире, безбрежней – результат скромнее. Здесь «закон Вавилонской башни»: за величию замысла – мизерность результата. Но замысел, вопреки всему, результат из небытия все-таки вытаскивает. Все мы строим эту проклятую и великую башню и никак не можем завершить строительство... Как сам Юрий Норштейн с его «Шинелью».

В эпоху массового искусства художнику трудно отстоять независимость. Народ и рынок «требуют песен», причем на один мотив, а творец потому и творец, что поет только со своего голоса: «...прежде всего я делаю фильм для себя, и он нужен мне. И ориентируюсь я, прежде всего, на своё восприятие. И для меня вопрос в искренности замысла, в понимании смысла и нужности искусства».

Здесь неизбежна проблема одиночества в мире, живущем совсем по другим законам: «Какой изнурительный путь должен пройти человек, чтобы понять простые истины: никому не завидовать и связывать счастье не со славой и не с наслаждением властью, а только с собственной душой, ее единостью с миром». Кто из смертных способен «связать счастье» с одиночеством, только великий талант, словно пришелец из мир, где бездушные – норма и все стремятся к славе и власти.

Юрий Борисович мудр и знает, что за спиной любых революций стоит, ухмыляясь, Сатана: «И все наши разговоры о так называемой “свободе” – чепуха все это. О какой свободе идет речь? То, что мы можем выйти на Красную площадь и сказать: “Эй, президент, все-таки ты сукин сын!” Ну и что? Что, от этого нам стало лучше? Вы успокоились? В том-то и ужас нашего века, что нам не может быть предложено ничего позитивного, ведь все позитивное имеет медленное развитие. Очень просто разбить стекло. А сколько времени надо, чтобы сделать стекло и вставить его? Точно так же выполнять условия бытия, которое всегда в себе содержит ограничение, и в котором нет пьянящей вседозволенности свободы».

В иудаизме есть удивительный момент: каждое утро, просыпаясь, ты должен верить, что именно сегодня может прийти Спаситель мира – машиах. Не о природе ли вдохновения эта вера? Еще цитата из Ю. Н.: «Быть может, это самый сильный момент в творчестве, когда тебя начинает вести то, что еще только должен придумать».

Норштейн ищет гармонию между наследием предков и тем миром, в котором он родился. Уйти от себя художник не в силах. Он ясно понимает это и в книге неоднократно вспоминает о своем еврействе, но он ищет мир между религиями и народами, говорит на «эсперанто искусства», как делал это Марк Шагал, расписывая костелы и синагоги.

Иной раз мне казалось, что Норштейн пишет вещи давно известные. Ну, например, о синтетической природе кино: «Все же кино имеет шарообразную форму. О его свойствах можно говорить в любой точке шара, так как эта точка соединяется с его параллелью и меридианом. Начнешь о звуке, перейдешь к музыке. И наоборот. Если о музыке – тотчас же перепрыгнешь к декорациям, а та перефутболит к персонажу». Но как замечательно точно сказано!

Гениями бывают все дети до пяти лет. Потом какой-то участок мозга начинает каменеть, и человек теряет исключительные способ-

ности, но иногда, крайне редко, этот участок мозга остается таким же, как в детстве. И тогда рождается гений, сохранивший способность открывать по-детски мир заново. Мир давно открытый, но свой и по-своему. Этим и занят Норштейн.

Кино, в отличие от театра, искусство «техническое», а потому уязвимо, подвластно внешним приемам, рассчитанным на особенности восприятия, никакого отношения не имеющие к подлинному сопереживанию. Норштейн пишет об этом исчерпывающе точно: «Театральный режиссер более изощрен в смене мизансцен на общем плане сцены, чем режиссер кино, поскольку последний всегда может скрыться за крупным планом, за монтажной склейкой. Именно по этой причине, мне кажется, в кино гораздо больше коммерческой дешевки, чем в театре. Любая ритмизированная под музыку монтажная нарезка – это быстрый и примитивный способ получения киношного эффекта».

Большой художник ищет возможности мира и согласия не только между религиями, идеями, народами, но и между «-измами» в искусстве. В книге Норштейна на одном развороте абстракция Пауля Клее и «Вечерний звон» Исаака Левитана. И две эти работы совершенно не мешают друг другу, а помогают открыть секреты мастерства.

Мне же эта особенность «Снега на траве» еще раз напомнила о том, что раздоры, склоки, кровавые конфликты в мире нашем – следствие пошлости, заурядности, бездарности. Людям одаренным нечего делить друг с другом. Юрий Норштейн – знаменитость мировая, лауреат всех мыслимых и немыслимых премий, но он немолод, а потому книга его пронизана печальным лейтмотивом прощания с тем миром, в котором большому художнику удалось сделать лишь малую толику задуманного, реализовать только часть своего таланта.

«Сегодня мы отчетливо наблюдаем, во что превращается человек, – пишет Норштейн, – лишенный воздействия искусства. Ему остается идеология. Не важно – какая. Идеология джипа, бритого затылка для лучшего узнавания собрата по разуму, идеология власти или ксенофобии и т. д. Но что он способен в них разглядеть? Скорее всего, ничего. Им движет только инстинкт обладания и вкладывания денег. Все. Геббельс собирал живопись, любил и знал романы Достоевского, что не мешало ему отправлять сотни тысяч людей в печь».

В этом печальном аккорде есть ряд нестыковок, присущих для русского таланта еврейского происхождения, пробующего иной раз примирить непримиримое. Дело даже не в том, что лично Геббельс только способствовал массовым убийствам, но и в причине его любви к Федору Достоевскому...

«Я все думаю, что же есть дар? – пишет в конце первого тома Норштейн. – Один из ответов – чистота помыслов». Увы, часто это не так, но в том, что касается самого автора «Снега на траве», дефиниция точная.

В этих заметках я сознательно опускаю замечательный, интереснейший рассказ о каждой из работ мастера. Эта школа мастерства, точнее, университет или даже академия, – предмет для отдельного разговора. Отмечу только, что Норштейн дает уроки профессии, прекрасно понимаю, что научить таланту невозможно.

Второй том «Снега на траве» автор начинает цитатой из Блеза Паскаля: «...все тела, взятые вместе, и все умы, взятые вместе, и всё, что они сотворили, не стоят единого порыва милосердия – это явление несравненно более высокого порядка».

Юрий Норштейн – человек глубоко религиозный. Он понимает, что без Бога Библии, Баха и Моцарта, Босха и Рублева, Александра Пушкина, Льва Толстого и того же Блеза Паскаля бесполезны те попытки воспитания, которыми были заняты гении прошлого. Большой художник работает для всех времен, но он всегда в своем времени, в его бедах и радостях. Норштейн пишет о «Шинели»: «...с точки зрения человека энергичного, умеющего жить, делать деньги, обкрадывать других, убивать, если они мешают. С его точки зрения любой человек – абсолютное ничтожество, и для него таковым является большинство населения страны». Да, сказано о несчастном чиновнике Башмачкине, но и обо всем сегодняшнем мире.

Акакий Акакиевич ни о какой власти не помышлял, но Юрий Норштейн знает и видит, что бед от «униженных и оскорбленных» может быть не меньше, чем от людей власти: «Но будет ошибкой наделить благородными, гуманными чертами человека только за то, что он мал, унижен, оскорблен и поэтому не способен на подлость и унижение другого, если окажется при власти. Еще как способен».

Норштейн враг всяких общих, навязанных схем, правил и систем, всего того, что насильно пытаются внедрить в жизнь и сознание стран и народов нынешние властные социал-либералы Запада.

«Меня всегда восхищала история, – рассказывает Норштейн, – когда во время репетиции Станиславского с Михаилом, от игры которого мэтр просто чесался от удовольствия, кто-то, наклонившись к нему, сказал: “Константин Сергеевич – не по системе”, тот восторженно ответил: “Какая еще система! Мишенька сам система!”».

Большой художник живет исторической памятью. Он помнит, чем завершались революции во имя «свободы, равенства и братства».

«Две тысячи лет христианства не смогли избавить людское сообщество от жажды мщения... Жажда мщения и жажда власти на одной линии». Все это как будто вновь о «Шинели», о мстительном призраке Башмачкина, но режиссер возвращает нас «на землю»: «Маленький пример – армейская дедовщина. Она кристалл наших общественных отношений. Каждый униженный, битый знает: придет час, и он выместит полученное от “дедов” на “салагах”, идущих ему на смену».

Исторический опыт! Как же он важен. И как обязательна, необходима способность таланта подвергать все сомнению: «Выученные истины твердеют, становятся декламацией, патетикой; они мертвы, как мертвы от механического повтора слова о “слезинке ребенка в основе гармонии”, о “твари дрожащей”, о том, что “если Бога нет, все разрешено” (а то будто мы не знаем, какие преступления творились Его именем); очень любят повторять кантовское о “моральном законе в себе”. Весь этот хрестоматийный “курс молодого бойца” – для удовольствования собой, когда есть правила, пособия, и ты безгрешен».

Но и сам Норштейн грешен, придумывая свои правила, – на эти поиски обречен каждый большой художник: «А чего нам сегодня не

хватает? Устремленности к идеалу... Благополучие экономическое... может быть лишь средством на пути, но никак не целью. Если внутри нас нет этого посыла к идеалу, мы не сможем преодолеть нашу материальную благосостоятельность, чтобы увидеть нечто, что далеко превосходит само понятие «экономика»).

Норштейн знает, как сложен, труден, противоречив путь к вере, но знает он и то, что на другом пути нет искусства: «Казалось бы, ясно, что истоки искусства в религиозных откровениях. При этом не важно, верующий ты или нет. Имеют значение сами вопросы веры или безверия. Они, эти вопросы, только толкают художника к проявлениям смыслов жизни. Подлинный художественный результат не зависит от иерархии героев, любая человеческая жизнь, от Эйнштейна до последнего бомжа, соединяется в голове и душе художника с его собственными мучительными поисками истины».

Автор помещает в своей книге иконы, много говорит о христианстве, но вдруг: «...мне бы хотелось сделать фильм... по «Книге Иова»... Другая моя идея снять фильм по «Песни песней»». Великий режиссер воспитан на русской культуре. Для него Танах – это Ветхий Завет, предтеча Нового, но мечта художника снимать фильм не о «страстях Господних»... Повторю, Норштейн ищет возможность мира и здесь – между святыми Книгами как источниками великого искусства. Но... Он может восторгаться «Возвращением блудного сына», иконами Рублева, сюжетами на тему «распятия» – но снимать-то, продолжить своим талантом он хочет «Книгу Иова» – одну из величайших повестей, созданных гением своего народа.

Непознаваемость познаваемой бесконечно Вселенной. Подлинное искусство – тоже тайна и бесконечность, как и современная наука: «У Ландау была замечательная фраза, что наука физика вступила в область таких познаний, когда мы можем понять истину, которую уже невозможно вообразить. А Нильс Бор охарактеризовал качество открытия: идея недостаточно сумасшедшая, чтобы быть верной. В общем, физики вступают в область непознаваемого, но вычисляемого, которое еще находится в пределах вычисления, то есть уже математика приходит к каким-то, по существу, абстрактным понятиям, а логика перестает быть чистой логикой. И все эти вещи сходятся в творческом процессе безусловно».

Общество потребления, кумир злата – уводят род людской от идеала. Завершает книгу Юрий Норштейн необходимым повтором: «...распространение мировоззрения богатых искривляет жизнь людей незрелых, не достигших такого же социального и материального положения, но испытывающих властную нужду его получить. В результате у нас сейчас главенствует философия жизни богатых, неприкасаемых и неприкосновенных, губительно воздействуя на общественную жизнь, на просвещение».

Всегда это было и всегда будет. Не было бы вечного конфликта между идеологией корысти и щедростью, между пошлостью и вкусом, между талантом и бездарностью – не было бы и всего того, что нас окружает сегодня; не было бы и самого Юрия Норштейна с его шедеврами: «Сказкой сказок», «Шинелью» и «Ежиком в тумане»...

*Евгений Руденчик, Юлий Ким*

## *В ДЕКАБРЕ ШЕСТЬДЕСЯТИ ВОСЬМОГО*

*Здравствуйте, Юлий Черсанович!*

*Выполняю давнее свое обещание – написать все, что помню о последнем выступлении ансамбля Кима. Конечно, с той поры прошло 45 лет, и это даже не воспоминания, а воспоминания о воспоминаниях. Т. е. мне кажется, что все было именно так, но почему мне так кажется – не помню.*

*Поначалу я задумал эти мемуары как некое музыкально-литературное произведение. Но если с музыкально частью я еще кое-как справился (хотя, конечно... ну да ладно), то литературное чтение я совсем не потянул – актерского таланту не хватило.*

*Ну что ж, Вы нас учили писать сочинения, а не читать их.*

*Надеюсь, что как сочинение Вы его оцените. Не в смысле, что высоко, а в смысле, что оценку поставите – тройку там или четверку. И объясните, за что. А то давно мне никто оценок не ставил, соскучился, наверно. А может, с Вами хочется хоть немножко поговорить...*

\* \* \*

Последнее выступление ансамбля Кима состоялось в день пятилетия интерната, 5 декабря 1968 года, в ДК МГУ на Ленинских горах. Юлий Черсанович (тогда еще Юлий Алексеевич) с сентября в интернате уже не работал – после известных событий преподавательская деятельность ему была запрещена. Но выступления ансамбля Кима были тогда заметным событием на Москве – по крайней мере, для определенной части интеллигенции. И сверху было спущено мнение: мол, Ким Кимом, а интернатская самодеятельность должна цвести по-прежнему. По этому поводу из ГИТИСа был приглашен студент режиссерского факультета, молодой парень, ни имени, ни фамилии которого я не помню, а жаль, поскольку парень оказался хороший и даже отчаянный, за что и пострадал: после нашего выступления его, по слухам, отчислили из института. Но вначале студент был совершенно не в теме. Нас собрали, и он предложил нам сыграть что-то из Чехова, кажется, сцену из «Вишневого сада». Его выслушали внимательно, никто не возражал, но на следующую репетицию никто не пришел. Тогда его вызвали, объяснили, что драма – не наш профиль. Нас опять собрали, и он предложил сыграть что-то из репертуара театра Сатиры. Там жены куда то сбежали, а мужики остались на хозяйстве – замачивали детей в синьке и т. д. Мы повеселились, но на следующую репетицию никто не пришел. После этого, вероятно, и состоялся решающий разговор студента с Русланом Германовичем Невским, который объяснил ему пикантность ситуации. В результате был создан авторский коллектив в составе студента, Руслана и Юлия Кима. Юлий Алексеевич ступил то-

гда на тропу свободного художника, сценариста, и эта пьеса была, возможно, его первым произведением в новом качестве.

Было написано два сценария. Один – официальный – для комиссий и генеральной репетиции, второй – для показа публике. В неофициальном никакой прямой крамолы, разумеется, не было, Боже упаси, но были некоторые двусмысленности. В то время создание изящных двусмысленностей было своего рода искусством, и публика это ценила, намеки понимала, – можно сказать, только этим и развлекалась. Даже немного жаль, что сейчас искусство это пришло в упадок.

А мне тогда повезло. Юлий Алексеевич появляться в интернате, разумеется, не мог, а я тогда любил терзать семиструнку. Было решено, что я буду ездить к Киму и привозить от него музыкальный материал, так сказать, вживую, помимо нот. Так я появился в квартире у Кима на Рязанском проспекте и там узнал много нового и интересного. Мальчик я был тогда наивный и весьма невежественный, так что посеял упал на благодатную почву, можно сказать, на целину. Кроме того, я перенял у Кима строй гитары, постарался перенять его манеру игры, и с тех пор гордо именую себя учеником Кима и в игре на гитаре тоже.

Большое впечатление произвело на меня то, с какой легкостью Ким писал песни. Когда я пришел к нему в первый раз, он сел за стол, взял чистый лист бумаги и сказал: «Так... пятилетие интерната... Что у нас там было пять лет назад? – А ничего не было. Пустырь был». Потом подумал и добавил: «И может, это было лучше, чем сейчас». Так родилась первая строка вступительной песни. Я тоже принял участие в творческом процессе. Когда понадобилась рифма на фамилию Сосинский, я предложил «сосиски». По-моему, отличная рифма. Ким предложил «ириски» – тоже ничего. В окончательный вариант вошли обе рифмы, и песня приобрела легкий гастрономический уклон. Когда с текстом было покончено, Ким взял гитару и почти сразу положил текст на весьма нетривиальную мелодию. Все это заняло где-то час-два. В результате получилось примерно следующее:

Пять лет назад здесь было пусто  
И, может, лучше, чем сейчас.  
Текла река, росла капуста,  
Корова рыжая паслась.

Здесь дети кушали ириски,  
Была и тишь и благодать.  
А если здесь бывал Сосинский,  
То разве только погулять.

А что теперь... Река всё жиже,  
Исчез капустный огород.  
Остался от коровы рыжей  
Один дряхлеющий помёт.

Пошла корова на сосиски  
И тут же съедена людьми.  
А коль является Сосинский,  
То издеваться над детьми.

А что же дети? Где же дети?  
 А вот они, сидят вот тут!  
 Но, повзрослев на педсовете,  
 Но, постарев на педсовете,  
 Уже ирисок не жуют.

Генеральная репетиция состоялась при почти пустом зале, только в первом ряду сидела Раиса Аркадьевна Острая, наш директор, и несколько очень серьезных дядей и тетей. Репетиция прошла успешно, спектакль был одобрен. Зал заполнился под завязку, люди стояли в проходах. Действие началось с увертюры, которая в официальном сценарии не значилась. Перед занавесом появился Женя Гайдуков в костюме мима, в черном трико, с выбеленным лицом, со скрипкой, и сыграл в миноре несколько первых тактов гимна ФМШ. Я видел, как в этот момент окаменело лицо Раисы Аркадьевны, и с этим каменным лицом она наблюдала все действие.

К сожалению, текст пьесы я помню плохо. Частично это связано с тем, что наша певчая часть и наши «артисты» чаще всего репетировали порознь, возможно, из соображений конспирации, – ну, чтобы сюрприз был. Фабула же была такова: просматривался прогресс интерната от эпохи дикости до наших просвещенных дней. Эпохи разделялись музыкальными интермедиями. Вот одна из них:

Какая дикость – быть дикарем.  
 Какая глупость – быть первобытным.  
 Эпоха дикости, гори огнём,  
 Эпоха варварства всё озарит нам!  
 Мы вар-вар-вар-вар-вары,  
 мы вар-вар-вар-вары...  
 Мы вар-вар-вар-варвары!..

Так дело дошло до наших дней. Второй смысл становился все более острым. Назревала «песня комиссии» – номер, который в официальном сценарии не значился. (Надо сказать, что комиссии в то время мордовали интернат регулярно.) В соответствии со сценарием, но неожиданно для публики, на сцене появился Руслан и сказал примерно следующее: «Приехала комиссия. Немедленно прекращаем это безобразие и расходимся». Мы направились за кулисы, а публика... встала и направилась к выходу; настолько естественным показался ей такой финал. «Члены комиссии» должны были петь в масках – усы, очки, залысины. Часть масок кто-то переложил на другое место, и мы метались в поисках, пока Руслан не прошипел: «Или вы немедленно выбегаете на сцену, или петь будете при пустом зале». Мы выбежали. Возникла пауза, публика начала возвращаться, зал опять заполнился, и мы начали петь. Я тоже начал, и, хоть маски так и не нашел, запел самым противным голосом, как и полагалось члену комиссии.

Куда, куда, куда, куда  
 идёт этот интернат?  
 А он идёт туда, куда  
 глаза его глядят.

Зачем, зачем, зачем, зачем  
 построен этот дом?  
 Затем, затем, затем, затем,  
 что думать учат в нём.

Давно пора его закрыть  
 с какого-нибудь конца!  
 Давно пора, но как тут быть:  
 он не закрыва-ет-ся!

Тут все сняли маски, вышли к рампе, и действие перетекло в финал:

Пять лет – это так немного,  
 пять лет – словно пять минут.  
 Широкая дорога,  
 заманчивый маршрут.

Товарищи интернатцы,  
 пусть годы летят, летят...  
 С тобою нам не расстаться,  
 товарищ интернат.

И где мы жить ни будем,  
 куда ни направим путь,  
 тебя мы не забудем.  
 И ты нас не забудь...

*Р. С. Хочу напомнить песню, которая к спектаклю прямого отношения не имеет. Может, Вы и ее запомнили, как и весь этот спектакль, который был сыгран единственный раз и, увы, без Вашего присутствия.*

*...До свиданья! Наш возлюбленный очаг с гениальностью в очах и в отчётах, до свиданья!*

*Не сводивший глаз да глаз и с ума сводивший нас на зачётах.  
 До свиданья!*

*Ты прости нам, дорогой, недостаток кой-какой воспитанья,  
 До свиданья, наш родной, до свиданья!*

**Женя Руденчик**

*Спасибо, Женя!*

\* \* \*

68-й год застал меня в физматшколе-интернате при МГУ. Это было детище академика А. Н. Колмогорова, великого математика, настоящий лицей для вундеркиндов. Я там преподавал литературу и возглавлял художественную самодеятельность, для которой сочинял целые песенные композиции с единым сюжетом. Вундеркинды охотно шли ко мне в ансамбль; в МГУ на Ленгорах нас знали и всегда приглашали поплясать на свою сцену, и на пляски эти ходило множество московского народу.

В 10-м «Е» учился у меня Женя Руденчик, энтузиаст нашего ансамбля, писавший, кстати, хорошие сочинения, стало быть, разносторонний умница. Из этого «Е», а также и из прочих «А», «Б», «В» я наберобвал небольшую труппу, и в декабре 67 года мы представили целый мюзикл под названием «ТАНРЕТНИЦЕПС» – что читается справа налево «специнтернат», и эта наоборотность продиктована была сюжетом, по ходу которого трое удалых вундеркиндов, заскучав учиться на Земле, сооружают ракету и с её помощью попадают в антимир, где всё наоборот: главной наукой является футбол, а преподаватели уединяются в горах, предаваясь сольному пению. Впрочем, вскоре и там достают их орды туристов, разбирая горы на сувениры и распевая при этом:

Мы туристы-гитаристы,  
 ходим мы туды-сюды,  
 ходим, рыщем, тыща за тыщей,  
 за нами пепелища,  
 как чёрные следы.

Ну и ещё целый ряд развесёлых эпизодов. Прошло на ура.

И уже замышлял я новый спектакль и даже успел к нему сочинить две песенки. Сюжет, прямо скажем, грандиозный.

Два вундеркинда сидят за столом и вымучивают из себя домашнее сочинение на тему «Да здравствует 7-е ноября!» Наконец, они догадались развернуть газету и один за другим потянуть оттуда битые советские штампы:

«...Все улицы как будто стали краше...»

«...И солнце как бы входит в каждый дом...»

«...Сегодня все трудящиеся наши... И не наши... Испытывают радостный подъем...»

Далее, нащупав стиль и отбросив газету, они наперебой продолжают сами:

– Рабочие, крестьяне, инженеры...

– Покинувши заводы и жнивья...

– Интеллигенты и милицанеры  
 единство демонстрируют своё.

– Они идут с плакатами, с цветами,  
 на них костюмы новые видать.

– Давно уже расстались мы с цепями,  
 нам, слава Богу, есть чего терять.

– Теперь добавим что-нибудь про космос...

– Чего-нибудь про радостный расцвет...

– Затем поставим собственную подпись  
 и отнесём всё это в туалет.

После чего оба умника начинают размышлять о правде и неправде. И решают собственными глазами посмотреть на то, как оно было на самом деле. Для чего сооружают они машину времени и оказываются в Одессе 1918 года, когда она под белыми. В кабаке. Где полуголая певичка пляшет на столе:

Мой папаша были дворник,  
А мамаша барыня.  
Да будь вы граф иль подзаборник –  
Все одинаково вы мне родня.

Где тройка с посвистом,  
Попойка с ротмистром,  
Того, что сгнуло, не жалей.  
Рвань шинельная,  
Шпана панельная,  
Кому любовь мою за пять рублей?!

Где теперь чины и судьи?  
Все свободны, каждый прав,  
Подзаборник вышел в люди,  
А под забором плачет граф:

Где тройка с посвистом...

Далее являются красные, за ними махновцы, затем героини попадают в 37-й год – впрочем, до финала додумать я не успел, меня вытурили из школы. Строго говоря, я уволился по собственному желанию – но из-за ультиматума, предъявленного городским и университетским начальством: либо я увольняюсь, либо публично отказываюсь от своей подписи под некоторыми письмами, «порочащими советский строй».

Тогда, в 65–68 гг., шла бурная правозащитная борьба с осточертевшим режимом, и я в этом принял небольшое участие. Вот меня и попятчили из любимой школы, и самостоятельность моя прекратилась.

С другой стороны, меня уже подхватили театр и кино, уже Фоменко предложил поработать над вокальными номерами к Шекспиру, которого он ставил в Драмтеатре на Малой Бронной, и вышло так, что любимую школу я оставил всё-таки для любимого дела, но, конечно, первое время сильно скучал по своему ансамблю со всеми его участниками.

И как-то со временем начисто забыл о некотором косвенном продолжении своего участия в школьных плясках.

И прошли до-олгие годы, и море всякой воды утекло, и вот я сижу через 45 лет в Иерусалиме и получаю от Жени Руденчика письмо из Москвы с рассказом об этом самом продолжении – письмо, свидетельствующее, что не зря я преподавал литературу.

Четыре разъяснения, чтобы не спотыкаться при чтении:

Р. А. Острая, директор, замечательная женщина, она настояла на том, чтобы я довёл свои классы до каникул (а меня выгоняли в марте), но, понятно, отстоять меня полностью не могла. Руслан Невский преподавал историю и ведал школьным комсомолом и всю поддержку наш ансамбль. Мы с ним дружили. Как и с Женей Гайдуковым: это был математик от Бога, первоклассный педагог, поигрывал на скрипке, а также в футбол, и, наконец, Сосинский А. Б. – яркий, весёлый, спортивный блистательный учёный, тоже у нас преподавал.

*Юлий Ким*

Анри Бергсон Джуниор

## ЭТЮДЫ О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ

### КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К НОВОЙ РАБОТЕ САШИ ОКУНЯ

*Жизнь не так проста, как кажется, она гораздо проще.*

Ежи Лец

*Наша сокровенная природа не может быть выражена в словах по той самой причине, по которой тишину нельзя сыграть на балалайке.*

Карл-Мария Людвиг фон Витгенштейн

Художник Саша Окунь представил на выставке в галерее «Красный дом» работу под названием «Дыра, в дыре и за дырой». Работа, которая изображает дыру (и, в сущности, ею же и является), ставит перед зрителем ряд важных вопросов, однако, чтобы ответить на них, следует их сформулировать и, прежде всего, выяснить, не является ли дыра сама по себе вопросом. Как утверждает Делез, «...прежде чем выразить смысл в инфинитивной и причастной форме (быть белым снегом, будучи белизной снега), желательно выразить его в вопросительной форме. Ведь вопросительная форма понятна на основе уже готового решения или решения, которое остается только отыскать; эта форма всего лишь нейтрализованный двойник ответа, которым уже кто-то обладает». Осознав вышесказанное и всмотревшись в дыру Окуня, мы понимаем, что хотя физически дыра является самой достоверной из пустот, в ней или за ней что-то есть. Именно поэтому зритель противится сублимации дыры, и она с неизбежностью берет на себя роль «Другого», а по Левинасу – «Другой», это не объект, а «чистая дыра в мире», абсолютная открытость. Левинас считает, что мы переживаем эту открытость зияния как «загадку мира». Но «загадка» – это не что иное, как совокупность дыры – смотрящего и того самого «что-то». В свете этого открытия, этого шага, для которого зрителю понадобится немало интеллектуального мужества и, возможно, даже отчаянья («Мужество, отчаянье и любопытство, вот три крыла человекобога!», Ф. Ницше), мы не можем не признать, что нигде и никогда эта «загадка» не была выражена с такой безупречной точностью, как в произведении Саши Окуня. Вместе с тем следует отметить, что по своей формальной структуре дыра является простейшей языковой игрой в духе тех, что так пристально рассматривал Витгенштейн в известном диалоге с Полем Кремье. Итак, зададимся вопросом, что такое дыра? Вполне legitimately ждать ответа на этот вопрос от самой дыры, тем паче что в антропоморфном сознании отверстие (рот, анус, нос, репродуктор), как правило, неизменно связано со звуком, из него исходящим. Но дыра молчит. Сможет ли зритель сделать усилие и догадаться, что там, в дыре, за дырой, кроется покрашенное зеркало, и, догадавшись, осознать весь трагизм своего существования здесь и

сейчас? Сможет ли он принять горькую правду, что человеку не дано взглянуть себе в лицо и, в соответствии с теорией зеркал Лакана, дано увидеть и осознать себя только посредством Левинасовского «Другого»? Сможет ли он дойти до предпоследней истины и понять, что «зеркало» скрывает в себе не только и не столько отражение, но обращенный к нему текст, и какой? Очевидно, что с помощью автореференции здесь фиксируется «нулевая степень ответа», привлекающая в свое время (и не зря) внимание Ролана Барта. Дыра (при условии, что она дыра не имманентная), по словам Деррида, отсылает зрителя к лакановской теории «points de capiton», т. е. в область «мифических моментов прорыва между означающим и означаемым» (в лакановском, а не в сосюрловском понимании). Именно в свете этой теории и следует рассматривать работу Окуня, в которой автор движется от имманентности духа к синтетической современности. Очевидно, что в силу своей абсолютной пустоты (зеркало, пусть даже покрашенное, способно лишь отразить пустоту) окуневская дыра содержит в себе практически все аспекты экзистенции как отдельного индивида, так и современного общества в целом. Мы можем выделить философский аспект (вкратце затронутый выше), эротический, в равной степени отражающий гетеросексуальную, гомосексуальную, лесбийскую и полисексуальную культуры (в скобках заметим, что в эротическом смысле дыра есть по сути желание невозможного). В религиозном аспекте дыра является ультимативным выражением бесконечности (*эйнософ*). Стоит обратить внимание на интеллектуальный аспект дыры: дыра как потенциальный гейзер наших умственных упражнений и в то же время черная дыра, где безвозвратно исчезают наша способность хоть как-то самостоятельно мыслить и элементарный здравый смысл. Дыра намекает на проблемы израильской системы образования и просвещения. И, разумеется, в ней во весь голос заявляет о себе аспект политический, без которого немислим подлинный израильский художник. Окуневская дыра есть дыра в заборе, страстный призыв к снятию блокады с Газы и к бойкоту сионистского государства Израиль, она является ультимативным воплощением постсионистского пространства. Дыра Окуня есть форма небытия, причем, принимая во внимание зеркало и теорию множественности отражений, небытия разнообразного, ибо в свете своих наблюдений за окружающей действительностью художник утверждает, что различия между некоторыми видами небытия более радикальны, чем отличие небытия от сущего. В каком-то смысле жизнь *human being*<sup>1</sup> находит свое адекватное отражение (*sic!*<sup>2</sup>) в процессе восприятия зрителем дыры и разглядывания себя в зеркало, покрашенное белой краской.

В заключение следует отметить, что дыра Окуня, являясь произведением искусства, своим существованием отменяет его как таковое. Она есть не что иное, как ультимативная икона постмодернизма, сакральное выражение его глубинной сущности и в качестве таковой

<sup>1</sup> *human being* (англ.) – человеческое существо.

<sup>2</sup> *sic* (лат.) – слово, обозначающее «так», «таким образом», «именно так». Здесь используется для указания на важность данного места в тексте.

приходит на смену безнадежно устаревшему символу авангарда и модернизма малевичевскому «Черному квадрату». Примитивная, агрессивная угловатость сменяется мягкой округлостью, благодетельностью и готовностью принять и поглотить все и всех. Детерминированность, историчность, идеология сменяются свободой абсолютной внутренней пустоты, своего рода бесконечным ночным полетом в пространстве небытия. Вместе с тем зеркало, даже закрашенное, остается зеркалом, дыра остается дырой, а роза розой, поскольку, как утверждает Теренс Маккенна, стартовая точка антропогенеза необъяснима без подобных искусственных экстазов.

### С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА КУЛЬТУРЫ?

Некоторое время назад в одном из главных музеев изящных искусств нашей страны случилась пренеприятнейшая конфузия. Для начала в нем прохудилась крыша. Вследствие этого прискорбного события дожди, которые для страны Израйила в целом являются благословением, для музея стали чем-то совершенно противоположным: воды, хлынув в экспозиционные залы, нанесли искусству ущерб, ущерб, который обернулся колоссальным уроном. Покуда рабочие латали крышу, уборщица начала старательно приводить в порядок пострадавшие залы: вытирала лужи, до блеска начищала полы и покинула свое рабочее место с чувством глубокого удовлетворения. А наутро выяснилось, что означенная уборщица, несмотря на определенный стаж работы в этом высококультурном учреждении, совершенно несведущая в понятии, что есть искусство, а что – нет, собрав дождевую воду с полов, осушила заодно и лужу в одной из скульптур, и мало того: вытерев ее тряпкой досуха и таким образом изведя плесень и грибок, там образовавшиеся, напрочь изничтожила эту самую скульптуру, лужа, плесень и грибок которой являлись интегральной частью художественного замысла, а также следствием изначальной концепции данного произведения. В результате этого акта вандализма, вызванного невежеством и окончательной утратой понятия о границах добра и зла, скульптура оказалась безнадежно испорченной, деньги налогоплательщиков, потраченные на ее приобретение, образно говоря, были выкинуты на ветер, а автор произведения получил глубокую и незаживающую душевную травму.

Скандал, сопровождавший это вызывающее ужас и оторопь событие, был настолько велик, что докатился до радио, где озаботившийся падением нравов и утратой эстетически-нравственных принципов ведущий популярной утренней передачи обратился за разъяснениями к директору музея, которая имеет репутацию выдающегося куратора и специалиста в области современного искусства. По ходу ученой беседы, которая постепенно от частного случая сместилась в область проблематики принципиальных определений границ между тем, что является искусством, и тем, что к нему не относится, радиоведущий мягко спросил: «Так что, если я possu в унитаз, это искусство?» (Мы

хотим принести извинения читателю за некоторую экзальтированность лексики участников беседы – могли бы интеллигентно сказать «схожу по-маленькому» или в крайнем случае «сделаю пи-пи», но, как говорится, из песни слова не выкинешь.) «Нет! – хладнокровно ответила госпожа куратор. – Нет. Если ты посышь в унитаз, это не искусство, а вот если в унитаз насыт художник, то тогда да!»

На этом дискуссия закончилась. Однако вопрос, поднятый в ней (относительно мочеиспускания радиоведущего), заслуживает самого пристального внимания, ибо вплотную затрагивает глубинные вопросы не только феноменологии искусства как такового, но также дальнейших путей развития иудео-христианской и исламской цивилизаций и вплотную касается животрепещущих и наболевших проблем современного израильского общества. Мы имеем в виду актуальный сегодня не меньше, чем в тридцатых годах прошлого века вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» Казалось бы, сегодня ответ не должен вызывать споров: мастера культуры являются авангардной и направляющей силой либерального демократического общества, певцами фундаментальных ценностей постмодернизма, мультикультурности, равенства и политкорректности. Но так ли это на самом деле???

Существовавший на протяжении тысяч лет статус художника как профессионала по мере развития демократии стал неадекватен и был заменен новым, политически корректным: отныне художником считается тот, кто сам себя считает художником, т. е. все.

Утверждая, что акт его собственного мочеиспускания является актом художественным, радиоведущий реализует не только свое естественное право мочиться так, как он это понимает, он реализует право каждого из нас быть художником, еще раз утверждает высокие идеалы равенства. Своим поступком он высоко поднимает знамя истинного, незамутненного личными интересами постмодернизма.

Отказывая радиоведущему в праве на художественность его мочеиспускания, г-жа директор музея не только грубо попирает права журналиста как личности и художника, не только срывает с себя маску просвещенного человека, обнажая свое подлинное волчье лицо консерватора и реакционера. Утверждая ложные и вредные ценности иерархической системы (оппозиция «художник – не художник»), она тем самым отрицает демократию, т. е. становится на сторону врагов арабской весны, отрицающих право палестинских борцов за независимость на свою государственность в выбранных ими границах. Никогда в истории израильского искусства вопрос «с кем вы, мастера культуры?» не был столь актуален. Нет, мы не утверждаем, что директор музея является тайным агентом Ивета Либермана (человеконенавистнического сиониста, коррупционера и агента КГБ) в сфере пластических искусств, но проверить это не мешает. Мы вправе спросить, каким образом такой человек попал на столь важную должность. Мы не можем спускать с рук тем, кто исподволь подрывает основы нашего искусства, глумится над священными принципами демократии и равенства. Акт коллективного мочеиспускания в залах музея станет хорошим ответом оголтелым приспешникам реакции и фашизма.

*Перевел с французского Хаим Уриэль Йосеф*

### СЛОВА ПРОЩАНИЯ

\* \* \*

Советские милицейские детективы 70–80-х годов были любимы даже теми, кто морщил на них нос. Штучной выделки, они были написаны с учетом существования не только Эдгара По и Сименона, но и Чехова с Достоевским. Писали их крепкие мужики, хлебнувшие ночных дежурств в низовых ментовках.

Чаще всего борьба добра со злом происходила в недвусмысленной плоскости: убийцы, грабители. Нужно быть справедливым: провозвестники свободного рынка – клиентура ОБХСС – тоже становились отрицательными героями. Сыщики: Денисов, Тихонов – тонко рефлексировали, как и было положено героям молодежной прозы той поры.

«Молодогвардейская» серия, в которой выходили книги братьев Вайнеров, Леонида Словина, Анатолия Безуглова, Сергея Высоцкого, называлась на языке книжных толкучек «Стрелка» и котировалась высоко. Тогда еще у слова не было блатной коннотации, просто на обложке был изображен натянутый лук.

В конце 90-х, в один из приездов из Иерусалима в Москву, Словина пригласили на «круглый стол» детективщиков. Была там и А. М., в те годы олицетворявшая индустриальный, пластмассовый подход к жанру. Должны были пройти годы, народиться новые поколения производителей приключенческого чтива, на фоне которых эта писательница выглядит изысканным стилистом и глубоким психологом. Но действие, повторяю, происходило в 90-х. «Ну, думаю, задам ей перца, – рассказывал Словин. – Но вдруг приходит записка. Леонид Семенович, мол, я выросла на ваших книгах и всегда мечтала с вами познакомиться. Давайте поговорим после окончания мероприятия. Ну, какой бой после такой записки: Так и промолчал все время. А когда закончилась дискуссия, она просто встала и ушла...» Словин, посмеиваясь, восхищался тонким психологическим ходом.

Мемуарная проза, появлявшаяся в последние годы в ИЖе, показала, что Словин умеет писать не только детективы. Умел.

*Михаил Книжник*

\* \* \*

Нет-нет, он не прекратился!

С нами, почитателями его таланта, остались более пятнадцати миллионов экземпляров книг одного из корифеев детективного жанра, доброго человека с доверчивым взглядом, помогавшего всем подряд.

Моя знакомая из Беэр-Шевы, зная, что я собрался её навестить, попросила забрать в Иерусалиме у «коллеги по жанру» обещанные ей в подарок книги... «Коллегой» оказался Леонид Словин, известней-

ший мастер с пятидесятилетним писательским опытом. Зачем ему понадобилось писать рецензию на первую повесть начинающего автора и дарить ей свои книги... Когда знакомая эта вторую свою книжку издала, вставив в нее отзыв Словина на первую, он удивился: «Как она могла? Я даже не знаю, о чём там речь! Это же бесчестно!» Но спасибо этой даме – благодаря ей я познакомился с Леонидом Семёновичем.

Словин верил всем без исключения, даже зная заранее свойства своих обидчиков. Когда за последний его детектив издатель сунул автору 150 долларов, это вызвало возмущение Гали: «А где договор, Лёня? Тебя же надули!» – «Да ладно!.. – всего-то и ответил жене. – Кому это теперь интересно...»

Леонид Семёнович реагировал на любые неточности, касавшиеся его товарищей. «Что за брехня про Вайнеров! Я дружил со старшим, Аркадием, но именно с младшим, Георгием, написал “На тёмной стороне луны” (во Франции “Галлимар” отпечатал перевод этого романа полуторамиллионным тиражом! – Г. С.). В том, что у братьев творческие разногласия, никто не виноват. Неправда, что Георгий, уехав в США, утратил творческий потенциал, именно там он написал два своих лучших романа!» – возмущался Словин.

А с какой любовью он описывал израильтян, Иерусалим, больницу «Шаарей цэдэк», в которой провёл много дней... На всё Леонид Семёнович смотрел изумлёнными глазами – всё ему здесь было «здорово!». Химия помогла, он воспрянул духом, оживился, строил планы. Летал в Москву, захватывая своего «неблагородных кровей» Сида, подобранного давным-давно щенком. Что и говорить, пёсик задавал ритм жизни всей семье. Только гулять с ним становилось всё больше...

Однажды Словин не выдержал: «Таблетки не помогают!» Он не искал виноватых, никого не ругал, даже помощь законную просить стеснялся. Я предложил делать уколы в коленные суставы – он тут же согласился, а потом только и говорил об этом: «Знаешь, не хожу, а прыгаю и летаю – ничего не болит!»

Но основная болезнь прогрессировала, нарастали слабость и апатия. Он не жаловался. 2 июня Словина опять положили в больницу. Исколотый необходимыми, но не помогавшими уже лекарствами, тая на глазах и чувствуя смерть за спиной, спрашивал неотлучную жену: «Галя, как ты без меня будешь?»

*Григорий Сухман*

\* \* \*

*Не хотел, чтоб жалость ликовала.  
Верил: время лечит – не грустите...  
Вот одной звездой больше стало.  
Человеком – меньше.*

*И простите...*

*Александр Любарский*

Леонид Словин

## ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ\*

Общее писательское собрание в Большом зале ЦДЛ. Ряды мягких кресел, увитых пунцовым бархатом. Авторитетный президиум. Привычный набор фраз. Почти неслышные голоса в партере...

Неожиданно очередной выступающий заговорил о чем-то совершенно постороннем, да так простодушно, что все вдруг поняли: сейчас грянет скандал. Зал перестал гудеть, кто-то из вышедших приостановился в дверях. Люди, уже потерявшие надежду услышать что-нибудь путное, наострили уши. Между тем, речь в выступлении зашла всего лишь о рассказе, опубликованном в журнале «Пограничник».

– На улице Горького, – бесстрастно поведал оратор, – герой, от лица которого ведется повествование, случайно разговорился с незнакомым офицером-пограничником. Разговор у них зашел о литературе. «Я приехал с Дальнего Востока в Москву, – рассказал офицер, – где живет мой любимый писатель, которого я мечтаю увидеть...»

Наступила значительная пауза.

– «Я говорю о писателе Георгии Мокеевиче Маркове...»

По залу прошел шепоток. Георгий Мокеевич Марков, председатель правления Союза писателей СССР, сидел здесь же в президиуме...

Большинство присутствовавших воспринимали Маркова-писателя весьма скептически. Его «Строговы», «Соль земли» и «Сибирь» были на слуху, но особо большого успеха не имели, а что до таких его бестселлеров, как «Сибиряки у Ленина», «С тобой, партия!», «Писатель и пятилетка», то в их действительной ценности мало кто сомневался...

Зато все знали, что Марков, удостоенный за свою литработу двух Золотых звезд Героя Социалистического труда, четырежды награжденный орденами Ленина, лауреат Сталинской и Ленинской премий, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР и прочее, прочее, все последние годы стоит во главе писательской организации Союза.

– «Но моя мечта вряд ли осуществится...» – продолжал пересказывать содержание рассказа в «Пограничнике» оратор. – Офицер вздохнул. Было видно, что само предположение о том, что он, будучи в Москве, не увидит любимого писателя, ему неприятно. «А хотите я вас ему представлю?» – неожиданно предложил ему его случайный московский собеседник – автор публикации. «А сможете?!» – в глазах пограничника мелькнул лучик надежды. «Постараюсь. Сейчас я как раз иду на его встречу с избирателями. Хотите, пойдем вместе?» – «Да я! Да я по гроб жизни буду вам благодарен!..»

В зале начали слышаться сначала тихие, робкие иронические смешки, потом смех начал нарастать...

Выступавший продолжил:

\* Заметки из цикла воспоминаний «Писательское нагорье» были опубликованы также в «ИЖ» № 14–15. Печатается в сокращении.

– Цитирую и дальше близко к тексту. Пограничник и автор пришли к месту встречи Георгия Мокеевича с простыми советскими гражданами, и рассказчик представил офицера его кумиру. У них состоялась короткая беседа, которая наверняка запомнится пограничнику на всю жизнь, и он еще долго будет рассказывать о ней у себя на заставе. В конце ее товарищ Марков спросил, не может ли он что-нибудь сделать для своего нового знакомого.

– «Георгий Мокеевич, – несмело попросил офицер, – больше всего мне хочется иметь книгу с вашим автографом... Это самое большое, о чем я мог бы еще мечтать...»

Дальше выступление продолжалось уже под общий хохот зала.

– На следующий день, несмотря на свою огромную занятость как члена ЦК КПСС, председателя Союза писателей и депутата, Георгий Мокеевич нашел время, чтобы встретиться с офицером у себя в кабинете на улице Воровского и подарить ему свое пятитомное собрание сочинений с трогательной надписью. Конец рассказа...

– Автора! – взревел зал. – Кто это написал? Кто автор?

Из зала уже не только никто не выходил, а, наоборот, потянулся народ из курилки.

– Фимилию-ю!..

Не то чтобы сервильные писатели были тут в диковинку – начальству кадили всю дорогу постоянно, беззастенчиво и весьма виртуозно. Но чтобы так прямо и безыскусно... Оратор успел полностью насладиться успехом, прежде чем бросил в зал последнюю фразу:

– Автор рассказа – помощник Георгия Мокеевича Маркова... – он уже покидал трибуну. – Писатель Владимир Яковлевич Шорор...

– Он здесь?! – зал снова взорвался. – Как можно?! На сцену!

– Владимир Яковлевич Шорор присутствует? – поднялся над столом председатель.

– Тут он... – раздался голоса доброхотов.

– Собрание просит вас объяснить...

В одном из первых рядов поднялся высокий стройный немолодой человек, нимало не смущаясь, вышел на сцену. В зале стало тихо.

– Все написанное в рассказе – полная правда, – Шорор нагнулся к микрофону. – Сейчас я передам в президиум фамилию, имя и адрес пограничника, о котором идет речь. Можно дать телеграмму в часть, чтобы его опросили... – он обвел глазами зал. – И если окажется, что я приписал офицеру хоть одно лишнее слово или искажил события, прошу привлечь меня за нарушение писательской этики...

Шорор положил что-то на стол и так же невозмутимо спустился со сцены. Никто не ожидал, что объяснение окажется таким простым.

Между тем и у Андрея Платонова есть в чем-то похожий рассказ. Замечательный писатель рассказал о том, как какому-то мелкому железнодорожному чину, засидевшемуся на службе, среди ночи в глушь, в тьмутаракань, неожиданно позвонил тогдашний член Политбюро ЦК ВКП(б), нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович, и снял с него стружку: «Почему вы так поздно работаете? Сейчас же идите отдыхать. Такие люди, как вы, нам необходимы...»

Правда, время было тогда иное – страшноватое...

После столь простодушного объяснения Шорора зал как-то сразу поутих, он уже не требовал крови автора, должно быть, кое-кто, подумав, пришел к неожиданному выводу: «Да мало ли на свете мудак... Мог найтись и такой пограничник...»

Надвигавшийся скандал – увы! – так и не состоялся.

До того дня я почти не слышал о Владимире Шороре. В «Литературной России» его как-то упомянул писатель Гарий Немченко, который назвал его «всемогущим помощником Маркова» и, между прочим, «военно-морским писателем из жизни пограничников». И все.

Позднее судьба свела нас в Доме творчества «Голицыно».

Гвардейского роста сибиряк, с негнушейся прямой спиной, совершенно седой, но с темными густыми бровями, Владимир Яковлевич выглядел не улыбочивым и серьезным. Был он участником Великой Отечественной войны, закончил Литинститут имени Горького. В Литинституте с ним связана популярная байка. Как-то он сказал: «В институте нет талантов!» Тут же языкастые студенты подхватили: «В институте нет талантов – хоть Шорором покати!» Писалось ему нелегко, печатался он мало. В основу своих вещей брал «документальные факты», как с уже упомянутым погранцом.

Вскоре у нас возник общий интерес. Это случилось после рассказа Владимира Яковлевича о школьном преподавателе физкультуры, бывшем его классном руководителе. Этот молодой учитель из Иркутска ничем особенным не отличался от коллег, правда, мог запросто угостить весь класс конфетами или накормить всех в столовой. И еще любопытная деталь из истории класса: двое соучеников по окончании школы вместо армии неожиданно ушли в квартирные воровы...

– А фамилия преподавателя, Владимир Яковлевич? Помните?

– Фамилия у него была необычная – Венгровер.

– С ума сойти!

Борис Рувимович Венгровер, знаменитый квартирный вор, получивший в криминальных и милицейских кругах СССР не меньшую известность, чем легендарный Видок во Франции.

В старом Музее криминалистики на Петровке, 38, который во времена застоя был переименован в Кабинет по обмену положительным опытом, а теперь вроде в Музей МУРа, я видел впечатляющие цифры деятельности бывшего иркутского преподавателя физкультуры – за точность, правда, не ручаюсь. Мне помнится, что с весны 1953 года, когда он вышел из лагеря по амнистии, по ноябрь того же года Венгровер совершил в Москве порядка двухсот квартирных краж!

Знаменитому вору в Музее было посвящено несколько стендов и диорам. На одной из них старший офицер штаба Московского военного округа возвращается домой и застаёт внутри незнакомого человека, роющегося в его вещах. От неожиданности офицер теряет дар речи. Напротив, квартирный вор ни на секунду не лишается присутствия духа.

– Я сотрудник НКВД... – объявляет Венгровер, а это именно он, растерявшемуся офицеру. – В вашей квартире производится секретный обыск. Прошу сдать оружие!

Дисциплинированному штабисту ничего не остается, как вручить табельное оружие лжеособисту и покорно пройти в дальнюю комнату...

Венгровера заставляли на месте преступления не раз, но благодаря удивительной находчивости ему всегда удавалось выйти сухим из воды.

Молодая женщина – хозяйка другой московской квартиры – тоже, в неурочный час забежав домой, обнаружила внутри чужого. Венгровер не растерялся и в тот раз.

– У вас была квартирная кража, – охотно объяснил он. – Но преступники ничего не успели взять, вы можете убедиться. Вон все ваши вещи стоят... Только ничего не трогайте, чтобы не оставить следов. А я здесь в качестве понятого. Милиция их преследует с собакой...

Успокоенная хозяйка и вор провели вместе несколько минут, после чего мнимый понятой забеспокоился: «Что-то их долго нет...»

Вышел посмотреть и исчез.

Оказалось, что Владимир Шорор не знал о воровской карьере своего школьного преподавателя и жадно впитывал все, что мне, как действующему сотруднику уголовного розыска, было тогда известно.

О легендарном жулике писали и Федор Резаков в книге о бандитах семидесятых, и Александр Хинштейн. Цитирую Хинштейна: «Борис Венгровер был в своем роде прообразом знаменитого Юрия Деточкина. Разница лишь в том, что Деточкин переводил ворованные деньги в детские дома. Венгровер же тратил их на школу... Он уверял администрацию, что деньги эти выделяло спортобщество «Буревестник». Кому могла прийти в голову бредовая мысль, что новый физкультурник покупает для всех классов абонементы в бассейн или заказывает на праздничные вечера оркестры за свой счет? Квартирный вор даже доплачивал премии другим учителям и нанял школе пианистку...»

Незадолго до своего ухода на пенсию я узнал, что известный вор решил покончить с воровской деятельностью и обратился в МУР – с просьбой помочь ему устроиться в дом престарелых. Ему пошли навстречу, и он получил направление в Рязанскую область.

Прошло время, я успел забыть об этом. Однажды, зайдя в дежурку, услышал привычный стук телетайпа. Передавали список изъятых краденых вещей. С подробным описанием примет, нескончаемо длинный список. Одних дорогих японских зонтиков было несколько десятков.

Я подошел к телетайпу. Речь шла о... Венгровере. Числясь истопником Саженовской специальной школы-интерната, что в Рязанской области, Венгровер в свободное время подолгу отсутствовал, якобы навещая своих дальних родственников. Возвращаясь, он щедрой рукой раздавал соседям привезенные им подарки. Так продолжалось до тех пор, пока кто-то в поселке не обратил внимания на то, что старушки из дома престарелых все как одна щеголяют со стильными импортными зонтиками...

Следствие установило, что Венгровер успел обокрасть несколько квартир в Рязани и в Москве. На суде он во всем признался и откровенно рассказал, что он как профессиональный вор думает о качестве советских замков, которые можно открыть простой спичкой, а также прочности входных дверей, сделанных из прессованного картона.

Не знаю, закончил ли Владимир Яковлевич работу, посвященную своему бывшему учителю, или только собрал материал... В 1994 году В. Я. Шорора не стало, в то время я был уже в Израиле.

Ася ВЕКСЛЕР. Ещё не вечер. [Книга стихов]. Иерусалим: «Библиотека Иерусалимского журнала», 2012

Эти заметки мне бы хотелось напечатать под заголовком «Где тонко, там не рвётся». Вот именно: *не* рвётся – ведь ещё *не* вечер. Эстетическая тонкость – не во вред прочности – свойственна помещённым в книгу стихам; свойственна в ещё большей степени, чем вошедшим в предыдущую книгу А. Векслер – «Ближний Свет» (2005). У подлинного поэта дар проявляется всё ярче. ...*Должно долго жить / и взлёт позднейший заслужить* («Ментальность»). Книга «Ещё не вечер» – тоже взлёт, хоть и, верю, *не* позднейший.

Конечно, здесь немало медитаций, посвящённых Её Мрачительству Смерти: чем дольше живём, тем больше о ней думаем. Возьмём стихотворение «Без имиджа»: *Поздновато заводить имидж*, – обращается поэт к фотографу. Но дальше:

*Было рано, а теперь – звёздно.  
Облачась не в чёрный, так в белый,  
в бубен славы колотить поздно.  
Но зато полным-полно дела.*

Это вариант жизнеутверждающий. Есть и другое:

*Засветится экран – на вечную разлуку.  
Забудешь – всё спешить, покуда не помре...  
Беспомощно застыв, уткнулась мышка в руку.  
Две даты. И вся жизнь – меж них в одном тире.*

«Перед компьютером»

Ну, это всё виртуальное, к тому же навеянное памятью об адресате посвящения. Рядом – восьмистишие «Просьба», где *убывает время безнадёжно. / Молчалив, как идол, календарь*. Иногда бывает уж очень муторно на душе – всё по той же причине: *Жить недолго – до смерти обидно* (опять «до смерти»). До того обидно, что приходят в голову и черные мысли: *Ну а если, возымев причину, / кончить жизнь по своему почину...* («Данность»). Зато рядом читаем:

*Написался вдруг с лёгкостью стих о длине  
и о краткости жизни. Притом не вчерне –  
без помарок почти, хоть во мне велико  
недоверье к тому, что даётся легко.*

«Хамид Улэла»

Мотив краткости земных сроков влечёт за собой необоримое желание *успеть сказать*. А случай А. Векслер осложнён совмещением двух «свободных» профессий: поэта и художника (она сама и оформила эту свою книгу, и сделала это не только мастерски...).

Понятно, что вторая (или первая?) профессия многое определяет в её стихах. Не забудем, однако, что одно дело рисунок и совсем другое – рисунок словом. Доставлю себе удовольствие, предьявив совсем немного вербального художества автора. *Напишу апельсины на блюде, / блики света с касаньем теней...* («Семь пятнадцать»). Или,

в стихотворении «Закат»: *...прорывы огня, цветковые растяжки / до мига ухода со сцены (ухода светила). И далее, там же: И, выдохнув «браво», мы к выходу двинем. / Но даже тогда нас уважат – / едва обернёмся, на звёздчато-синем / ещё нам и ответ покажут.*

(Уважат-покажут – кто? Тот, Кто распоряжается явлениями природы?)

В известном смысле жизнь – это утраты. Чем дольше живём, тем длиннее становится мартиролог родных и близких. Но остаётся *память* об ушедших, их жизнь продолжается, пока о них помнят. В этом и состоит *земное бессмертие* индивида. В поэзии недаром существует жанр памятования, и подчас стихи этого рода оказываются едва ли не лучшими у авторов («денисьевский цикл» Тютчева, стихотворения памяти любимых у М. Петровых и Б. Слуцкого). То всплывёт в памяти характерный жест родного человека: *...вдруг заметишь мамину привычку / говорить, неся ладонь ко рту* («В ожидании автобуса»; жест, весьма характерный для советского человека, опасавшего всевидящего глаза и всеслышающего уха). То, как было и у Д. Самойлова, памятливый мозг (или душа?) преподнесёт: *Живы-здоровы родители – молоды на 9-й / линии островного города на реке* («Родство»). То заявятся в гости к поэту великие предшественники («Во здравие», «Строфы с цитатами»). И, конечно же, сниться оставленная родина («Питерский сон», «Sea gate»). А в веренице восьмистиший под названием «Улица Исланд» поэт говорит о себе и других обитателях этой иерусалимской улицы: *материковые островитяне.*

Если посмотреть предыдущий сборник Аси, вышеупомянутый «Ближний Свет», там найдём ряд стихотворений прямо ностальгических: «Город закатов адмиралтейских...», «Памяти сна», «Сон с птицами»; а ещё перепечатанные из первой израильской книги «Под знаком Стрельца» – «Последняя прогулка» и собственно «Ностальгия». В сборнике «Ещё не вечер» такие стихи тоже имеются, к примеру, «Университетская набережная»:

*Проскок с утра, под вечер ход обратный –  
там был и мой маршрут неоднократный.  
Там всё тянулось к будущему. Там  
и ныне не имеющая тождеств  
прогулка в Академию художеств  
по собственным следам, одним из множеств,  
по батушковским строкам и стопам.*

В авторском предисловии к книге, тонком и изящном, как стихи, узнаем, что первый сборник молодой поэтессы вышел в Ленинграде сорок лет назад. Но есть ещё одна круглая дата: в 2012 году исполнилось двадцать лет со времени её репатриации.

Перетерпев и пересилив, как все мы, выходцы из *той* страны, специфические трудности, связанные с вживанием в новую реальность, Ася Векслер сегодня чувствует себя в Израиле своей. В «Поздней элегии» констатируется: *Урезаны сроки, убавлены силы. / Вконец неотступна усталость...* Тем не менее: *...с надеждой у нас всё в порядке.* Не в последнюю очередь потому, что, набираясь отваги,

душа поэта возвращается к жизни: ...над Влтавой, нет, снова над Невкой. / Хотелось бы в Берне. А лучше бы в Риме. / Но прежде – в Иерусалиме. И в соседнем «Почти монологе» вечная столица Израйля «вступает в конкуренцию» с итальяйскими «приманками»: ...увидеть Иерусалим – и жить. / А в Рим слетать. С Венецией дружить. А есть ещё «Утро в Иерусалиме», где ветры мира в эту пору / летят на Храмовую гору – / благословения просить. Каково! Такое не всякому коренному иерусалимцу придёт на ум...

Хочется выписать целиком ещё одно, может быть, лучшее в книге стихотворение.

*Иные здесь не приживутся. Им  
географические карты в руки.  
А у других тут почва, дети, внуки.  
И пыль столбом. И отдалённый дым.  
Покой не предусмотрен. Дефицит  
в просторах. Но велик пейзаж окрестный.  
Но только здесь разбудят вас оркестры  
потомков птиц, будивших Шуламит.*

«Университетская набережная», замечу, вызвала у меня ассоциации с Ахматовой, а это восьмистишие извлекло из памяти чеховского «Студента»: *Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.*

...На тыльной стороне обложки, помимо обычного фото автора и краткой творческой биографии, помещён махонький снимочек юной Аси Векслер, склонившейся над рабочим столом и чем-то упоённо занятой при уютном свете настольной лампы. И вот в стихах, созданных в 2006–2012 годах (каждый отдельный текст не датируется), этот снимок воскресает в «словесном автопортрете»:

*Идеального времени нет на земле.  
Есть привязанность к жизни – и место,  
где настольная лампа горит на столе  
и душе в оболочке не тесно.*

«Астреля»

Уклонюсь от разговора о поэтике Аси Векслер: приведённые цитаты говорят за себя сами. А если кому этого недостаточно, к книге приложены отклики собратьев Аси по «поэтическому цеху» – среди них такие исполины, как Арсений Тарковский и Александр Кушнер.

Ася Векслер – поэт состоявшийся. Поэт, сумевший создать собственную, пусть и без «архитектурных излишеств», хорошо обустроенную «вторую реальность». Поэт, для которого Божий лад остаётся хорош. Поэт, твёрдо знающий, что настоящие прорывы случаются не в формальных новациях, а в развитии смыслов, дорожащих той неразрывной культурно-исторической цепью, о которой так заразительно думает студент Иван Великопольский в гениальном рассказе Чехова.

*Михаил Копелиович*

**Лина ГОРОДЕЦКАЯ. Русские корни. [Рассказы]. Тель-Авив, Beit Nelly Media, 2012**

Рассказов в книге двадцать восемь. В конце заметок перечислю лучшие (на мой, разумеется, вкус).

Из истории литературы мы знаем женщин, скрывавшихся под мужскими псевдонимами. Лине Городецкой это не удалось бы. Отличительная особенность ее прозы – сугубо женский взгляд на вещи. И дело даже не в том, что подавляющее большинство ее персонажей – женщины. Героини, в особенности *матери*, в том числе будущие, а также бабушки, старшие сёстры, жёны и вдовы, неизменно проявляют такие специфически женские реакции, как действенная любовь к близким, нежность и нерассуждающая готовность помочь младшим, желание их защитить, предостеречь от опрометчивых поступков.

Прочитую из рассказа «Диагноз (Из дневника мамы)»: «Звонок друзей. Выбраться вечером в кино? Нет, массажист сегодня может только вечером. Нет, пропустить нельзя. Что? Почему массажист диктует нам время? Но это лучший детский массажист, и она нужна нам, а не мы ей... Следующий звонок. Поехать на два дня за город? Невозможно, каждый день уколы и даже несколько. Да, “церебролизин” достали. Сколько он нам стоил? Какая разница, главное, что достали».

И ближе к финалу:

«А ты ведёшь его двумя руками, согнувшись пополам, а когда устаёшь и садишься, твой неугомонный спутник требует идти дальше.

– Нет, – качаешь головой ты, – мама устала.

Но у него нет твоих комплексов. Он становится на четвереньки и ползёт. Это ужасно, это тебя унижает, и кажется, что все вокруг жалеют тебя. Значит, больше нет усталости. Сын даёт тебе два пальчика, и вы вместе идёте. Ты не вяжешь и не читаешь, а ждёшь его первого шага, как религиозные евреи ожидают Мессию. Тебе не хочется ни знакомиться, ни разговаривать. Мир видится злым и нехорошим, похожим на твои мысли...»

Героиня рассказа «Случайный ребёнок» – мать девочки Юли, слава Богу, вполне здоровой, – «семнадцать лет подряд ... с пугающей регулярностью» видит сон, в котором она избавляется от будущего ребёнка. Вот концовка этого сна: «“Всё позади, – сказал врач, – ты умница. Только зачем было до крови кусать губы? Теперь думай о хорошем. И лежи спокойно, после аборта три часа нельзя вставать”. Она откинулась на подушку и собралась думать о хорошем. А синеглазая девочка Юля, прыгая через скакалку, попала ногой в лужу. Она заплакала и позвала: “Мама!”».

Часто автор погружает своих героинь в неблагоприятные, порой почти непереносимые (как в рассказе «Право на радость») условия. И показывает, что материнское чувство способно победить даже могущественный инстинкт самосохранения...

Л. Городецкой удается выразительно передать детское восприятие, адекватно изобразить реакции детей на явления природы и настроения близких людей. В том же рассказе «Случайный ребёнок» недавняя репатриантка Юлька проявляет вполне взрослое отношение

к проделкам своих одноклассниц-израильтянок и делает неожиданные выводы: «Я сегодня видела, как Керен подговорила Ной подставить ножку Далии. А Далия в очках. Она плохо видит. Она упала и разбила коленку. Это ведь нечестно. Правда? Я им сказала, что они должны извиниться. Но они меня не поняли и только смеялись. Знаешь, мама, я должна быстро-быстро научиться их языку».

Есть в книге страшный рассказ – «Хорошие люди» – о педофилах, растлевающих маленькую девочку. В обычной для автора манере, он весь построен на особенностях невинного детского восприятия ужасного, ещё не постигаемого как ужасное. Обойдусь без цитат, но при чтении рассказа по телу бежали мурашки – и не от самого этого смрада, а именно от контраста между действиями растлителей и первозданной целомудренной наивностью ребёнка.

Лина Городецкая владеет богатым арсеналом художественных средств, который, в сочетании с отчётливым психологизмом, формирует гибкий, выразительный язык её прозы. Хочу особо выделить присущее ей искусство детали. Вот Зина, героиня рассказа «Русские корни», давшего название сборнику, наклонилась погладить увязавшую за ней собаку – «и отдернула руку. Работала она в перчатках, но руки всё равно стали серыми и самой себе неприятными, *а мех у собаки был очень уж белоснежным* (курсив мой. – М. К.)». А вот мама больного мальчика фиксирует в дневнике: «Он хочет быть ближе к твоим глазам, губам, к твоему запаху» («Диагноз»). В «Случайном ребёнке» коридор абортария увешан картинками с изображением детей. Повествовательница, явившаяся туда *по своей надобности*, иронизирует по этому поводу: «Удивительно ещё, что администрация не привлекала признанных классиков. Мадонны с младенцами могли стать прекрасной наглядной агитацией».

А вот образчик «еврейского» – печального, нет, скорее меланхолического, юмора. Младший сын является к отцу с новостями: «...не знаю, какой ты больше обрадуешься. ... Я женюсь, а Ави собирается разойтись». Отец (часовщик) «вынул из глаза лупу, словно боялся, что из-за неё он неправильно расслышал: “Ты хотел сказать, что не знаешь, от какой новости я скорей получу инфаркт?”» («Формула счастья»).

И ещё в этом же рассказе: госпожа Зальц «за сорок пять лет жизни с мужем научилась двум важным вещам – молчать и слушать, и поэтому была прекрасным собеседником».

В книге немало замечательных сравнений и метафор. «Пока она спала, на улице прошёл дождь, и заблудившиеся капельки неспешно спускались по оконному стеклу» («Колыбельная для Володи»). Или «Вытри нос, а то он от твоих веснушек превратится в яичницу» («Кому он нужен, этот Мишка»). «И сейчас мне предстоит в побритом виде лежать перед ним в позе цыплёнка табака» («Случайный ребёнок») – последнее сравнение само по себе довольно рискованно, ибо речь идёт о женщине «за пять минут до родов», но в контексте этого рассказа вполне уместно. А вот аттестация, выписанная с точностью математической формулы: *доверительная застенчивость* – двучлен, дающий моментальную, но исчерпывающую характеристику персонажа («Отец женится»).

И ещё одно – жестокое, но столь же точное уподобление: «У Софьи Наумовны даже не было сил заплакать или объяснить ему, что желать ей счастья всё равно что желать немому выиграть конкурс вокалистов» («Право на радость»).

Рассказы Городецкой, как правило, драматичны. В них жёсткость ситуаций, подаваемых без сентиментальности и ханжеских недоговорок. С одной стороны, перед нами, если использовать определение русского классика, *обыкновенные истории*. С другой же – в жизни любого человека нередки высокие и низкие минуты, когда проявляется всё лучшее/худшее, что в нём заложено генетикой и воспитанием. Нужно найти верные ноты для изображения как обыденности, так и звёздных (или, напротив, «преисподних») человеческих – очень человеческих! – проявлений. Автор книги «Русские корни» не всегда, но часто эти ноты находит.

Ну что ж. Пожалуй, пришло время исполнить обещание. Собственно, большую часть цитат я привел именно из тех рассказов, которые украшают книгу Лины Городецкой. Добавлю к ним ещё несколько: «Искупление», «Ора-Двора Амсалем из Кривого Рога», «Дождь на Родине», «Звонок». Для первой книги не так уж мало, не правда ли?

*Михаил Копелиович*

### **Анастасия ЯРОВАЯ. «Душа номер 32». [Публицистический сборник]. Иерусалим, 2012**

Душа – в публицистическом сборнике? И вообще – что это такое – душа? А тридцать две души – откуда?..

Анастасия Яровая – известная в Сибири журналистка. Писатель, блогер, издатель. Прилетела в Израиль из далекого Иркутска. Прилетела, поехала, посмотрела... и в том же 2012-м снова – сюда! Где Иркутск? Где мы? Не ближний свет! Во второй раз привезла двоих своих младших мальчишек. Отчаянная! Везти детей в вечно воющую страну, куда даже бывалые туристы едут не без опаски...

На глобусе Израиль можно рассмотреть только с увеличительным стеклом, а на карте мира (помните, такие карты в советское время висели у нас в школе?) это местечко на земном шаре было означено цифрой 32. Так вот она, разгадка! Мне вся эта история очень понравилась, и я решила, что автор, подкидывающий своему читателю подобные загадки, может открыть и мне что-то новое в «точке на карте», в которой я живу вот уже тридцать три года. И не ошиблась! Прочитала – как проглотила – книгу и тороплюсь сообщить, что речь идет о любви к нашей стране. И о понимании, особенно если первый взгляд – со стороны. «Без необходимости следования условностям, когда принято выглядеть и казаться, а вовсе не быть, кем ты есть...»

Затаив дыхание, я вчитывалась в размышления как-то сразу ставшего мне близким человека. Сожалела, что не удалось встретиться с Анастасией, когда она в Иерусалимской русской библиотеке рассказывала о своих впечатлениях, превратившихся в книгу.

В книге тридцать два (случайное ли совпадение?) рассказа, из которых двадцать три поименованы буквами ивритского алфавита. Автор не вдаётся в геополитические спекуляции, которые так любят многие журналисты, включая и тех, кто в нашей стране ни разу не побывал. Яровая видит мир по-иному, по-своему и – это очевидно – по-доброму.

Не стану пересказывать все, что так ладно написала Анастасия об Израиле. А вот этот эпизод меня восхитил:

«Мы вошли в Старый город через Яффские ворота, нас повели к Котелю. В руках у меня были четыре чужие записки: три “женских” я должна была положить сама, а вот эту, “мужскую”... Я вопросительно посмотрела на Матвея. Но он покачал головой. Я понимала, что означал этот жест, и его нельзя было не уважать. И тогда я спросила Глеба. И Глеб – все же он младше и воспринимает такие вещи менее остро – сказал: да. Я попросила нашего друга сопровождать Глеба. А Матвей остался ждать нас на площади. ...Когда я вернулась, мальчишки уже ждали меня. “Мама! – захлебнулся восторгом младший. – Посмотри, какую мне шапочку там дали! Без нее нельзя мне было идти! Ну, как я тебе?” А уж когда молодой человек тут же стал “Хава нагилу” изображать... Спустя несколько дней этот юный гражданин России вообще настолько освоился, что, входя в магазин, сразу говорил «шалом», и еще выучил слово “слиха” (извините) и обязательное “тода раба”. Ближе к концу нашего путешествия, мне так показалось, его вообще принимали за своего. И даже пару раз обратились к нему на иврите. Особенно после того, как он меня [не мамой, а] “имой” стал звать!»

Не торопитесь скептически хмурить брови. Отправимся следом за ребятами в мемориал Яд ва-Шем. Глава написана пронзительно, до слез. Сама Настя сидит в последнем зале и плачет в открытую, а Матвей, которому, вы помните, не хватило мужества подойти к Стене плача... «Я был уверен, – сказал Матвей, когда мы возвращались из Иерусалима, – что во время Второй мировой самые грандиозные потери понесли мы”. – “Как страна, так и есть”. – “Да, но как нация... И когда тебя убивают только потому, что ты...” И он не смог договорить».

Много необычного и для жизни важного открылось глазам Яровой и ее сыновей в Израиле. Прикасаясь к теплым древним камням, вдыхая ароматы восточного базара, купаясь в наших морях, вглядываясь в геологические слои на склонах Махтеш-Рамона, – прикипали они к нашей земле, постигая её суть. Для них были внове и кашрут, и шабат, и Девятое Ава, и все, чем мы богаты и чем обделены. Привычное, ставшее уже для нас (а ведь тоже – не сразу!) будничным, нормой, для Анастасии и ее сыновей означало открытие целого нового мира. Талантливый журналист, наделённый даром видеть и понимать, Анастасия Яровая стремится донести открытое до своего читателя.

Нельзя не сказать доброе слово художнику Алексею Дурасову; вполне уместна и страничка с аннотацией Анны Лапид на иврите, которая даёт возможность и тем израильтянам, которые до сих пор (!) не овладели русским языком, узнать об авторе и его книге, изданной в Иерусалиме.

*Эстер Альперина-Свердлова*

## ИМЕНА

---

**Эстер АЛЬПЕРИНА-СВЕРДЛОВА** родилась в Полтаве. По профессии библиограф, специалист по научно-технической информации. Публиковалась в периодике, писала сценарии для телевидения и радио. Репатрировалась из Вильнюса в 1980 году. Автор книг «Жила-была...» (2010) и «Легенды моей семьи» (2012). Живет в Иерусалиме.

**Рита БАЛЬМИНА** родилась в 1958 году в Одессе. По образованию и профессии художник-дизайнер. Репатрировалась в 1990 году. Стихи и прозу Р. Б. публикуют литературные журналы Израиля, США, России и других стран. Автор поэтических сборников «Заккрытие Америки» (1993), «Флорентин, или Послесловие к оргазму» (1996), «Стань Раком» (1998), «Гончарный круг» (1998), «Из бранного» (2004), «Лишняя жизнь» (2006), «Недоуменье жить» (2008), «Бал мин» (2008). Стихотворения вошли в антологии «Вольный город» (1991), «Поэты Большого Тель-Авива» (1996), «Левантийская корона» (1998), «Освобожденный Улисс» (2004), «Антология одного стихотворения» (2010), «Глаголы настоящего времени» (2013) и др. С 2000 года живет в Нью-Йорке.

**Марьян БЕЛЕНЬКИЙ** родился в 1950 году в Киеве. Публиковался в «Правде», «Огоньке», «Литгазете», «Крокодиле» и др. Автор текстов для Геннадия Хазанова, Клары Новиковой (создатель образа «Тети Сони»). Скetchи и монологи М. Б. исполняли также Любовь Полищук, Ян Арлазоров, Илья Олейников (Клявер), Олег Акулич и другие артисты эстрады. Перевел с иврита книги Эфраима Кишона и пьесы Хануха Левина. Лауреат конкурса газеты «Маарив» для репатриантов, пишущих на иврите (2001). Живет в Иерусалиме. Выступает как автор и актер в жанре Stand-up Comedy. В «ИЖ» опубликованы его «Опыты виртуальной истории» (№ 26) и переводы рассказов Эдгара Керета (№ 3).

**Анри БЕРГСОН ДЖУНИОР** родился в 1945 году в Париже в семье выходцев из России. Окончил философский факультет Сорбонны, искусствоведческий Гейдельбергского университета и теологический факультет университета Саламанки. Репатрировался в 1966 году. С 1965 до 1973 служил секретарем Жака Деррида. Автор ряда трудов по философии искусства, среди них «Искусство как анатомическая структура» (1970), «Бабочка и знак» (1999), «Точки и Почки. К проблеме дискурса per se» (2007), «Глаз еврея. Мысль и офтальмология» (2011). Живет в Париже, Нью-Йорке и Бейтар-Илите.

**Марина БОРОДИЦКАЯ** родилась и живет в Москве. Окончила МГПИИЯ им. М. Тореза. Переводчик английской, американской и французской классической поэзии. Автор многочисленных детских книжек – оригинальных и переводных, а также сборников стихов «Я раздеваю солдата» (1994), «Одинокое катание» (1999), «Год лошади» (2002), «Оказывается, можно» (2005), «Прогульщик и прогульщица» (2007), «Ода близорукости» (2008). В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений М. Б. (№№ 13, 19, 23, 33, 39); драма «Поэт и спонсор» (№ 28); эссе о Дмитрие Сухареве (№ 35), воспоминания об Асаре Эппеле (№ 44).

**Юлия ВИНЕР** родилась в 1935 году в Москве. По образованию сценарист (ВГИК). Работала в документальном кино. Репатрировалась в 1971 году. Автор книги стихов «О Деньгах, о Старости, о Смерти и пр.» (1998, 2007), романа «Красный Адамант» (2006), сборника рассказов

«Место для жизни» (2011). Стихи, переводы и проза публикуются в литературной периодике Израиля и России. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы повесть Ю. В. «Смерть в доме творчества» (№ 29) и главы из прозы «Былое и выдумки» (№№ 40, 44).

**Игорь ГУБЕРМАН** родился в 1936 году в Москве. Окончил МИИТ. Автор многочисленных сборников стихов и прозы. В 1979–84 гг. продолжал писать, находясь в тюрьме, лагере, ссылке. Репатриировался в 1988 году. Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» подборки стихов И. Г. опубликованы в №№ 1, 11, 13, 22, 23, 24–25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 44; эссе «Текст к рисункам» (о художнике Саше Окуне) – в № 4, «Блики эпохи» (№ 12); главы из книг прозы (№№ 8, 20–21, 33, 43). В «Библиотеке ИЖ» вышли «Книга странствий» (2001), «Гарики предпоследние» (2002), «Гарики из Атлантиды» (2003), «Вечерний звон» (2005), «Седьмой дневник» (2010), «Восьмой дневник» (2013).

**Лорина ДЫМОВА** родилась в Свердловске, жила в Москве. Репатриировалась в 1992 году. Автор нескольких книг стихов и прозы. За переводы с болгарского награждена орденом Кирилла и Мефодия. Лауреат премии «Золотой теленок» (2000), премии Союза русскоязычных писателей Израиля (2006), поэтического фестиваля памяти У. Ц. Гринберга (2009). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы стихи Л. Д. (№№ 12, 20–21, 27, 30, 38, 42); рассказы (№№ 2, 34); переводы из А. Гилеля и Н. Зархи (№ 7); заметки о Л. Черкасском (№ 18) и П. Хмаре (№ 37).

**Елена ИГНАТОВА** родилась в Ленинграде. С 1975 года публиковалась в изданиях русского зарубежья. Автор поэтических сборников «Стихи о причастности» (1976), «Теплая земля» (1989), «Небесное зарево» (1992), «Стихотворения разных лет» (2006); сценария документального фильма «Личное дело Анны Ахматовой» (1989); книг прозы «Записки о Петербурге» (1997, 2003) и «Обернувшись» (2009). Стихи включены в антологии русской поэзии XX века. Лауреат премии им. Н. В. Гоголя (2009).

В 1990 году переехала в Израиль. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» опубликованы проза Е. И. – «Педивер» (№ 1), «Два рассказа» (№ 20–21), «Дополнительное время» (№ 27); рецензия на книгу С. Курилова (№ 6), эссе «Новый Гоголь народился» (№ 7), «С переменной звезд» (№ 30), «Ницшеанцы» (№ 38); заметки о В. Портнове (№ 24–25), подборки стихов «Из старых тетрадей» (№ 35), «Так далеко до весны» (№ 44). В «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов Е. И. «Ранний снег» (2012).

**Юлий КИМ** родился в 1936 году в Москве. Автор более пятисот песен, десятков пьес, сценариев и книг. Лауреат Государственной премии им. Булата Окуджавы (2000). В 1998 году переехал в Израиль. Живет в Иерусалиме, а в последнее время – и в Москве.

В «ИЖ» опубликованы стихи и песни Ю. К. (№№ 1, 6, 11, 14–15, 31, 42, 45); заметки о Веничке Ерофееве (№ 7), посвящения Ю. Ряшенцеву и И. Губерману (№ 38), А. Эппелю (№ 44), А. Городницкому (45); эссе о М. Щербакове и повесть «Однажды Михайлов с Ковалем» (№ 17), зонги из рок-оперы «Время складывать камни» (№ 24–25) и спектакля «Голый король» (№ 37); «Рассказы из Иерусалимской тетради» (№ 28); главы из книги «Моя жизнь в искусстве кино» и фрагмент либретто мюзикла «12 стульев» (№ 40); повесть «Путешествие к маяку» (№ 3). Книга с одноименным названием вышла в 2000 году в «Библиотеке ИЖ».

**Михаил КНИЖНИК** родился в 1961 году в Запорожье. Окончил Ташкентский мединститут (1985). Репатриировался в 1995 году. Публиковался в литературных журналах и альманахах. Автор сборника стихов «Готовальня» (1991). Живет в Мевасерет-Ционе. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений М. К. (№ 19, 44) и эссе об Александре Файнберге «Живой поэт» (№ 31).

**Михаил КОПЕЛИОВИЧ** родился в 1937 году в Харькове. По образованию инженер. Репатриировался в 1990 году. Автор книг о современной русской литературе и об израильской литературе на русском языке «В погоне за бегущим днем» (2002), «Литература и кино» (2006), «Рецензия – любовь моя» (2006). Живет в Маале-Адумим. В «ИЖ» опубликованы рецензии М. К. на книги Б. Голлера, С. Шенбрунн, Э. Шехтмана, Г. Беззубова, Ф. Лясса, Е. Аксельрод, И. Рувинской, П. Полонского, М. Хейфеца и на пятый выпуск альманаха «Огни столицы» (№№ 6, 7, 13, 23, 26, 30, 32, 39, 41, 42); эссе «Три оды Богу» (№ 29), «Смерть Майи Каганской» (№ 37).

**Елена КОРКИНА** родилась и живет в Москве. Окончила Литинститут им. А. М. Горького и аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), где защитила диссертацию «Поэмы Марины Цветаевой. Единство лирического сюжета». За время работы в Российском государственном архиве литературы и искусства сделала научное описание архива Цветаевой и подготовила к печати неопубликованные материалы. Ряд статей и исследований Е. К. собраны в ее книге «Архивный монастырь» (2007). В настоящее время – научный сотрудник Дома-музея М. И. Цветаевой в Москве.

**Семён КРАЙТМАН** родился в Одессе в 1965 году. Учился в Одесском, Ташкентском и Уральском политехнических институтах. Репатриировался в 1990 году. Стихи печатались в литературной периодике России и США. Живет в Герцлии. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений С. К. «Кунжут, откройся» (№ 42) и «Птичий след» (№ 43).

**Аркадий КРАСИЛЬЩИКОВ** родился в 1945 году в Ленинграде. Закончил ВГИК (1969), сценарист и режиссер трех десятков фильмов. «Гран-при» ММКФ (2007). Репатриировался в 1996 году. Работал журналистом в концерне «Новости недели». Автор книг прозы «Рассказы для детей» (1997), «Дело Бейлиса» (1999), «Рассказы в дорогу» (2000), «Навстречу судьбе» (2003). Живет в Ган-Явне. В «ИЖ» опубликованы эссе А. К. о В. Клецеле (№ 11), И. Мастбаум (№ 13); очерк «Кибуц Эстер Файн» (№ 16), заметки о книгах Г. Кановича (№№ 14–15, 39) и В. Фромера (№ 17); литературный монтаж «Камера пыток» (№ 27); фрагменты книги «За обрывом многоточий» (№ 36).

**Инна ЛИСНЯНСКАЯ** родилась в Баку в 1928 году. Печатается с 1948 года. Автор многочисленных сборников стихов, ряда повестей, моноромана «Хвастунья». Участвовала в альманахе «Метрополь» (1979) и вместе с Семеном Липкиным вышла из Союза писателей СССР в знак протеста против исключения из этой организации В. Ерофеева и Е. Попова. Лауреат Государственной премии России (1998) и других литературных премий, в т. ч. премии А. Солженицына (1999) и премии «Поэт» (2009). В настоящее время живет в Хайфе. В «ИЖ» опубликованы подборки стихотворений И. Л. (№№ 18, 41) и ее воспоминания о С. Липкине «На крыльчке» (№ 22).

**Александр ЛЮБАРСКИЙ** родился в 1952 году в Харькове. Репатриировался в 1990 году. Автор двух сборников стихов. Живет в Иерусалиме.

**Елена МАКАРОВА** родилась в Баку. Автор книг прозы «Катушка» (1978), «Переполненные дни» (1982), «Открытый финал» (1989), «Начать с автопортрета» (1993), «Цаца заморская» (2007) и др. Автор книг о детях и творчестве («Освободите слона», «Лето на крыше», «В начале было детство», «Искусствотерапия, или Как преодолеть страх», «Как вылепить отфыркивание»). Репатриировалась в 1990 году. Автор четырехтомного исследования «Крепость над бездной», посвященного жизни и творчеству заключенных концлагеря Терезин. Книги Елены Макаровой переведены на многие языки. Живет в Хайфе..

В «ИЖ» опубликована проза **Е. М.** – наброски к роману «Сценарий прогулки» (№ 8), заметки «Превращения Саши Адонина» (№ 8), документальная повесть «На линии огня» (№ 11), рассказ «В мизере» (№ 16).

**Давид МАРКИШ** родился в 1938 году в Москве. Учился в Литинституте им. М. Горького, на Высших сценарных курсах. Репатриировался в 1972 году. Участник Войны Судного дня. Автор более двух десятков книг, лауреат нескольких литературных премий. Живет в Ор-Иегуде.

В «ИЖ» (№№ 6, 8, 11, 12, 17, 24–25, 27, 34, 36, 41, 42, 43, 45) опубликованы рассказы **Д. М.**, эссе «Русская рулетка Олеси» (№ 14–15); интервью с В. Полухиной «Все зависит от Мастера» (№ 31), главы из романа «Тублиер» (№ 32), заметки об Асапе Эппеле (№ 44).

**Александр МЕЖИРОВ** (1923, Москва – 2009, Нью-Йорк; похоронен в Переделкино). Поэт, переводчик. Ушёл на фронт в 1941 году. Воевал в Синявинских болотах, на Ленинградском и Западном фронтах. Учился в Литинституте им. А. М. Горького. Первая книга стихов «Дорога далека» вышла в 1947 году. Участвовал вместе с Н. К. Старшиновым в занятиях литобъединения И. Л. Сельвинского. Автор стихотворения «Коммунисты, вперед!» – одной из самых пламенных идеологических прокламаций в истории советской литературы. Профессор кафедры литературного мастерства Литературного института им. Горького с 1966 года. Многие годы вёл поэтический семинар на Высших литературных курсах (ВЛК). Оказал влияние на молодых поэтов 1960-х гг. – Евгения Евтушенко, Игоря Шкляревского, Олега Чухонцева и др. Переводил стихи грузинских (И. Абашидзе, С. Чиковани) и литовских (Ю. Марцинкявичюс) поэтов. Лауреат Государственной премии СССР (1986); Государственной премии Грузинской ССР (1987); премии имени Важа Пшавелы независимого СП Грузии (1999). С 1992 года жил в США. Читал курс лекций по русской поэзии в Портлендском университете (Орегон). В 1994 году удостоен награды Президента США.

**Зинаида ПАЛВАНОВА** родилась в Мордовии, росла в Подмосковье. С 1963 года жила в Москве. Окончила МИНХ им. Плеханова, ВЛК при Литинституте им. Горького. Репатриировалась в 1990 году. Живет в Иерусалиме. В «ИЖ» были опубликованы подборки ее стихов (№№ 3, 12, 18, 24-25, 32, 39). Лауреат премии Союза русскоязычных писателей Израиля, премии «Олива Иерусалима», поэтических фестивалей памяти У. Ц. Гринберга (2004, 2006). Стихи поэта в переводе **З. П.** опубликованы в «ИЖ» (№№ 20-21, 22). В «Библиотеке ИЖ» вышли книги **З. П.** «Иерусалимские картинки» (2000), «Счастье без прикрас» (2002), «Новые иерусалимские картинки» (2004), «Ближневосточница» (2006), «Энергия согласия» (2009).

**Григорий ПЕВЗНЕР** родился в Харькове в 1956 году. Окончил Ленинградский педиатрический институт. Автор книг стихотворений «Зелёный медведь» (2006) и «На этом берегу (2012). В его переводе вышли классическая немецкая детская книга «Der Struwwelpeter» Генриха Гофмана (в русской версии – «Стёпа-растрёпа», 2010) и книга «Макс и Мориц» Вильгельма Буша (2012). С 1992 года живёт в Марбурге (Германия).

В «ИЖ» опубликованы подборки стихов Г. П. «Будни и выходные» (№ 26) и «За рамкой кадра» (№ 39); заметки об А. Дулове (№ 38); посвящения Д. Сухареву (№ 35), Ю. Киму (№ 40), А. Городницкому (№ 45).

**Виктория РАЙХЕР** родилась в 1974 году в Москве. Репатрировалась в 1990 году. Окончила Иерусалимский университет и университет «Лесли» (Бостон). Занимается психологией. Публиковалась в литературной периодике, в сборниках «Русские инородные сказки» (тт. 1, 2, 3), «ПрозаК», «Секреты и сокровища: лучшие рассказы 2005 года» и др. Автор книги прозы «Йошкин дом» (2007), издала диск своих песен «Полёт шмеля» (2000). Живет в Текоа.

В «ИЖ» опубликованы рассказы В. Р. (№№ 19, 22, 41, 42, 44), подборка психосказок «Прекрасный результат» (№ 31) и стихи «Про кота» (№ 32).

**Евгений РУДЕНЧИК** родился в 1952 году в Ярославле. Окончил школу-интернат при МГУ, физфак МГУ, аспирантуру. В 1975–1980 гг. работал на Горнотаежной станции Службы Солнца ДВНЦ АН. Заведует сектором солнечных магнитографических измерений в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. Живет в Троицке. Поет в Троицком камерном хоре.

**Юлия СЕГАЛЬ** родилась в 1938 году в Харькове. В 1941 году семья эвакуировалась в Актобинск. В 1953–57 гг. училась в Алма-Атинском строительном техникуме. В 1960 году окончила скульптурное отделение Харьковского Художественного училища. Вернулась в Алма-Ату, работала учителем рисования в школе, художником кукольного театра, затем художником на студии телевидения в Петропавловске и Балхаше. В 1971 году окончила Московский художественный институт им. В. И. Сурикова. В 1973 году принята в Союз художников СССР. В 1991–1993 гг. руководила художественным объединением «Функциональная скульптура», получила диплом ВДНХ за лучшие детские игровые комплексы в России. Репатрировалась в 1994 году. До депортации жителей поселения Санур (2005) руководила художественной галереей в этой деревне художников. В 2012 году в Иерусалиме установлен созданный Ю. С. памятник М. Липкину и всем жертвам террора. Работы скульптора экспонируются в Третьяковской галерее, Русском музее и других художественных музеях. Живет в Иерусалиме. Прозу публикует впервые.

**Леонид СЛОВИН** (1930, Черкассы – 2013, Иерусалим). В 1952 году окончил Московский юридический институт. Работал адвокатом, затем – более двадцати лет в угрозыске Костромы и Московской транспортной милиции. Автор более трех десятков книг. Наиболее известные – «Дополнительный прибывает на второй путь», «На темной стороне Луны», «След черной рыбы» (две последних в соавторстве с Георгием Вайнером), по которым созданы одноименные телесериалы. Лауреат литературной премии им. Н. Кузнецова. Репатрировался в 1994 году. Ряд последних романов посвящен приключениям частного российского детектива, отслеживающего действия «русской мафии» в Израиле. В «ИЖ» опубликованы воспоминания Л. С. «Писательское нагорье» (№ 14–15) и рассказ «Большая лошадь» (№ 35).

**Дмитрий СУХАРЕВ (Сахаров)** родился в 1930 году в Ташкенте. С детских лет живет в Москве. Автор нескольких поэтических сборников, в т. ч. «Много чего» (2008). Один из основоположников жанра современной авторской песни. Составитель «Антологии авторской песни» (2002). Лауреат премии им. Андрея Синявского (2000), Российской Государственной премии им. Булата Окуджавы (2001), премии «Венец» Союза писателей Москвы (2005).

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Последний день Юрия Визбора» (№ 3), «Формула сплава» (№ 11), «Переделкинские посиделки» (№ 13), «Я была вам хорошим товарищем» (№ 19), «Прощание с Межировым» (№ 30), подборка стихов «Слова, запасенные впрок» (№ 7); беседы «Другой имеет право быть другим» (№ 11, с Татьяной Бек), «Поговорим о поэзии» (№ 23, с Сергеем Трухановым), «Диалог о Киме» (№ 24–25, с Юрием Ряшенцевым); проза «Венок сонетов» (№14–15), «Юрий Визбор навсегда» (№ 26); статьи «Экспертиза» (№ 35), «Влажным взором» (№ 39); посвящения Ю. Киму (№ 40) и В. Клецелю (№ 41). В 2001 году в «Библиотеке ИЖ» вышла книга стихов и песен Д. С. «Холмы».

**Григорий СУХМАН** родился в 1950 году в Астрахани. В 1974 году окончил мединститут. Жил и работал в Белгороде и Харькове. Репатририровался в 1990 году. Живет в Иерусалиме. Работает врачом-анестезиологом в больнице «Бикур Холим». Автор книг для детей «Охламон» (2000), «Охламон 2» (2003), а также книги «Зоопарк» (2008), куда вошли избранные стихи, проза и статьи. Победитель конкурса «Народная поэзия России» (2007).

В «ИЖ» № 30 опубликована рецензия Г. С. на книгу Е. Аксельрод.

**Владимир ФРОМЕР** родился в 1940 году в Куйбышеве. Репатририровался в 1965 году. Окончил истфак Иерусалимского университета. Участник войны Судного дня. В 1972–73 гг. – соредактор (вместе с М. Левиным) «АМИ» – первого израильского литературного журнала на русском языке. Автор двухтомника «Хроники Израиля» и книги «Реальность мифов» (2003). Живет в Иерусалиме.

В «ИЖ» опубликованы его эссе «Иерусалим–Москва–Петушки» (№ 1), «Солдат в Мосаде» (№ 3), «Поэзия как форма жизни» (№№ 7, 11), «Он между нами жил» (№ 8), «Сатанинские игры» (№ 27), «Черновицкая весна» (№ 42); главы из романа «Чаша полыни» (№ 30, 35, 41); рецензия на книгу А. Красильщикова (№ 6).

**Алла ШИРОНИНА** родилась в Ташкенте. Окончила Ташкентский пединститут. Занималась в литературном семинаре Александра Файнберга. Стихи и переводы печатались в журнальной периодике и литературных альманахах. Автор книги стихотворений «Балансир» (1988). Работала библиотекарем, литературным редактором, уборщицей, няней, психологом... С начала 90-х годов живет в Калининграде.

**Владимир ЭЙДЛИН** родился в 1947 году в городе Чарджоу (Туркменская ССР), жил в Подмосковье, на Крайнем Севере, в Москве, Латвии, Нижнем Тагиле, Симферополе. После службы в Советской Армии окончил психологический факультет МГУ и аспирантуру. Работал психологом. Репатририровался в 1991 году. Автор нескольких научных публикаций. Работает по специальности. Живет в Маале-Адумим.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЯФФСКИЕ ВОРОТА

- СЕМЁН КРАЙТМАН. Вручая грифелью свободу  
*Книга стихотворений в журнале* ..... 3  
ДАВИД МАРКИШ. Один. *Рассказ* ..... 26

### РУССКОЕ ПОДВОРЬЕ

- МАРИНА БОРОДИЦКАЯ. Тихие игры. *Стихи* ..... 36  
АЛЛА ШИРОНИНА. При чём тут Бальмонт? *Глава из повести* .. 47

### УЛИЦА БЕЦАЛЕЛЬ

- Просто видеть. *С Юлией Сегаль беседует Михаил Польский* 58  
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ. Скульптуры разных лет ..... 61  
ЮЛИЯ СЕГАЛЬ. Рассказы об отце ..... 70

### ЛЬВИНЫЕ ВОРОТА

- ИГОРЬ ГУБЕРМАН. И Богу отсюда гораздо слышней. *Гарика* 81  
ЮЛИЯ ВИНЕР. Былое и выдумки (3). *Воспоминания* ..... 93  
ЛОРИНА ДЫМОВА. Застала жизнь меня врасплох. *Стихи* ... 132  
ВЛАДИМИР ЭЙДЛИН. Симферополь. *Рассказы* ..... 137  
ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. Лунный удар. *Стихи* ..... 146  
ВИКТОРИЯ РАЙХЕР. Одновременно. *Рассказы* ..... 153  
МАРЬЯН БЕЛЕНЬКИЙ. Клятва. *Рассказ* ..... 166

### УЛИЦА КАРМЕЛЬ

- ИННА ЛИСНЯНСКАЯ. Воля и западня. *Стихи* ..... 169  
ЕЛЕНА МАКАРОВА. Поветрие. *Маленькая повесть* ..... 172

### АМЕРИКАНСКАЯ КОЛОНИЯ

- РИТА БАЛЬМИНА. Неправильные звёзды. *Стихи* ..... 195

### НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ

- ГРИГОРИЙ ПЕВЗNER. Полустанок. *Стихи* ..... 201

### ЮБИЛЕЙНЫЙ КВАРТАЛ

- ЗИНАИДА ПАЛВАНОВА. В пространстве этого снимка.  
*К девяностолетию со дня рождения А. П. Межирова* ..... 207  
АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ. До крайнего числа. *Стихи из архива* 210  
ДМИТРИЙ СУХАРЕВ. И радость, и сладость ..... 216  
ЕЛЕНА ИГНАТОВА. Многая лета! ..... 218

### ПОДЗОРНАЯ ГОРА

- ЕЛЕНА КОРКИНА. «Белорусские евреи» Марины Цветаевой.  
*О неопубликованных цветаевских переводах с идиша* ..... 219  
ВЛАДИМИР ФРОМЕР. Петербургские хроники. *Воспоминания* 232  
АРКАДИЙ КРАСИЛЬЩИКОВ. Чистота помыслов. *Эссе* ..... 249  
ЕВГЕНИЙ РУДЕНЧИК, ЮЛИЙ КИМ. В декабре 1968-го ..... 255  
АНРИ БЕРГСОН ДЖУНИОР. Этюды о современном искусстве 261

### ХОЛМ ПАМЯТИ

- МИХАИЛ КНИЖНИК, ГРИГОРИЙ СУХМАН,  
АЛЕКСАНДР ЛЮБАРСКИЙ. Слова прощания ..... 265  
ЛЕОНИД СЛОВИН. История с продолжением.  
*Из цикла «Писательское нагорье»* ..... 267

### НОВЫЕ ВОРОТА

- МИХАИЛ КОПЕЛИОВИЧ, ЭСТЕР АЛЬПЕРИНА-СВЕРДЛОВА  
о новых книгах Аси Векслер, Лины Городецкой, Анастасии Яровой 271

### ИМЕНА

- Авторы и персонажи ..... 278

10023

Подписку на журнал можно оформить,  
прислав обычным (*не заказным*) письмом свои координаты  
и чек на имя

***Jerusalem Anthologia***

по адресу:

***Jerusalem Literary Review,  
P. O. Box 32297, Jerusalem 91322***

Стоимость годовой подписки (4 номера):  
В Израиле – 160 шекелей, включая пересылку  
В других странах – \$68 США, включая пересылку

Стоимость одного журнала:  
В Израиле – 50 шекелей;  
в других странах – \$19 США, включая пересылку

Справки – тел. 972-54-3149105; e-mail: [jerusalem.anthology@gmail.com](mailto:jerusalem.anthology@gmail.com)

**«Иерусалимская Антология» благодарит**

Татьяну Азиз-Лившиц (Мевасерет-Цион), Андрея Анпилова (Москва), Ольгу Аксютину (Иерусалим), Александра Блинштейна (Чикаго), Хила Бродского (Чикаго), Михаила Веллера (Москва), Лину Виленскую (Кфар-Адумим), Инну Винярскую (Текоа), Асю Векслер (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Андрея Грицмана (Нью-Йорк), Андрея Крылова (Москва), Игоря Грызлова (Москва), Игоря Губермана (Иерусалим), Вита Гуткина (Иерусалим), Татьяну Гольдмахер (Бостон), Феликса Дектора (Москва), Александра Дова (Петах-Тиква), Владимира Друка (Нью-Йорк), Лорину Дымову (Иерусалим), Марка Камцана (Петах-Тиква), Григория Кановича (Бат-Ям), Ицхокаса Мераса (Бат-Ям), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Леонида Кациса (Москва), Ольгу Качанову (Алма-Ата), Дмитрия Кимельфельда (Иерусалим), Игоря Когана (Хайфа), Ефима Котляра (Чикаго), Аркадия Красильщикова (Ган-Явне), Михаила Книжника (Мевасерет-Цион), Вадима Левина (Марбург), Якова Лаха (Безр-Шева), Якова Лившица (Иерусалим), Станислава Минакова (Харьков), Бориса Мафцира (Иерусалим), Марину Меламед (Иерусалим), Светлану и Александра Менделевых (Петах-Тиква), Йосефа Менделевича (Иерусалим), Давида Маркиша (Ор-Еуда), Генриха Небольсина (Иерусалим), Михаила Польского (Текоа), Бориса Привина (Москва), Алекса Резникова (Иерусалим), Зеэва Султановича (Иерусалим), Дмитрия Сухарева (Москва), Семена Сушанского (Иерусалим), Евгению Тиновицкую (Иерусалим), Александра Туркота (Москва), Ирину Хвостову (Москва), Игоря Цесарского (Чикаго), Михаила Фельдмана (Безр-Шева), Михаила Финкеля (Петах-Тиква), Ехиэля Фишзона (Нокдим), Владимира Фромера (Иерусалим), Шуламит Шалит (Тель-Авив), Наума Шаца (Иерусалим), Дмитрия Шварца (Иерусалим), Михаила Щербаква (Москва), Клару Эльберт (Маале-Адумим) за поддержку журнала.

***Любые советы, предложения, а также пожертвования  
будут приняты с благодарностью***

Наш счет – 215502 в отделении 585 (Гило), банк Апоалим  
Account 215502, Bank Hapoalim, Branch 585 (Gilo), SWIFT: POALILIT

## ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»



В «БИБЛИОТЕКЕ ИЕРУСАЛИМСКОГО ЖУРНАЛА»

в 1999 – 2013 годах вышли книги:

Дина РУБИНА «Высокая вода венецианцев»;

Елена АКСЕЛЬРОД и Михаил ЯХИЛЕВИЧ «Стена в пустыне»;

Юлий КИМ «Путешествие к маяку»;

Вениамин КЛЕЦЕЛЬ и Зинаида ПАЛВАНОВА «Иерусалимские картинки» (1, 2);

Наум БАСОВСКИЙ «Полнозвучие», «Об осени духа и слова»;

Илья БОКШТЕЙН «Быть я любимым хотел», «Говорит звезда с луной»,

«Авангардист на крышу вышел»;

Дмитрий СУХАРЕВ «Холмы»;

Игорь ГУБЕРМАН «Книга странствий», «Гарика предпоследние»,

«Гарика из Атлантиды», «Вечерний звон», «Шестой Иерусалимский дневник»,

«Седьмой дневник», «Восьмой Дневник»;

«ИЕРУСАЛИМСКАЯ АНТОЛОГИЯ»

(27 израильских художников в специальном цветном выпуске «ИЖ»);

Григорий КАНОВИЧ «Лики во тьме», «Облако по имени Литва»;

Марк ВЕЙЦМАН «Третья попытка», «Следы пребывания»;

Самуил ШВАРЦБАНД «Схолии»;

Марина МЕЛАМЕД «Перекресток желаний», «Под созвездием лягушки»,

«Иерусалимские акварели», «В Гефсиманском саду»;

Зинаида ПАЛВАНОВА «Счастье без прикрас», «Ближневосточница», «Энергия согласия»

Евгения ЗАВЕЛЬСКАЯ «Времена речи»;

Александр КРЕСТИНСКИЙ «Дорога на Яффо»;

Алекс РЕЗНИКОВ «Иерусалим: улицы в лицах» (книга вторая),

«Иерусалимский след» (книга вторая), «Иерусалим в названиях улиц»;

Илья БЕРКОВИЧ «Стихи, написанные в Израиле»;

Эли БАР-ЯЛОМ «Горизонтальная луна»; Владимир ФРЕНКЕЛЬ «Другая осень»;

Марк БОГОСЛАВСКИЙ «Воробьиная ночь»; Вильям БАТКИН «Талисман души»;

Илан РИСС «У разбитого горячего камня»; Ирина РУВИНСКАЯ «Наперечёт»;

Юрий КАМИНСКИЙ «Вкус полыни»; Рахель ЛИХТ «Семейные свитки»;

Хава Броха КОРЗАКОВА «Пятое послание», «Один шаг»;

НИКОЛЬСКИЙ «Каталог женщин»; Лена ШТЕРН «Спустя три года»;

Елена ИГНАТОВА «Ранний снег»; Евгений МИНИН «Погоня за ветром»,

Ася ВЕКСЛЕР «Еще не вечер», Ицхокас МЕРАС «На полпути»;

Леонид СОРОКА «СТИХЛЯШКИ»;

CD «ИЕРУСАЛИМСКИЙ АЛЬБОМ». *Песни Александра ДОВА, Юлия КИМА, Дмитрия КИМЕЛЬФЕЛЬДА, Марины МЕЛАМЕД и Михаила ФЕЛЬДМАНА*

### ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

новые книги Лорины ДЫМОВОЙ, Михаила ЗИВА, Владимира ДРУКА,

Феликса КРИВИНА, Семёна КРАЙТМАНА, Михаила ФЕЛЬДМАНА

## JERUSALEM ANTHOLOGIA – [www.antho.net](http://www.antho.net)

### *Музей современных израильских художников*

Смотрите коллекции работ Александра Адонина, Анатолия Баратынского, Леонида Балаклава, Лиоры Барштейн, Николая Беззубова, Эллы Биншток, Моше Гимейна, Леи Зарембо, Гаррика Зильбермана, Бориса Караванова, Бориса Карафелова, Бориса Кинкулькина, Вениамина Клецеля, Григория Козлета, Эммануила Липкинда, Ителлы Мастбаум, Михаила Моргенштерна, Бориса Лекаря, Иосифа Островского, Ильи Рубина, Зелия Смехова, Сергея Теряева, Юлии Сегаль, Якова Фельдмана, Давида Ханана, Юлии Шульман, Сусанны Чернобровой, Михаила Яхилевича и других мастеров искусства

## CONTENTS

### JAFFA GATE

SHIMON KRAITMAN. Granting freedom to the slate pencil.

*A book of poems in the magazine*

DAVID MARKISH. Alone. *Short story*

### BETZALEL STREET

Just to see it. *Michael Polsky talks with Julia Segal*

JULIA SEGAL. Sculptures of various years

JULIA SEGAL. Stories about my father

### RUSSIAN COMPOUND

MARINA BORODITSKAYA. Quiet games. *Poems*

ALLA SHIRONINA. What's that to do with Balmont? *From the novelette*

### LION GATE

IGOR GUBERMAN. And God can hear much better from here. *Garriks*

JULIA VINER. Bygone and fiction (3). *Memoirs*

LORINA DYMOVA. My life has caught me napping. *Poems*

VLADIMIR EIDLIN. Simferopol. *Short stories*

ZINAIDA PALVANOVA. Moon stroke. *Poems*

VICTORIA REICHER. Simultaneously. *Short story*

MARIAN BELENKY. Oath. *Short story*

### KARMEL STREET

INNA LISYANSKAYA. Freedom and trap. *Poems*

ELENA MAKAROVA. Craze. *Short novelette*

### AMERICAN COLONY

RITA BALMINA. Wrong stars. *Poems*

### GERMAN COLONY

GRIGORY PEVZNER. Wayside station. *Poems*

### JUBILEE QUARTER

ZINAIDA PALVANOVA. In the space of this photo.

*To the ninetieth anniversary of A. P. Mezhirov*

ALEXANDER MEZHIROV. Until the extreme date. *Poems from the archive*

DMITRY SUKHAREV. Both gladness and delight

ELENA IGNATOVA. All the best!

### MOUNT SCOPUS

ELENA KORKINA. Marina Tsvetaeva and her "Byelorussian Jews".

*On the unpublished Tsvetaeva's translations from Yiddish*

VLADIMIR FROMER. Petersburg's chronicles. *Memoirs*

ARKADY KRASILSHCHIKOV. Purity of thought. *Essay*

EVGENY RUDENCHIK, YULI KIM. In December 1968

HENRI BERGSON JUNIOR. Sketches on the contemporary art

### MEMORY HILL

MICHAEL KNIZHNIK, GREGORY SUKHMAN,

ALEXANDER LYUBARSKY. Words of farewell

LEONID SLOVIN. A story to be continued.

### NEW GATE

MICHAEL KOPELIOVICH, ESTER ALPERINA-SVERDLOVA

on new books by Asya Veksler, Lina Gorodetsky, Anastasiya Yarovaya

### NAMES

Authors and Characters

JERUSALEM LITERARY REVIEW, # 46, 2013

ISSN 1565-1347

MODERN ISRAELI LITERATURE IN RUSSIAN

*Jerusalem Anthologia* Association

© 2013 Copyrights for publications belong to the Authors

## תוכן העניינים

### שער האריות

שמעון קריימן. בתת דרוור לקולמוס – ספר שירים בכתב עת  
דוד מרקיש. לבד – סיפור

### מגרש הרוסים

מרינה בורודיצקיה. המשחקים השקטים – שירים  
אלה שירונינה. ואיך קשור פה בלמונט? – פרק מרומן

### רחוב בצלאל

סתם לראות. מיכאל פולסקי משוחח עם יוליה סגל  
יוליה סגל. פסלים משנים שונות  
יוליה סגל. סיפורים על אבי

### שער האריות

איגור גוברמן. לאלוקים מכאן נשמע יותר טוב – גריקים  
יוליה ווינר. היה ולא היה – זיכרונות  
לורינה דימובה. חיי תפסו אותי פתאום – שירים  
וולדימיר איידלין. סימפרופול – סיפורים  
זינאיידה פלבנובה. מכת הירח – שירים  
וויקטוריה רייכר. בו זמנית – סיפורים  
מריאן בלבנקי. השבועה – סיפורים

### רחוב הכרמל

אינה ליסניאנסקיה. דרוור ומלכודת – שירים  
ילנה מקרובה. בא עם הרוח – סיפור

### מושבה אמריקאית

ריטה בלמינה. הכוכבים השגויים – שירים

### מושבה גרמנית

גריגורי פבזנר. תחנת הביניים – שירים

### קריית היובל

זינאיידה פלבנובה. במרחבו של הצילום הזה  
לקראת יום הולדתו התשעים של א. פ. מז'ירוב  
אלכסנדר מז'ירוב. עד קצה המספרים – שירים מארכיון  
ילנה איגנטובה. לחיים ארוכים! – לקראת יום הולדתו של דוד מרקיש  
דמיטרי סותרב. גם שמחה וגם נועם – לקראת יום הולדתה של דינה רובינה

### הר הצופים

ילנה קורקינה. "יהודי בלרוס" של מרינה צבטייבה  
על התרגומים מאידיש של צבטייבה שלא פורסמו  
וולדימיר פרומר. קורות הימים של פטרבורג – זיכרונות  
ארקדי קרסילשיינקוב. טוהר המחשבות – מסה  
יבגני רודנצ'יק, יולי קים. בדצמבר 1968  
אנרי ברגסון הצעיר. מסות על האמנות העכשווית

### הר הזיכרון

מיכאל קניז'ניק, גריגורי סוחוב, אלכסנדר ליוברסקי. דברי הפרידה  
לאוניד סלובין. הסיפור בהמשכים – מהסדרה "רמת הסופרים"

### השער החדש

מיכאל קופליוביץ', אסתר אלפרינה-סברדלובה על הספרים החדשים  
מאת אסיה ווקסלר, לינה קורודצקי, אנסטסיה ירוביה

### שמות

הדמויות והיוצרים

ספרות ישראלית בשפה הרוסית  
רבעון אמנותי

עמותת "אנתולוגיה ירושלמית"

מערכת: איגור ביאלסקי (עורך ראשי),  
הלנה איגנטובה, זאב גייזל, רומן טימנצ'יק, וולוול טשרנין, יולי קים,  
זינאידה פלבנובה, דינה רובינה, ויקטוריה רייכר, סבטלנה שנברון  
מזכיר – יבגני מינין  
ציירת – סוסנה צ'רנוברובה  
עיצוב באינטרנט – קרינה פסטרנק  
עריכה והגהה: בינה סמחובה, לובה ליבזון, גלינה קולטיאסובה  
תמיכה לוגיסטית וטכנית: הלנה ברלאנד, מיכאל בסין, דניאל בורשטיין,  
בוריס ברונשטיין, אינה וויניארסקי, ויקטור גופמן, גריגורי גורדין,  
ולדימיר פופוב, אילן ריס

הדפסה: דפוס "צור-אות"

בתמיכת



קונגרס יהודי רוסי



קרן רוסקי מיר



מנהל התרבות, המחלקה לספרות



עיריית ירושלים



בית מורשת אורי צבי גרינברג

© 2013 כל הזכויות שמורות למחברים

ISSN 1565-1347

כתובת: "כתב-עת ירושלמי" ת. ד. 32297, ירושלים 91322  
טל. 02-9960302, 0544-745322, 02-5370087  
E-mail: jerusalemreview@gmail.com

